АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
XIV

3

МАЙ — ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1965

СОДЕРЖАНИЕ

С. Роспонд (Вроцлав). Структура и классификация древневосточнославянских антропонимов (имена) 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. И. Абаев (Москва). Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке 22
И. И. Ревзин (Москва). Структурная лингвистика и единство языкознания 44
Ю. В. Рождественский (Москва). О современном строении языкознания 60

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

А. Н. Колмогоров (Москва). Замечания по поводу анализа ритма «Стихов о советском паспорте» Маяковского 70
М. Л. Гаспаров (Москва). Вольный хорей и вольный ямб Маяковского 76
Т. П. Ломтев (Москва). Об одной возможности истолкования фонологического развития 89
Е. А. Земская (Москва). Заметки по современному русскому словообразованию 102
В. А. Редькин (Москва). Об акцентных соотношениях имени и глагола в современном русском литературном языке 111
Е. А. Крейнович (Ленинград). О прерывных глагольных основах в кетском языке 118
К. И. Бахман (Тарту). К проблеме соотношения стихийных и целенаправленных процессов в развитии языка 131

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Б. Н. Головин (Горький). Опыт вероятностно-статистического изучения некоторых явлений истории русского литературного языка XIX—XX вв. 137

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

«Current trends in linguistics», I 147
Е. С. Кубрякова (Москва). *E. Bach.* An introduction to transformational grammars 165

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 173

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1965

С. РОСПОНД

СТРУКТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ ДРЕВНЕВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ АНТРОПОНИМОВ (ИМЕНА)

Славянская антропонимия разработана как со стороны фактической документации, так и в отношении интерпретации и особенно классификации несравненно меньше, чем топонимия. Правда, уже сто лет назад, т. е. несколькими годами спустя после работы Э. В. Фёрстемана, со своим монументальным трудом выступил Ф. Миклошич, но, к сожалению, у него не было достойных последователей. После прекрасного старта славянской антропонимии (см. прежде всего русские работы М. Морошкина, М. Туникова и сербохорватскую работу Т. Маретича [1]) для каждого из славянских языков все же не оказалось систематических работ описательного характера (исторические и этимологические словари).

Современные монографические исследования древнейших собственных имен существуют только для некоторых языков [2]. Древнерусские имена, выбранные Ф. Миклошичем лишь из двух исторических источников [3], должны быть — ввиду их специфического характера — специально обработаны и изучены. Ценные русистские работы А. Селищева, В. К. Чичагова, Н. В. Бирилло [4] посвящены по преимуществу фамилиям, патронимикам и другим вторичным ономастическим образованиям, а не двучленным, гипокористическим, деминутивным производным и одночленным (отапеллятивным) именам. В этом отношении восточнославянская антропонимика более чем скупа [5]. Однако без систематической ее разработки и с точки зрения описания фактов, и с точки зрения анализа структураль-

---

[1] E. W. Förstemann, Altdeutsches Namenbuch, I—Personennamen, Nordhausen, 1856; F. Miklosich, Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen, Wien, 1860—1874; S. Rospond, Onomastyka słowiańska. Osiągnięcia badawcze i postulaty metodologiczne, cz. 1 — Osiągnięcia badawcze, «Onomastica», II, 2, 1956, стр. 217 и сл.; М. Морошкин, Славянский именослов или собрание славянских личных имен в алфавитном порядке, СПб., 1867; М. Туников, Словарь древнерусских личных собственных имен, «Зап. Отд-ния русск. и слав. археологии Имп. Русск. археолог. об-ва», VI, СПб., 1903; T. Maretić, O narodnim imenima i prezimenima u Hrvata i Srba, «Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti», 81 (XIV) и 82 (XV), Zagreb, 1886.

[2] W. Taszycki, Najdawniejsze polskie imiona osobowe, Kraków, 1926; J. Svoboda, Staročeská osobní jména a naše příjmení, Praha, 1964.

[3] F. Miklosich, указ. соч., стр. 216 (автор использовал «Полное собрание русских летописей», I, II, СПб., 1846; «Акты юридические», СПб., 1838).

[4] А. Селищев, Происхождение русских фамилий, личных имен и прозвищ, «Уч. зап. [МГУ]», CXXVIII, кн. 1, 1948; В. К. Чичагов, Из истории русских имен, отчеств и фамилий, М., 1959; М. В. Бірыла, Беларускія антрапанімічныя назвы ў іх адносінах да антрапанімічных назваў іншых славянскіх моў, Мінск, 1963.

[5] См. библиографический обзор Р. Рихардта в «Onoma», V, 3, 1954—1956, а также: B. O. Unbegaun, Où en sont les études d'anthroponymie russe, «Revue internationale d'onomastique», II, 1950; дополнения в ценной монографии: A. Baecklund, Personal names in Medieval Velikij Novgorod, Stockholm, 1959, стр. 9—16. Ср. также: Е. Ф. Карский, [рец. на кн.:] М. Туников, Словарь древнерусских личных собственных имен, «Отчет о присуждении Ломоносовской премии в 1899 году», СПб., 1900.

ного или классификационного представляется невозможным выяснить полностью следующие основные вопросы:

1. Действительно ли некоторые династические имена: *Олегъ*, *Ольга*, *Игорь*, *Глѣбъ*, а также связанные с ними *Улѣбъ*, *Дулѣбъ* — имеют старонордическое происхождение?

2. Каков характер собственных имен в летописи Нестора и в «Слове о полку Игореве»? Статья В. Ташицкого и справедливая ее критика Р. Якобсоном[6] показывают, что число исследований (а их почти 1000) об этом эпосе должно пополниться за счет аргументов ономастического порядка.

3. Каково отношение древнерусских имен к греко-византийским и их хронологические границы?

4. Общая характеристика древнерусских имен на сравнительном общеславянском и праиндоевропейском фоне.

Представленное ниже исследование является проблемным и лишь в меньшей степени описательным, особенно в части одночленных имен (образованных от имен нарицательных); для автора было важно представить структуру этих древнейших имен эволюционно, на сравнительном общеславянском и праиндоевропейском фоне. Из этого следует необходимость структурной классификации материала[7].

Методология современной лингвистической антропонимии обусловливает основные принципы классификации и структурную, субституционную, микрофилологическую интерпретацию этих антропонимов.

Почти во всех работах по древнейшим славянским именам отмечаются не структуры, не антропонимические типы, воспринимаемые на сравнительном и эволюционном фоне, но лишь грамматикализованные частицы, взятые изолированно, т. е. путем выделения имени существительного или прилагательного и т. п. в первом члене сложных имен. Тем самым стирается хронологическая стратиграфия, столь существенная для выделения архетипов, унаследованных не только с эпохи праславянской, но и праиндоевропейской, от формаций новых и новейших. Т. Милевский совершенно правильно обрисовал на индоевропейском и частично на славянском и польском материале наиболее типичные структурные схемы как унаследованные от праиндоевропейской и праславянской эпохи, так и создаваемые на их базе в отдельных славянских языках инновации[8]. Анализ именных гипокористиков, неправильно смешиваемых с деминутивами (ср. польск. *Radosław* → *Rasz*, *Rach* и т. д. или *Rad*, *Radz* ← **Radjь*, но *Raszek*, *Radoch*, *Radosz*, *Radzik*), является механическим, а потому и антиструктурным и антиисторическим. В одной и той же структурной и тем самым хронологической плоскости перечисляются гипокористики типа *Ra-š*, *Ra-ch*, *Ra-l* и т. д., а также построенные на них деминутивы: *Ra-š-ьkъ* и т. п. Это

---

[6] W. Taszycki, Les formes patronymiques insolites dans le Slovo d'Igor, RÉSl, XXXVI, 1—4, 1959; R. Jakobson, Patronimika w «Słowie o połku Igoriewie», «Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Spławiński», [Kraków, 1963].

[7] S. Rospond, Struktura i klasyfikacja słowiańskich antroponimów, BPTJ (в печати); его же, Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych, Wrocław, 1957. См. удачное применение структурного анализа в работе: В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев, Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья, 1962.

[8] T. Milewski, Ewolucja morfologiczna indoeuropejskich złożonych imion osobowych, BPTJ, XVI, 1957; его же, Ze studiów nad antroponimią indoeuropejską, «Onomastica», III, 2, 1957; его же, Polskie imiona złożone nie znane innym językom słowiańskim, «Slavia occidentalis», XX, 2, 1960.

opinio communis всех, даже самых последних работ по антропонимии[9]. Все это мешало дать правильную интерпретацию таким, например, характерным наименованиям, как фамилия скульптора Вита Стоша[10]. Без надлежащего анализа этих первоначальных гинокористиков нельзя понять многие патронимические или посессивные наименования; например польск. *Kaszów* от *Ka-sz*: *Kazimierz* (не от *kasza*)[11] и т. д.

Для структурного анализа важно подробно представить, например, следующую эволюционную цепь морфологических схем: 1) корень + nomen (*Braslav*) → 2) [indeclinabile + корень] + nomen (*Zbraslav*) → 3) вербальная основа + nomen (польск. *Bronisław*) → 4) imperativus + nomen (польск. *Stanisław*) → 5) разные вторичные образования (польск. *Idzisław*: *Idzi* ← лат. *Aegidius*, *Imisław*: **jьm-*). Формацией типа 1 (корень + nomen) было имя мазовецкого князя *Masław*[12], названного Нестором *Moucлав*.

Ср. праиндоевропейскую структурную схему nomen + nomen, мало продуктивную у основ на *-i* и особенно богато представленную среди основ на *-o*: **Mьstьslavъ* > польск. *Mścisław*, др.-русск. *Мстислав*, т. е. тематич. праслав. *-ь-* < праи.-е. *ĭ*, было усилено более новой формацией с casus obliqui в первом члене; этот тип был поддержан и аналогией с продуктивными вербальными инновациями на *-i*: *Bronisław*, *Stanisław*.

Общеславянский тип *Svętoslav*, *Vidoslav*, *Jaroslav* на почве отдельных славянских языков разрастался в весьма разнородные инновационные образования: польск. *Bogusław* (casus obliqui), русск. *Твердоус*, сербохорв. *Crnobrat* и т. п. Инвентарь именных баз и в первой, и во второй половине сложения становился все более богатым и начинал совпадать с типичными прозвищными сложениями (ср. др.-русск. *Вислоух*, *Голозуб*, *Гнилозуб* и т. д.).

Для определения хронологической стратиграфии отдельных структурных схем важно установить типичные, общеславянские или даже унаследованные от праиндоевропейской эпохи именные базы первого и второго членов. Известно, что это были взаимоперемещаемые компоненты (ср. *Bogomil* — чеш. *Milboh*; укр. *Брацлав* < *Братслав* < *Братослав* — чеш. *Malobratr*); о типичности такой взаимоперемещаемости в индоевропейском свидетельствует хотя бы греч. Ἀγαθ-άνηρ «добрый муж» — Ἀνδρ-άγαθος. Эта метатезная схема, не известная именам нарицательным ввиду неизменности семантической мотивации (ср. греч. только ἀκρο-πολις), расширяла инвентарь двучленных имен и служила для них отличительным признаком. Как правильно сказал М. Бреаль, nomina propria — это своего рода «des signes à la seconde puissance»[13]. Свободная взаимозамещаемость членов говорит о том, что это всего лишь символические структурные схемы, лишенные конкретного содержания[14]. Ясно, что для установления отдельных слоев в области именных баз необходимы антропонимические словари и монографии о названиях, образованных от личных имен.

С уверенностью можно утверждать, что первый пласт этих именных баз, закрепившихся преимущественно во втором члене, является следую-

---

[9] M. Karpluk, Słowiańskie imiona kobiece, Wrocław — Warszawa — Kraków, 1961; P. Smoczyński, Słowiańskie imiona pospolite i własne z podstawowym *-ch* w części sufiksalnej, Łodź, 1963.

[10] S. Rospond, Wit Stosz (в печати).

[11] S. Rospond, Słowiańskie hipokorystyka imienne typu *Ra-sz*, *Ra-ch* itp., «Sprawozdania Wrocław. tow-wa nauk» (в печати).

[12] S. Rospond, Uwagi polemiczne o *Mieszku*, *Masławie*, *Dąbrówce*, «Onomastica», I, 1, 1955, стр. 177—181.

[13] M. Bréal, Essai de sémantique, Paris, 1913, стр. 183.

[14] J. Kuryłowicz, La position linguistique du nom propre, «Onomastica», II, 1, 1956.

щим: *-slav*, *-gost'*, *-mir*, *-bor*, *-gor*, *-vit*, *-vid*, *-rad*, *-žir*, *-*vold*, *-rog* и т. д. Более новые: *-vlъkъ*, *-kvas*, *-žizn'* и т. д.

Структурный подход к антропонимике позволяет выявить родство отдельных славянских языков и установить принадлежность славянской группы к восточноиндоевропейской (балтийской, индоиранской). Восточнославянские антропонимы обнаруживают в этом плане (по своему наиболее древнему типу) наибольшую близость к западнославянским. Это еще один факт в пользу гипотезы о севернославянской диалектной общности.

Вторым необходимым для антропонимиста методологическим критерием является субституционный анализ материала в области slavo-graeca, slavo-germanica, slavo-nordica или slavo-hungarica и т. п., и в первую очередь еще недостаточно изученных графических, фонетических, морфологических и лексических субституций. Специальной задачей новой ономастической серии «Onomastica Slavo-Germanica» (I — Leipzig, 1965, II — Wrocław, 1965) будет углубление проблематики субституций, главным образом в западнославянской ономастике. Восточнославянская документация представляет собой особую ценность для славянской антропонимии ввиду почти фонологической точности кириллических записей. Здесь не встают такие проблемы славянско-немецких графических или фонетических субституций, которые актуальны для западнославянской документации с ее неточной латинской графикой, к тому же равняющейся на старонемецкие образцы (ср. двузнаки *sz*, *zz*, *cz* и т. п.). При этом многие писцы сознательно подражали имперским, немецким документам.

Для восточнославянских антропонимов существует иная субституционная проблема, а именно ономастика slavo-nordica. Она была предметом старых немецких этимологических исследований, причем одновременного выступления со славянской стороны не было. *Олегъ*, *Ольга* < др.-исл. *Helgi*, *Helga*, *Игорь* < *Ingvarr*, *Глѣбъ* < *Gudleifr*, *Искоростѣнь* (название города) < др.-исл. *skarfr* «Klippe» + швед. *-sten*. Датский лингвист В. Томсен[15] вел норманистический курс, который продолжали его последователи А. Стендер-Петерсен[16], М. Фасмер[17] и др. А. А. Шахматов и А. И. Соболевский в принципе приняли точку зрения о сильном влиянии нордицизмов в русском языке, хотя с течением времени сами «норманисты» убедились, что слишком неосторожно относили к заимствованиям многие общеславянские слова (например, ст.-слав. *витязь*, русск. *витязь*, др.-польск. *wiciądz*, серб. *vitez* < норм. *vikingi*)[18]. Таким образом, в области собственных имен пока не установлено систематических, регулярных субституционных славяно-нордических соответствий.

Механическое внешнее сопоставление по буквам такого типа, как, например, делалось в отношении указания Птолемея Σιλιγγοι — *Ślężanie* (*Silesia*) — явно недостаточно. Дискуссия по этимологии этого этнонима показала, сколь ошибочной была позиция германистов и даже выдающегося польского индоевропеиста-ономаста Я. Розвадовского, возводящих название *Ślężanie* вслед за германистами к германским силингам; здесь просто заметить языковое родство *Ślężanie* (IX в. *Sleenzane*): *Ślęza* < *Ślędza* < **sląga*:* *sląg-* «мокрый, влажный». Следует сказать, что и название *Русь* — *Рось* (греч. Ῥῶς) также требует критического пересмотра

[15] V. Thomsen, Der Usprung der russischen Staates, Gotha, 1879 (на датск. яз.— 1876, на англ. и русск.— 1891).

[16] A. Stender-Petersen, Varangica, København — Aarhus, 1953; его же, Das Problem der ältesten byzantinisch-russisch-nordischen Beziehungen, Firenze, [1955]; его же, Die Varägersage als Quelle der altrussischen Chronik, Leipzig, 1934. См. также его многочисленные отчеты и рецензии на ту же тему в ZfslPh.

[17] M. Vasmer, Wikingerspuren in Russland, Berlin, 1931.

[18] A. Stender-Petersen, Varangica, стр. 18.

на базе гидронимического индоевропейского, а не только лишь нордического материала. *Roslagen* через фин. *Ruotsi* не должно было дать *Русь*[19].

Особенно ясна необходимость микрофилологического и даже палеографического анализа антропонимов. В соответствии с этим принципом следует учитывать всю совокупность материалов данного документа, летописи, произведения. Одно дело — материал из грамот, например, новгородских, написанных на бересте, а другое — документация из летописи Нестора и, наконец, совсем иное — из эпоса «Слово о полку Игореве». Материал из грамот или же реконструированный из местных названий отражает живые разговорные формы, летописец же или поэт может — хотя и не обязательно — преобразовывать живые формы в «ученые», письменные или комбинировать их. Поэтому достоверными следует считать имена первичные типа *Заяц* (*на заяце* — из новгородской грамоты XIV в.) и т. п. и, наоборот, имена трех братьев *Кий*, *Щек* и *Хорив* и их сестры *Лыбедь* (ср. *Киевъ*, *Щековица*, *Хоривица*, р. *Лыбедь*), скорее всего, были выдуманы Нестором.

Очень важен также семасиологический критерий. Некоторые именные архетипы — языковые окаменелости — сохраняют первоначальное значение, давно уже утраченное в именах нарицательных; ср. *svęt-* «сильный, богатый», *-bog* «счастье», *-rog* «обилие, богатство», ср. русск. *рогато* «богато». Правильно ли считается, что от русск. *рага* «деньга»<фин. *raha* было образовано *рогато* «богато» под влиянием (!) *рог*? Для анализа таких архетипов необходимы совместные усилия индоевропейской и славянской компаративистики: придется сравнивать структурные индоевропейские схемы и выделять общие антропонимические семантемы. Здесь следует назвать работы А. Фика — Ф. Бехтеля, В. Папе — Б. Бенселера (греческие имена), А. Хильки, Л. Згусты, Ф. Юсти (индоиранские), Э. В. Фёрстемана, А. Баха (германские), Г. Крае (иллирийские), Р. Траутмана (древнепрусские), А. Лескина (литовские), А. Хольдера (кельтские). См. также общие работы по индоевропейской антропонимии Ф. Сольмсена — Е. Френкеля и Е. Пульграма[20].

Восточнославянские имена известны уже с VI в. н. э. из византийских и латинских источников. Среди них — имя восточнославянского племени Антов с берегов Днепра и Днестра Μεζαμηρος (Прокопий VI в.) = *Mežь* + *mir*; М. Рудницкий[21] реконструирует его как **Meždoměrъ*-польск. *Miedzomir* (?). В советских исторических трудах представлена транслитерация *Мезамир*[22]. Структура indeclinabile + nomen была

[19] После капитальной работы К.-О. Фалька (K.-O. F a l k, Dneprforsarnas namn i kejsar Konstantin VII Porfyrogennetos de administrando imperio, Lund, 1951) стало возможным лучше понимать эти дублетные названия днепровских порогов, иногда совпадающие семантически. Видимо, нордические формы, будучи связаны с отправными торговыми и стратегическими форпостами скандинавских варягов, не были устойчивыми.

[20] A. F i c k — F. B e c h t e l, Die griechischen Personennamen nach ihrer Bildung erklärt und systematisch geordnet, 2-te Auff., Göttingen, 1894; W. P a p e — G. E. B e n s e l e r, Worterbuch der griechischen Eigennamen, Braunschweig, 1911; A. H i l k a, Beiträge zur Kenntnis der indischen Namengebung, Breslau, 1910; L. Z g u s t a, Die Personennamen der griechischer Städte der nördischen Schwarzmeerküste, Praha, 1955; F. J u s t i, Iranisches Namenbuch, Marburg, 1895; E. W. F o r s t e m a n n, Altdeutsches Namenbuch, I — Personennamen, Bonn, 1900; A. B a c h, Deutsche Namenkunde, I — Die deutschen Personennamen, Heidelberg, 1952; H. K r a h e, Lexicon altillyrischer Personennamen, Heidelberg, 1929; R. T r a u t m a n n, Die altpreussischen Personennamen, Göttingen, 1925; A. L e s k i e n, Litauische Personennamen, 2. Zu den litauischen Personennamen. 3. Die litauischen zweistämmigen Personennamen, IF, XXVI, 1909; XXVIII, 1911; XXXIV, 1914 — 1915; A. H o l d e r, Alt-celtischer Sprachschatz, I—III, Leipzig, 1896—1907; F. S o l m s e n — E. F r a e n k e l, Indogermanische Eigennamen als Spiegel der Kulturgeschichte, Heidelberg, 1922; E. P u l g r a m, Indo-European Personal Names, «Language», XXIII, 3, 1947.

[21] M. R u d n i c k i, Prasłowiańszczyzna — Lechia — Polska, II, Poznań, 1961, стр. 139.

[22] Б. Д. Г р е к о в, Избр. труды, II, М., 1959, стр. 236

известна всем индоевропейским языкам, а в некоторых славянских (например, западнославянских) была особенно продуктивна: санскр. *Pari-śruta*, греч. περι-κλυτος, «очень славный», кельт. *Eridubnos*, прусск. *Pergaude*, праслав. **Per-bor* (ср. польск. *Przebor*, чеш. *Přěbor*, др.-русск. *Прѣибор?*). В среднегреческом ζ=слав. *ž*, ср. ζαμπα=*жаба*, μέρζα=*мержа, ναστρεζη = *Настрежье* (название днепровского порога у Константина Порфирогенета [23]). Рефлекс праслав. *dj* как *ž* указывает на принадлежность этого славянского племени к восточной группе.

Запись Δαβραγέζας (Агатиас III 21) = *Dobrogost*. С продуктивным праславянским членом *-gostь* «hospes» (ср. герм. *Gast*, лат. *hostis*, со вторичным значением «peregrinus» и «враг») славяне часто образовывали сложные слова: *Dobrogostь* (общеславянское), широко употребляемое в топонимах и гидронимах. Второй член — *-gost* представлен в чешских личных именах и территориальных названиях; сюда относятся архетипы, обнаруженные главным образом в составе территориальных названий: **Čáhost*, *Blizhost*, *Bolehost*, *Budíhost*, *Uněhost* и т. п. и вторичные образования *Častohost*, *Črnhost*, *Živohost* и т. п. Ср. также польск. *Bedgost*: **bъd-* «vigilare», *Dobrogost*, *Lubgost*, *Miłogost*, *Uniegost*. В древнерусской гидронимии [24] он был характерен для территорий давно заселенных, как реликт первоначальных названий укрепленных поселений, расположенных по этим рекам [25].

Южнославянский материал образований на *-gost* обнаруживается уже в византийских источниках (Ἀναγαστος = *Onogost*), Ἀρδαγαστος = *Radogost*, а также в территориальных названиях (например, *Veligošt'* на Пелопоннесе). Наша картотека к «Топономастическому славянскому атласу» содержит обширные материалы посессивных названий на *-gost* до XII в. Архетипичными являются названия в местностях, давно занятых славянами и лишь позднее германизованных (северная Бавария, Мекленбургия, Бранденбургия, Альпы, Паннония); например, из Паннонии: *Nagošč*, из Мекленбургии и Бранденбургии: *Radogošč*, *Ologošč* (несколько раз), *Vidogošč*, *Budigošč*, из северной Баварии: *Nagošč*, *Trebogošč*, *Živogošč*, *Skorogošč*, *Sědogošč* (или *Cetogošč*). Еще шире был представлен до XII в. тип. на *-gost* в местных названиях других славянских территорий: польск. *Dobrogoszcz*, *Samogoszcz*, чеш. и морав. *Lubgošč*, *Tuhošt'*, *Vargošč*, *Živohošt'*, серб., хорв., словен. *Budigošt'*, *Lubigošt'*, *Onogošt'* (Стырия и Черногория), *Radigošt'*, *Radogošt'*, *Trebigošt'*, *Veligošt'*.

В записи χιλβούδιος (Прокопий III 4) ясен второй член *-bud* «vigilare», в то время как первый может быть переделкой на греческий лад славянского *chvali-*.

Существуют еще патронимические названия вождя Антов Межьмира, а именно Ἰδαριζιου = *сын Идара* (?). М. Рудницкий, ссылаясь на польскую фамилию Idzior, видит здесь формы *Idor*, *Idorzyc* (?). Скорее можно воспринять это имя как *I-dar* (тип: корень *i-* < *i-ti*, праи.-е. *ei-* и nomen *-dar*). В славянской антропонимии этот праи.-е. архетип с корневым *i-* так и не выделен, но такие имена известны в других индоевропейских языках, в том числе и в балтийских: прус. *I-bute* «идущий домой», Eybuth «то же», литов. *Ei-butas*; ср. также санскр. *Sam-i-t-* + *pāni* «имеющий руки для борьбы» (тип двуступенчатый, или же [indeclinabile + корень] + nomen, ср. санскр. *éti* «идет», 1-е лицо мн. числа *imáh*, греч. ἴεμι, санскр. *sam-* = праслав. *sǫ-/sъ*). Возможен и местоименный корень *i*, праи.-е. *yos*, праслав. *jь* (*ji-že*), *i-nъ*. Существуют и более новые очаги таких имен: польск. *Inowłod*, южнослав. *Inogost*, *Inosav*, *Inoslav*, см. ниже замечания к *Игорь*.

У Иордана (VI в. н. э.) упоминается вождь Антов *Boz* (другая запись — *Booz*) = *Bož* < **Bod-jь* или **Bog-jь* (гипокористическое образование). Можно было бы также принять реконструкцию *Buž* < **Bud-jь* или *Bos* : *bosъ*. В некоторых советских исторических работах дается форма *Боз*; следует обратить внимание на выражение *Бусово время* («Слово о полку Игореве»). В раннесредневековой латинской графике *-z* = *-s*, поэтому автор эпоса, зная из раннесредневековых источников эту функцию лат. *z* = *s*, образовал — впрочем вслед за народной традицией — производное *Бусово*. Что касается обозначения *s* буквой *z* или сочетанием *zz* — ср. *Ruzzi* = *Rusi* (Баварский географ IX в.), др. польск. *Ruz* 1136 г. = *Rus* (прасл. *rusъ* < **rud-sъ*, лат. *russus* «рыжеватый»).

Приведенные восточнославянские имена относятся к наиболее древним источникам (VI в. н. э.); они показывают несколько характерных структурных типов, унаследованных от праиндоевропейской эпохи: 1) корень + по-

[23] K. O. Falk, указ. соч.

[24] P. Arumaa, Sur les principes et méthodes d'hydronymie russe: Les noms en «gost'», «Scando-slavica», VI, 1960.

[25] См. V. Šmilauer, «Zpravodaj místopisné Komise ČSAV», II, стр. 243—244, III, стр. 265; M. Karaś, O staropolskich imionach dwuczłonowych zachowanych w nazwach miejscowych, «Onomastica», II, 2, 1956, стр. 260—281.

men; 2) indeclinabile + nomen; 3) nomen + nomen. Кроме того, в передаче *Boz*=*Bož* обнаруживается славянский гипокористический архетип образца *Radosław* >**Rad-jь* либо первичное образование *Bos* : *bosъ*.

Очень ценным, хотя, к сожалению, для XI—XII вв. лишь фрагментарным, является живой разговорный материал новгородских берестяных грамот[26]. Правда, большая его часть, относясь к XIII—XV вв., показывает сильное влияние христианских и производных личных имен. Здесь представлены такие имена, как *Богьша*, *Войчина* (цокающее *Войцина*) от *Войка*, *Гостила*, *Жидила*, *Гостята*, *Местиловъ* : *Местил* <**Mьstьslavъ*. Наряду с именами пожелательными (двучленные мелиоративы, гипокористики, деминутивы) имеются также не менее древние и характерные «прозвищные» имена (пейоративы, образованные от имен нарицательных): *Заяц*, *Зуйка*, *Колотъка*, *Лазовъкъ* и т. п. Встречается образование, реликтовое для всей славянской территории: *Не-съ-да*, ср. др.-польск. *Niezda*, др.-чеш. *Nesda* (наряду с *Daslav*, *Damir*, *Dabog*). Это праи.-е. архетип indeclinabile + корень (чаще всего — в первом члене две неизменяемые частицы, в том числе отрицание): санскр. *Vi-rāj* «вокруг господствующий», *Su-pra-bhā* «хорошо перед собой освещающий», *bhāti* «светить»; греч. Ἀ-δαμας «непобеждающий», Εὐ-δάμας «хорошо побеждающий», кельт. *Ad-vo-rīx*. Запись *Несъдѣ* (дат. падеж ед. числа) неправильно толкуется как *не-съзьда* «неудавшийся» (?); ср. *зьдъ* «глина», чеш. *zьdati*. Принимать упрощение группы для эпохи существования редуцированных неправомерно. Ср. запись в Новгородской летописи за 1167 г. *Несда*.

В берестяных грамотах встречаются также такие двучленные праславянские имена: *Жирослав*, *Радослав*, *Творимир*, *Невѣр*.

Здесь же есть имя *Волос* (ср. у Нестора бог скота *Волос*, *Велес* в «Слове о полку Игореве»). Объяснение этого собственного имени, применяемого для обозначения древнего божества или лица, через христианское имя *Власий*, удовлетворить не может. Не следует ли принять здесь первичное гипокористическое образование, столь продуктивное в западнославянских языках: польск. *Stoisław* > *Sto-sz*, *Sto-ch*, *Stanisław* > *Stasz*, *Stach* и т. д. Подобно этому: русск. *Володимир*, *Володислав* > *Volo-sь*, с тем же гипокористическим формантом *-sь*, который известен в польском, белорусском и украинском языках: *Staś*, *Cześ*, *Zdziś*, *Woś* <*Włoś*, белорусск. и укр. *Домася*, *Ванюсѐ*[27] и т. п. Трудно отрывать друг от друга идентичные наименования, т. е. имена божества и человека. В принципе формирование имен божеств не отличалось от прочих собственных имен— сложных, сокращенных или апеллятивных: *Svętovitъ*, польск. *Dadzbog*. В силу того, что гипокористики первичного типа — явление в восточнославянской антропонимии редкое, так как они были вытеснены христианскими полуименами (Ваня, Вася и т. п.), летописцу *Волос* и представлялся столь загадочным в грамоте № 50 *Волосе* им. пад. ед. числа=*Волосъ*, так как здесь нередко *е-ь*. Широкое смешение ь и ъ могло привести к утрате первоначального *-s'* в уменьшительном, редко употребляемом имени.

Личные имена у Нестора[28], а также местные названия, образованные от личных имен или же из некоторых этнонимов (*Радимичи*), из-за древности свидетельства являются чрезвычайно ценными. Конечно, следует отдавать себе отчет в их многослойности: с одной стороны — архетипы,

---

[26] См. издание их А. В. Арциховским, а также: W. Kuraszkiewicz, Gramoty nowogrodzkie na brzozowej korze, [Warszawa], 1957.

[27] Е. Ф. Карский, Белорусы, II, 2, М., 1956, стр. 31—32. А. И. Соболевский неправильно объяснял наличие форманта *-s'* на киевской территории галичским и подольским влиянием. Ср.. А. Е. Крымский, Филология и погодинская гипотеза, Киев, 1904, стр. 20 и сл.

[28] «Повесть временных лет», I—II, М., 1950.

скопированные с более древних источников и опирающиеся на живую традицию, с другой — ученый монах, следующий образцу раннесредневековых летописных схем, который мог этимологизировать, переделывать или даже создавать искусственные имена (*Щек*, *Хорив*, *Лыбедь*).

Им была перечислена целая княжеская династия с типичными династическими исконными двучленными именами: *Святослав*, *Ярополк*, *Володимир*, *Святополк*, *Изяслав*, *Ярослав*, *Мстислав*, *Брячислав*, *Всеволод*, *Всеслав*, *Вышеслав*, *Станислав*, *Судислав*, *Передслава* (женское имя), *Ростислав*, *Рог(о)волод*, *Володар*, *Сбыслава* (женское имя), *Вячеслав* (X—XII вв.).

Эти наследственные имена, как и в других славянских странах того времени, были закреплены за правящей династией и повторялись вплоть до XIII в., когда все чаще, а позднее и исключительно стали употребляться иностранные христианские имена: Евстахий (ум. 1033), Илья (ум. 1020) и т. д.

Имея это в виду, вполне правомерно усомниться в том, действительно ли имена *Олег* (ум. 912), *Ольга* (ум. 969), *Игорь* (ум. 945), *Глѣбъ* (ум. 1015) нордического происхождения? Исключает ли их индоевропейско-славистическая структуральная и микрофилологическая интерпретация их славянское происхождение? Этот вопрос требует специального рассмотрения в теме «Slavo-nordica в древнерусских именах собственных».

Вообще в «Повести временных лет» Нестор привел очень старые именные типы, доставившие немало этимологических хлопот тем лингвистам, которые пренебрегли структуральным анализом. Так, в именах *Сварог*, *Стрибог* наверняка представлена индоевропейская структурная схема, унаследованная в праславянском: корень + nomen. В случае *Стрибог*, как уже правильно отметил Е. Бернекер[29], речь идет о первом члене *stri-* «правитель, господин» (ср. *strъjǫ*, *striti* «править», *strojь*, русск. *строй* «порядок») + *бог* «добро; правитель, господин». Все прочие комбинации — и структурно, и семантически — неубедительны: С. Пирхегер принял иранское происхождение **Strī-baγa* «Weibergott»[30], прочие считали, что *стри-* — это ономатопея свистящего ветра[31].

Ни значение, ни формальная сторона имени *Сварог* не установлены[32]. Обычно принимается основа *свар-* + *-огъ* как заимствование из иранского *svar* «блеск», авест. *hvar* «солнце», а само слово рассматривается как гибридная формация др.-иран. *svar* + слав. *-ogъ* (ср. *творогъ*, *острогъ*, *пирогъ*— только для неличных имен)[33]. По нашему мнению, перед нами местоименный корень *sva-* (ср. праслав. *sva-tъ*, серб. *sva-k*), который в обновленном виде часто выступал в славянских именах: др.-чеш. *Svojboh*, *Svojmir*, *Svojslav* и т. п. Следует ли толковать польские записи *Suebor*, *Suethech*, *Zverad* = *Świebor* < *Wszebor*, *Swieciech* < *Wszeciech*, *Świrerad* < *Wszerad* (как считает В. Ташицкий[34])? Скорее их надо бы реконструировать как структуры *Swébor*, *Swéciech*, *Swérad*. Ср. др.-чеш. (а также полабские и словенские) *Svébor*, *Svérad*, *Svemir*, словен. *Zwigoj*, *Zegoy*, *Seuemus-*

---

[29] E. Berneker, Ein slavischer Gottername, «Festschrift Ernst Kuhn», Munchen, 1916.

[30] S. Prichegger, Zum altrussischen Götternamen *Strĭbogъ*, ZfslPh, XIX, 2, 1947.

[31] S. Urbańczyk, Religia pogańskich Słowian, Kraków, 1947, стр. 31; M. Rudnicki, указ. соч., стр. 125; см. также: Ф. Корш, Владимировы боги, Харьков, 1908; Е. Партицкий, Темни местея в «Слове о плъку Игореве», I, Львов, 1883, стр. 107.

[32] M. Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch, I—III, Heidelberg, 1953—1958.

[33] M. Rudnicki, указ. соч., стр. 62, 121, 382.

[34] M. Taszycki, указ. соч., стр. 99.

cle = *Svemysl*, *Zweislaus* = *Sveslav*[35]. На территории Лехии было известно племя *Svarožici* (*Zuarasici* XI в.) и патронимическое др.-русск. *Svarožič*.

«Поэтические» имена в «Слове...» нередко совпадают с Нестором и летописями: *Всеволод*, *Ольгъ*//*Олегъ*, *Дажьбог*//*Даждьбог*, *Стрибог*, *Игорь* и т. д. Ср. еще такие характерные образования, как *Бусово время* (ср. у Иордана в VI в. *Boz* или *Booz*), *Велес* (но у Нестора *Волос*), *Жля*, *Карна*, *Хръсъ* и т. д. Интерпретация этих и других собственных имен имеет значение и для полной характеристики этой поэмы и тем самым для всестороннего рассмотрения вопроса о ее подлинности.

Попытка интерпретации якобы «необычных» патронимических форм типа *Святославлич* вместо *Святославич*, произведенная В. Ташицким в свете исторических форм, приведенных Р. Якобсоном, оказалась ошибочной. Как и у Нестора, это, с одной стороны, материал подлинный, архаический (*Стрибог*, *Игорь*, *Олегъ*, *Дажьбог*), с другой — фольклорный, основанный на устной традиции (*Бусово*), и, наконец, сильно стилизованный (*Даждьбог*). Второй именной фольклорно-ономастический пласт, т. е. самые разнообразные бродячие сюжеты, предания, нередко почерпнутые из нордических саг или византийских источников, являются наиболее трудным для интерпретации материалом. Здесь смешались формы живые, разговорные, произносимые с писаными, книжными. Средневековая польская антропонимия встречается с подобными же трудностями в формах *Piast*, *Popiel*, *Chossistko* = *Chościsko* (?).

Этот древнейший материал, как из источников VI в., IX—XII вв., так и реконструированный для IX—X вв. из местных названий типа *Изяславль*, *Переяславль*, *Уненеж*, *Дорогобуж*, *Дорогобыч* и т. д., относится к племенным вождям, русским князьям и их воеводам: ср. *Ходота*=**Chodota* (тип *Bogota*): *ходити* (сербохорв.) *Chodivoj*, *Chodislav*, *Chodimirić*, др.-чеш. (*Chod*, *Chodic*). Ср. имя «старейшины» Вятичей: **Ljubek* < **Ljubъkъ* (*Ljubeč*); *Добрыня* 985 г., дядя князя Владимира, ср. сербохорв. *Pribynja*, др.-чеш. *Mutyně*. Этот древнейший славянский антропонимический материал позволяет выделить три основных структурных именных типа: 1) composita с социально-элитарной, в стилистическом отношении — с мелиоративной функцией, в основном закрепленные для имен династии и феодального слоя: *Межьмир* (VI в.), *Гостомыслъ* (IX в.), *Святослав*, *Изяслав* и т. д.; 2) вторичные, производные, разнообразные суффиксальные и гипокористические образования: *Бож* или *Вож* <**Bod-jь*, **Bog-jь* или **Vod-jь*; *Гостята* XI в., *Вышата* XI в. (здесь характерный суффикс *-ęta*, продуктивный для севернорусских, новгородских имен); *Радим* (*Радимичи*) — давний партиципиальный тип с формантом *-m* наблюдается прежде всего в местных именах: польск. *Radom*, *Bytom*, *Oświęcim*, *Strzegom*, *Želim*, чеш. *Chrudim*, *Kouřim*, *Ustim*, *Znojim*, зап.-лех. (Мекленбургия, Бранденбургия) *Budim*, *Chotim*, *Godim*, *Velim*; др.-словацк. (Паннония) *Budim'* > *Buda* + *Pešt*, *Strěgom'*, южнослав. *Budiml*, *Porodim*. Может быть, др.-русск. город *Путивль* <**Putiml*: *Putim*? Ср. также загадочное имя *Turim* (?), который якобы правил в Турове; 3) первичные образования от именительных с «прозвищной» функцией, т. е. в принципе неэлитарные пейоративы: *Малъ* (князь Древлян); многочисленные жители Новгорода *Заяц*, *Зуй-ъка* (*на Зуйкѣ* ср. *Зуй*), *Колотъка*, *Лазовъкъ* и т. д. «Аристократические» сложения с течением времени становились все менее продуктивными, и уже к XII в. их осталось немного. На восточнославянской территории они подверглись значительно более быстрому ограничению и ликвидации, чем в западнославянской или особенно в южнославянской антро-

[35] J. Svoboda., указ. соч. стр. 88.

понимике, где можно явственно наблюдать их возрождение в виде многих инновационных образований: *Bjelosav*, *Ludomil* и т. д.

Для древнерусских имен основным был тип вторичный, производный: *Богъша*, *Войчин*: *Войка*, *Гостила*, *Жидила*, *Местилов*: **mъst-* и т. д. Древнейшие гипокористики типа *Ra-š*, *Sto-ch*, *Sta-ś* и партиципиальные с формантом *-m* (*-im*, *-om*) не были здесь продуктивны. Поэтому в источниках они могли быть затерты, переиначены (ср. *Волос'— Велес*).

Многие архетипы были Нестору непонятны, и потому польск. *Masław* он осовременил в *Моиславъ*. Этот же автор скомбинировал из местных и даже речных названий такие имена, как *Кий* (ср. *Киевъ*, но у арабского писателя *Kijaba*), *Щек* (*Щековица*), *Хорив* (*Хоривица*), *Лыбедь* (название реки). В неэлитарном пласте самыми популярными были нарицательные образования, первичные или же вторичные: *Малъ*, *Заяц*, *Зуй*, *Зуйка*.

Однако в отличие от западнославянской антропонимики здесь уже очень рано наблюдается конкуренция со стороны иностранных греко-византийских имен, распространяющихся после принятия христианства в XI в. В новгородских берестяных грамотах их больше всего (53 на 10 исконных + 11 из территориальных названий). Вместе с исконными именами параллельно употреблялись христианские (на первом месте): *князь Федор*, *мирский Мьстислав*[36]. Ср. точно так же в болгарской династии: *Борис — Михаил* и т. п.[37].

Фонетическая, морфологическая и лексическая (кальки) славянизация греко-византийских имен должна стать предметом подробного изучения с точки зрения различных субституций: ср. Ἰωάννης > *Ioann* > *Ioan* > *Iovan* > *Иван*. Имея в виду такую эволюцию, легче установить предполагаемые морфологические гибриды. Например, *Борис* (уже в болгарской династии 852 г.) < *Borislav* (ср. чеш. *Borivoj* 894 г.). Это гипокористическое производное типа *Radoslav — Rad* или же *Borislav—Bor* + греч. суффикс -ις, ης. А следовательно, *Ivanis* < Ἰωαννης. Славянская принадлежность этого суффикса (ср. форманты *-š-* и *-s'-*) подтверждается документами слабо.

Древнерусские личные имена возникали и под скандинавским влиянием, особенно в Новгородской Руси. Это влияние иногда преувеличивают (например, предполагают др.-исл. *Valdemar* > *Volodiměr*, *Volodimir*), хотя с уверенностью можно утверждать, что направление было обратным. Объем и характер (ср. opinio communis о нордическом происхождении имен *Игорь*, *Олегъ*, *Гльбъ*)[38] обычно устанавливают на основе текста Нестора о призвании варягов.

Следует отметить, что скандинавские имена, чаще всего лишь внешне архаизованные, в отличие от греко-византийских были слабыми деривационно и трудными в обращении, а кроме того чаще всего письменными и даже легендарными или типичными лишь для «дружинников» и послов в Византию. См. у Нестора: *Аскольд*, *Дир*; ср. др.-исл. *Hoskoldr*, др.-швед. *Haskoldr*, др.-швед. *dyr-*, др.-в.-нем. *tiuri*, нем. *teuer*; ср. еще *Asmud* < *Asmold*, *Asmut* (воевода Игоря и Ольги). Следует также упомянуть имя *Рюрик*.

*

Для демонстрации результатов применения структурного метода проведем классификацию более обширного материала[39] с л о ж е н и й

[36] Н. М. Т у п и к о в, указ. соч., стр. 5.

[37] B. G e r o v, Die Form der griechischen und semitischen Nomina auf *-is* im altbulgarischen, «Studia historico-philologica Serdicensia», II, Sofia, 1940.

[38] См.: M. V a s m e r, Russisches etymologisches Wörterbuch, s. v.

[39] Использованы работы М. Морошкина, Н. М. Тупикова, А. М. Селищева, В. К. Чичагова, грамоты, летописи. Кроме того, привлекался материал, реконструи-

первичных имен и вторичных имен по морфологическим группам. Берутся исконные, так называемые «некалендарные имена». В пределах этих основных групп будут выделены подгруппы, прежде всего по их хронологической эволюции, т. е., например, в пределах композитов — сначала праиндоевропейские структуры, затем праславянские и, наконец, разные пласты инноваций в славянских языках.

Меньше внимания мы посвятим первичным, апеллятивным именам, формальная структура которых не отличается от имен нарицательных. Они, так же как и одночленные структуры, выступали в индоевропейскую эпоху (это имена типа польск. *Baran*, русск. *Губа*, *Соболь* и т. д., которые становятся именами собственными путем индивидуализации содержания слова). С функциональной, общей, «названиетворческой» точки зрения возможны две основы определения индивида: 1) пожелательная (мелиоративы); 2) обсервационная, «прозвищная» (пейоративы). Образования, восходящие к именам нарицательным, принадлежат ко второй функционально-семантической категории[40].

Именем для нас является всякое одиночное первичное назывное образование, фамилией же — второе имя, образованное посредством деривации. Таким образом, разница между именем и фамилией хронологическая (*Jan* — сначала имя, потом также и фамилия), функциональная, социальная (необходимость выделения отдельных лиц) и отчасти структурная (филиационные фамилии, т. е. patronymica разного образования).

I. Обратимся сначала к хронологически разным слоям сложений, поскольку их структура является наиболее характерной и архаической. Их двучленность, как и у имен нарицательных, была либо центростремительной (*Доброгост*), либо центробежной (*Святополк*, *Вячеслав*), либо синтетической (*Ратмир*).

А. Праиндоевропейские структурные схемы являются общими для многих индоевропейских языков, особенно для языков восточноиндоевропейской группы (балто-славянские, индо-иранские). Прежде всего это образования с корневым элементом, чаще в первом, как исключение — во втором члене. Корень в период индоевропейской общности мог быть представлен номинально или вербально, в зависимости от морфологической позиции. Со временем формальное совпадение обусловило идентификацию корня с вербальной основой (инфинитив — аорист). Выделяются следующие структурные схемы:

1. Корень + nomen: санскр. *Sad-áśva* «сидящий на коне», литов. *Bỹ-tau-tas* «боящийся народа», греч. Εὐρύδημος «остерегающийся народа», др.-прус. *Ey-buth*, *Ey-draws*, *I-bitte*, *I-bute*; ср. праи.-е. **ei-* > праслав. *i-ti*.

Т. Милевский, исходя из непродуктивности этого типа в санскрите, а равно, по его мнению, и в славянских языках, неправильно считает соответствующие имена вторичными на базе двухступенчатого негативного образования: *Недамир — Дамир*[41]. В славянской антропонимии это реликтовая формация, но известная нам узость ее распространения и численная ограниченность (по Милевскому, только семь славянских примеров) может объясняться тем, что она еще не полностью изучена. Более подробные исследования, особенно топонимические, могут вскрыть новые примеры. См. нашу интерпретацию имени *Masław*[42]. Нормальное направление ономастического развития таково, что одноступенчатая формация корень + nomen развивается в двухступенчатую [indeclinabile + корень] + nomen. Именно таким является направление морфологического развития, широко распространенное в именах нарицательных: *uczyciel* < *nauczyciel*, лат. *mortalis* < *immortalis* и т. д.

рованный из топонимов и гидронимов, т. е. главным образом из нашей картотеки к славянскому топономастическому атласу. Этот материал обозначается звездочкой.

[40] F. Solmsen — E. Fraenkel, Indogermanische Eigennamen als Spiegel der Kulturgeschichte; T. Milewski, Imiona osobowe jako zwierciadło kultury, «Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Spławiński», стр. 39.

[41] T. Milewski, Ewolucja morfologiczna..., стр. 48.

[42] См.: St. Rospond, Uwagi polemiczne o *Mieszku*, *Masławie* i *Dąbrówce*, стр. 177—181.

Существуют и такие формации, которые трудно объяснить опущением первого неизменяемого элемента; сюда относятся польск. *Czasław*, чеш. *Čáslav*, русск. *Явид*, *Яволод* и т. д. В балтийской антропонимике, более архаической, чем славянская, они встречаются нередко. Ср. в пределах схемы nomen + nomen структуру «первый член = корневое имя существительное», например санскр. *Go-bala* «имеющий силу вола», греч. βοῦ-ὠγρος «охотящийся на волов», санскр. *gáuḥ*, греч. βοῦς «вол», корова», прус. *Ways-tauthe* «имеющий народ в доме», литов. *Vaiš-viras* «муж дома»; этот тип известен только в самых древних индоевропейских антропонимах — в санскрите, авесте, греческом, кельтском и балтийском. Ср. также в пределах indeclinabile + nomen подтип праи.-е. *$k^{w}u$- в первом члене (из междометно-вопросительных предложений): санскр. *Ku-netraka* «какие глаза?», прус. *Ku-wayke* «что за мальчик?». Формация известна только в санскрите, греческом и балтийском.

Архетипичная с этой точки зрения восточнославянская антропонимика (включая имена божеств) позволяет увеличить число примеров этой формации: *Явид*, *Яволод*: **ję-*, *Стрибог*: *stri-ti*, **Braslav* : **bьra-*, **Dabog*>*Dažьbog*; ср. сербохорв. *Dabog*, *Damir*, *Daslav*. Сюда же, по нашему мнению, относится имя *Игорь*: *i-ti*, ср. приведенные выше балтийские имена с этим корнем в первом члене. Ср. также русск. **Izgor*<**jьz-gor*, чеш. *Vyšehoř*, *L'utohoř*, *Domahor* и т. д., праслав. *gorěti*. Непонятное польское имя *Masław* (у Нестора искаженная модернизированная форма *Mouslав*) было интерпретировано невероятным образом: *Miecsław* > *Masław*[43] и т. д. Ср. также польск. **Znamir* (*Znamirowice*).

Для других славянских языков характерной была именная морфема *Ča-*: *čajati*, *čakati* «expectare»: польск. *Czasław*, *Czawuj*, чеш. **Čábud*, **Čahost*, **Čamir*, *Čábor*, словен. *Čavoj* и т. д. В языках, которые деназализировали *ę* > *'a*, *ča* может восходить к не менее продуктивному *čę-* (ср. польск. *Naczęsław*, *Naczęmir*, польск., словен. и чеш. *Stamir*, чеш. *Stabor*, словен. *Stagoj*: *sta-ti*, лат. *stare*. Можно ли сюда добавить др.-русск. *Идарь*?).

Таким образом, имен такого типа можно привести намного больше, чем это сделано Т. Милевским, и на этом фоне следует рассматривать и форму *I-gorь*, требующую, однако, более широкого сравнительного анализа.

Невыразительная в акустическом отношении, состоящая только из одного узкого гласного именная база *i-* (ср. более выразительные *da-*, *ma-*, *čę-*, *ča-*, *ję-*, *dě-*), будучи полностью непродуктивной, быстро утратилась. В случае, если база была местоименной (ср. *i-nъ*), она в некоторых именах усиливалась: польск. **Inowłod*, сербохорв. *Inoslav* (ср. *Onogost*: *onъ*).

2. Indeclinabile + nomen. Это была очень продуктивная структура, известная всем индоевропейским языкам: санскр. *Su-yodhana* «хороший воин», греч. Εὐ-ώπος «с хорошими глазами», кельт. *Su-ratos* «с хорошей лаской», слав. *Sъ-ljubъ*, *Sъ-bor*/*Sębor* (польск. *Sambor*). Первоначальное адвербиальное значение этого праиндоевропейского неизменяемого элемента *sŭ-* «хороший, хорошо» в застывшей славянской препозитивной форме *sъ-*/*sę-*«cum» со временем стерлось. Широкий диапазон морфемных возможностей диктует необходимость внимательного изучения как первого, так и второго члена. Это стереотипные формы с продуктивными префиксами: *bez-*, *do-*, **jьz-*, *na-*, *o-*, *ot-*, *po-*, *pro-*, *prě-*, *přěd-*, *pri-*, *s-*/*sę-*, *u-*, *vy-*, *za-*, например польск. *Biezdziad*, чеш. *Bezděd*, др.-русск. **Bezděd* (*Бездеж*), польск. и словацк. **Bezprětъ*, польск. *Sębor*, чеш. *Sbor*, др.-русск. **Surad* (*Сураж*). Древнейший — от VI в. н. э.— славянский, собственно восточнославянский пример μεζαμήρος=*Межьмир* принадлежит к этой же структуре, столь разросшейся позднее в отдельных славянских языках.

Приводим восточнославянский материал: **Izbor*, **Izslav* (*Ислaвич*), *Нажир*, *Перемил*, *Перенѣг*, *Переслав*, **Peremysl* (*Перемышль*) **Perežir*, *Прѣбор* (*Прѣбибор*?), **Rozmysl* (*Розмыслович*), *Завид*. Во всех славянских языках нередким было неизменяемое *o-*: чеш. *Omysl* (польск. *Omyśl*), *Oslav*, **Ogost* (ср. *Wogastisburg* 680 г.), словен. *Oslav* и т. д. Поэтому следует предположить, что др.-русск. *Олегъ*, *Ольга* (женская форма) принадлежат к той же структуре, т. е. **O-lьgъ*: праи.-е. **leg^{u}h-* «легкий в движении и на вес» = праслав. **lьg-*, русск. *льга*, *нельга*, *нельзя* и т. д. Ср. современное ударение на последнем слоге (*Олéг*), до исчезновения конечного редуцированного — на предпоследнем (*Оль-гъ*), и регулярное чередование редуцированных *е*/*ь*. См. еще в византийских источниках Ὄστρυος=слав. *О-стрый*? Существенно чередование в местном названии *Ольговъ*/*Льговъ* Курской (1152 г.) и Рязанской (1207—1208 гг.) областей, свидетельствующее о неутраченной связи имени **Olьgъ* с именем **Lьgъ*. Сейчас оба названия звучат *Льгов*. См. производные топонимы, образованные от подобных славянских имен: польск. *Lgiń*, чеш. *Lhán*, *Lhenice*, личное имя *Lhyně*; ср. также германские сложения с *Lihta*=др.-в.-нем. *leht* «levis», например *Lictefred*, *Lihtger*, *Lihtwar*>*Lihwar*, *Lihtolf* и т. д.

С продуктивной восточнославянской приставкой *из-* образовано название старого города *Искоростень* < *Iz-korost-ьn-jь*: *Iz-korost*: праслав. **korstā*, укр. *короста*,

[43] Там же, стр. 177—181.

ср. *Коростовой*, *Коростин*, *Коростков*. Объяснение из др.-исл. *skarfr* «Klippe» + *sten* неправильно.

Древненордическая этимология *Глеба*, т. е. *Гълѣбъ* < *Gudleifr*, нем. *Gottlieb* не является неизбежной, тем более, что не только на территории именно древней Руси (*Дулѣбы* = Волыняне), но и в западной славянщине появляются этнонимы: *Du* (*d*)*leby* (в южной Чехии), *Dulebyane* (на Одере). Существовало и древнерусское имя *Улѣбъ*. Уже изобретательный А. Брюкнер [44] возводил второй славянский член *-lěbъ* к лит. *laibas* «тонкий, худой, слабый», хотя и неправильно объяснял *Dudleby* < *duda* «нищалка, свирель, дудка» + *lěbъ-* «тонкий как дудка» (?). Этот корень сохранился в славянских языках, ср. русск. *лебиной*, *либивый* «слабый», серб. *libati* «качаться» — «тонкий, слабый», серб. *lebetati* «слабеть», др.-русск. *либивый* «gtacilis», кашуб. *leby* «mager», др.-чеш. *libivý* — то же. Попутно можно добавить, что тот же самый корень выступает в др.-англ. *lēf* «слабый».

Препозитивный член *do-* известен в именах: др.-чеш. **Dorad*, *Dobyslav* и т. д., подобно этому **Do-lěbъ*; праславянским чередованием *o/ъ* < *u* (*chotěti/chъtěti*, *kogda/kъgda*, *togda/tъgda*) объясняется *Dolěbъ* > *Dulěbъ*. Впрочем, безударное *o* по диалектам переходит в *u*: *кулотъка* = *колотъка* (новгородская берестяная грамота), ср. уже в ст.-слав. *ухудѣти/охудѣти*.

Indeclinabile *gъ-*, отчетливо представленное в варианте *Гълѣбъ*, следует связать с праи.-е. частицей **ghe-*,**ghō-*,**ghe-*,**gu-*. Ср. образования с префиксами *Go-pło-*, *gawron*, с частицами ст.-слав. *-го*, *-же*, литов. *-gu*, откуда, согласно Я. Розвадовскому [45], прабалтослав. *-gu*, затем *-gъ*.

Восточнославянские сложные антропонимы типа indeclinabile + nomen гораздо менее продуктивны, чем западнославянские: ср. польск. *Nadziej*, *Nagod*, *Nasił*, *Nasław*, *Nawoj*, чеш. *Naslav*, *Nasil*, *Nabor*, *Nahod*, *Nachval*, *Namir*, *Navoj*, *Namysl*; др.-русск. только *Нажир*. Как и другие праславянские сложения, они были вытеснены христианскими именами. Однако с дописьменной эпохи сохранились такие реликты, как *Межьмир*, *Олег*, *Ольга*, *Гълѣбъ*, *Улѣбъ*, *Дулѣбъ*. Ср. также *Пережир*, *Избор* и т. д.

Наиболее продуктивными и постоянно пополняющимися были в этой группе формы с отрицанием: др.-русск. *Нелюб*, *Немир*, *Немира*, *Немѣра*, *Нерад*, *Нерада*, *Невѣр*, *Невидим*. Ср. выше *Несъда*. В западнославянских языках этот тип также был очень жизнеспособным: *Damir/Nedamir*, чеш. *Nedoma*, *Nedrah*, *Nechvala*, *Nerad*, *Nerat* и т. д. Продуктивность этого типа имеет индоевропейское происхождение и основана на демонологических верованиях примитивных народов. Отсюда слав. *Нерат* вместо *Ратибор*, отражающее намерение скрыть от злых духов истинные пожелания родителей ребенку.

3. Структура n o m e n + n o m e n включает в себя много подтипов. В славянских языках потенциальной продуктивностью обладали прежде всего все основы на *-o-*, остальные же, как например *-i-* > праслав. *-ь-*, рано утратили свои особенности и слились со вторичными глагольными основами на *i-*. Сюда могли принадлежать корневые местоимения (ср. корневые субстантивные санскр. *Go-bala* : *go-* «вол»), перекрещивающиеся с типом indeclinabile + nomen, где в функции indeclinabile выступает местоименный корень (ср. греч. πυ- λιμιάδας от πῦ-λιμος «что же за голод» или «голодомор», прус. *Ku-wayke*—ср. ст.-слав. *къ-то*). К этим образованиям можно отнести «загадочное» имя божества *Сва-рог*, которое также не нашло удовлетворительного объяснения (*Свар-огъ* как *tvar-ogъ*, *pirogъ*; суффикс *-ogъ* только для существительных неодушевленных). Местоименный корень *sva-* имеем в **sva-tъ* и серб. *sva-k*; польский диалектный *swāk* < *swoj-ak* — явление совсем другого порядка. Второй член *-rog* следует интерпретировать, отвлекаясь от более нового, иного значения *рог*, *narożny* и т. д. Ср. русск. *рогато* = *богато*. Здесь праи.-е. корень с чередованием *e/o*, *g'/g*, ср. от **rēg'-* «править, господствовать», лат. *rex*, кельт. *rix*, санскр. *raj-* «король, царь» (*sam-raj-* «царь наивысший»), нем. *ragen*, *regen* «господствовать». Таким образом *Сварог*—это наш владетель, государь. Известно, что в славянской демонологии это божество было доминирующим. В имени другого загадочного киевского божества *Ръгль* (ср. польск. *Rgielsko*, *Rgilew*) можно было бы предположить наличие этого же корня, только с апофоническим *ъ*?

а) О с н о в ы н а *-i-*: др.-русск. *Мьстьслав*, *Ратьмир*. Благодаря сохранению и точной передаче редуцированных в древнерусской антропонимии мы здесь имеем примеры исключительной ценности; в латинской буквенной передаче этот тип утрачен очень рано, тем более, что он был выверен по вербальному типу на *-i-* (возможно, в casus obliqui дат.-местн. пад. числа): польск. *Czcibor*, *Czcirad*, чеш. *Čstibor*, *Čstimir* (словен. то же); польск. *Mściwuj*, *Mścisław*, *Mścibor*, *Mścigniew* и т. д.; др.-русск. *Мьстибог*, *Мстислав*; чеш. **Lstibor*, *Lstimir*. Таким образом, вторичное *-i-* было принято и в древ-

[44] A. B r ü c k n e r, Wzory etymologii i krytyki źródłowej, «Slavia», III, стр. 211. Ср. другие этимологии в словаре Фасмера.

[45] J. R o z w a d o w s k i, Slavisches etymologisches Wörterbuch von Berneker, «Rocznik slawistyczny», II, 1909, стр. 87.

нерусских именах этого типа: *Ратибор*, *Ратислав*. Ср. польск. *Pęcisław*, сербохорв. *Putislav* : *pǫtь*. Некоторые формы могли также восходить к вербальным основам на *-i-*: *ратити* «воевать», *мьстити* «vindicare». Ср. *Гостомыслъ* < *Гостимыслъ*, византийский вождь *Татимѣр* (τατιμερ VI в. н. э.).

Утратились или перешли в другие типы формы от основы *sěmь* «персона» (ср. русск. *семья*); в латинской графике эта морфема идентифицировалась с *земля*; ср. польск. *Siemimysl*, *Siemisław*, *Siemidrog*, чеш. *Sěmibor*, **Sěmidrah*, **Sěmirad*, *Sěmitěch*, словен. *Semignev*, *Semimisl*, *Semigoj*.

В восточнославянской антропонимии этот компонент можно отметить в белорусском местном названии *Семурадцы*: *Sěmirad* > *Sěmorad* > *Sěmurad*. Возможно, не все древнейшие имена типа *Семен*, *Семьян* и т. д. христианского происхождения (ср. греч. Συμεών). Трудно допустить, чтобы столь характерное для русского языка слово *семь* полностью потерялось в ономастике. Не принадлежит ли сюда загадочная запись Нестора *Сем*?

б) Основы на *-o-* (от имен существительных и прилагательных): санскр. *Aśva-pati* «господин коней», греч. Ἱππο-δάμας «покоряющий, взнуздывающий коней», кельт. *Epomeduos* «восторгающийся конями». Это образование было очень активно во всех индоевропейских языках. См. вост.-слав. *Богодан*, *Богомил*, **Dědoslav*, *Миронѣг*, *Мирослав*, *Витомир*, **Vitoslav*, **Vytorad*: *vitъ* «dominus», *Войбор* < *Vojebor*, *Войслав*, **Stromil* < *Strojmil* < *Strojemil* : *strojь* «ordo», *Орогост* (?), *Рог(о)нѣдь* (?), *Роговолод*, *Святогор*, *Вой(и)гост*, *Жиромслав*, **Zitomir*.

Более частыми являются формы с именем прилагательным в первом члене: *Доброгост*, **Dobromil*, *Драгомир*, **Dorogobud*, **Dorogobyl*, **Dorogomil*, *Ярослав*, *Ярополк*, *Любогост*, *Любомир*, **Milogost*, *Остромир*, *Рад(о)бор*, *Рад(о)слав*, *Радогост*, *Радомысл*, **Radoněg*, *Святослав*, *Святополк*, *Святогор*, *Тихомир*, *Сѣрослав*. Не включаем сюда несомненно новые образования *Боголѣп*, *Богомаз* и т. д.

Б. Праиндоевропейские структурные схемы инновационного характера (двуступенчатые). 1. [Indeclinabile+корень]+nomen; ср. тип A2 indeclinabile+nomen и A1 корень +nomen; сюда относится, например, санскр. *Sam-dhi-mati* «связывающий мысль», *Su-dhā-kara* «вырабатывающий нектар». Славянские имена этого типа имеют точные структурные и семантико-лексические соответствия в индо-иранском. На это обратил уже внимание Я. Отрембский [46]: санскр. *Sam-dhā* = слав. *Sъ-dě-*, *Sam-bhū-* = *Sъ-by-* и т. д. Ср. польск. *Zdziesław*, др.-русск. *Сѣдслав*, чеш. *Sdeslav*, *Sdebor*, *Sdebud*, *Sdemil*, *Sdemysl* и т. д. Двуступенчатые структуры с первым членом indeclinabile + корень — *Sъ-dě-* (ср. прав.-е. **dhē-* «класть», ст.-слав. *дѣти*, литов. *dėti*, санскр. *dhā-*) — Ф. Миклошич [47] ошибочно понял как *sъd-/zd-* «compone re». За ним эту неструктурную интерпретацию повторил Т. Маретич [48]: *Zdeslav* < **sděslavъ* «confecit gloriam». В. Ташицкий [49] механически относит эти формы к именам с предлогом: *Z-bor*, *Z-dzie* + *sław*, *Zbysław*. Сюда же и *Niezdal* При таком грамматическом выделении первой частицы учитывается только характер структуры. Й. Свобода [50] видит в частице *Sъdě-* вербальный или адвербальный компонент *sъde-*. Следует, однако, отметить, что первоначально это была — как правильно отметил Т. Милевский [51] — структура [indeclinabile + корень-] + nomen. Все прочие объяснения разрывают очевидную связь с предшествующими индоевропейскими типами. Тождество с санскритом указывает на их архетипичное строение.

Сюда относятся др.-русск. *jьz-*, например, *Избыгнѣв*, *Изяслав*; ср. чеш. *Izbramir*, *Izbraslav*, *Izbyhněv*; *prě-*, например, *Перечслав*, чеш. *Přějaslav* > *Přáslav*, др.-болг. **Preslav*; *s-*, например *Сбыслав*, *Сбыслава* (женское имя), *Сдеслав*. По сравнению с западнославянской антропонимией это весьма незначительное собрание: ср. польск. *Ob-jęsław*, *Ot-jęsław*, чеш. *Otěslav*, польск. **Pojęgrod*, *Przedzieslaw*, словен. *Predeslav*; чеш. *Přibymir*, *Přibyrad*, *Přibyslav*, *Přibytěch* и т. д. Особо следует выделить славянские двуступенчатые формы [отрицание + корень]+nomen : польск. *Niedamir* (чеш. — то же), *Nieznawuj* и тип [отрицание + praepositio] + nomen: польск. *Nieprzebąd*, *Niezamysl*.

2. Nomen cas. obliq. + nomen: а) дат. пад. ед. числа: русск. *Богуслав*, *Богухвал*; б) местн. пад. ед. числа *Домажир*, *Домамѣр*, *Домаслав*, *Доманьѣг*, **Domagost*, *Домамир*. Это общеславянская формация, которую В. Ташицкий неправильно относит к именам с наречием (ст.-слав. *doma*): польск. *Domasuł*, *Domawuj*, *Domarad*, чеш. *Domabor*, *Domahost*, *Domamil*, *Domažir* и т. д. Ср. такие локативные формации в санскрите: *Divi-jāta* «рожденный в небе», греч. Πυρί-κλη «славный в огне».

---

[46] J. Otrębski, O najdawniejszych polskich imionach osobowych, Wilno, 1935, стр. 30—31.

[47] F. Miklosich, указ. соч., стр. 317.

[48] T. Maretić, указ. соч., стр. 134.

[49] W. Taszycki, указ. соч., стр. 36.

[50] J. Svoboda, указ. соч., стр. 84.

[51] T. Milewski, Ewolucja morfologiczna.., стр. 49; его же, «Onomastica», III, стр. 375—378.

3. Comparativus в первом члене: *-je-* < праи.-е. *-yos-* (др.-перс. *Vahyaz-dāta* «данный лучшими богами»), например, bolje- *Болеслав, Болеслава* (женское имя).

В других славянских языках, кроме *Boleslav* (болг., польск., чеш., словац., словен., сербохорв.), имеются многочисленные сложения с членом *bolje-* : польск. и чеш. *Bolebor, Boleczest, Bolemysł*, чеш. *Bolečaj, Bolehost, Bolemil, Bolemest*: *mьst-, Bolerad*, серб. *Boljebrat, Boljedrag, Boljedrug, Boljegrad, Boljemir, Boljenjega*; *uně*: (ср. *unijь, unějь* «melior»): **Uněněg*; ср. многочисленные польские и чешские имена, например, польск. *Uniedrog, Uniegost, Uniemir, Uniemysł, Uniewit, Uniežyr*, чеш. **Uněbud, Uněhost, Uněrad, Uněslav*, полабск. *Uněrad, Uněbor*; *vętje-* «plus»: *Вячеслав*, польск. *Więcesław*, чеш. *Vác(e)slav*, польск. и чеш. *Więcemił, Vácemil, Więcemir, Viecemir, Więcerad, Vácerád*, полаб. *Vęcedarg* (*Vincedargo*), сербохорв. *Većemir, Većedrag, Večenjeg*, др.-словен. *Wenzegoj*; *vyše-*: *Вышеслав, Вышеслава* (женское имя). Ср. польск., чеш., болг., сербохорв. *Vyšeslav*, польск. и чеш. *Vyšebor*, чеш. и словен. *Vyšegněv* (*Uisegneuo*), *Vyšemir*, словен. *Vyšegoj*, польск. *Wyszeniega*.

Нет древнерусских имен с такими первыми членами: *Pače-* (чеш. *Pačeslav*), *Jače-* (польск. *Jaczewoj*, чеш. *Jačemir*), *Dale-* (польск. *Dalebor, Delemir*), *Suli-* (польск. и чеш. *Sulisław*, польск. *Sulimir*, чеш. *Sulivoj*), *Draže-* (сербск. *Draželav, Draževit*).

4. Местоимение в первом члене: а) возвратное местоимение *se, sobě*: **Seslava*, ср. чеш. *Seslav*, польск. *Siesław, Sieslawa, Sieciech* (напрасно Ташицкий принимает *Sieciech* < *Wszeciech*); ср. продуктивность этого типа в чеш. *Sebor* (польск. **Siebor*), **Sebud, Sel'ub, Semysl, Setěch* и т. д.

Среди древнерусских антропонимов нет таких, как польск. *Sobiesław*, чеш. *Sobě rad* и т. д. В доказательство древности этого типа (ср. выше *Sva-rog* с местоименным корневым *sva-*) приводим авест.: Хᵛə-, Хᵛə̄-хšan «себе господствующий». В то же время в древне-русской антропонимии имеется реликтовый тип с *tě*: **Těmir* (ср. чеш. *Těrag, Těl'ul* — Й. Свобода неправильно поместил его среди более новых типов [52], а А. Профоус напрасно принимает даже *Tedražice* < *Tetědražice* [53]).

б) родовые местоимения *mojь, vьsь*: самыми распространенными в силу интенсивного, мелиоративного характера значения этого слова были образования с *vьs-* (ср. санскр. *Viśva-jit-* «побеждающий всех»): др.-русск. *Всеволод, Всеслав, Мойслав* (также чеш., словен., сербохорв.), польск. и чеш. *Mojmir*, чеш. **Mojžir*, словен. *Mojgoj*, словац. *Mojtěch*. Древнерусских сложений с местоимением *svojь*: нет чеш. *Svojboh, Svojslav, Svojžir*, польск. только производное *Swojsza*.

В. Праславянские инновации — структуры со вторичной вербальной основой + nomen (тип: *Bori-slav* от *bori-ti*). После длительной дискуссии о происхождении вербальных основ в первом члене [54] установилось мнение, что имена *Borislav, Chvalimir* являются результатом развития праи.-е. структуры с корнем в первом члене (типы А1, Б1): корневые *-a-*, *i* < *ei*, *ě* < *ē* отождествились с праславянской основой инфинитива — аориста: *Da-mir*: *da-ti*, *Zna-mir*: *zna-ti*, а потому *Chotěmir*: *chotě-ti*, *Borislav*: *bori-ti*. Каузативы были весьма продуктивны в общеславянской топономастике; они в изобилии представлены в восточнославянской антротопонимике.

1. Вербальная основа на *-i-*: *Борислав. Будислав*, **Budimir, Хвалибуд* (?), греч. χιλβούδιος (Прокопий VI в. н. э.) — византийский вождь, вероятно, славянского происхождения, из племени Антов — ср. польск. *Chwalibog, Chwalimir, Chwalisław*, сербохорв. *Hvalimir, Hvalislav*, чеш. *Chvaliboh*; *Gorodislav*: **Gord-iti* (семантически сходно с русск. *нагородить*, укр. *нагорода*), *Kaligost* (?)-греч. Καλαγάστος (из рода Антов), ср. *kaliti* «блестеть, светиться, закалять». Грецизированная запись Καλα- вместо Καλι- объясняется воздействием распространенных греческих имен с Καλα-Καλά-ῑυχος, Καλλι-τύχη. Сюда же следующие др.-русск. имена: *Молибог, Мутижир, Мьстислав, Ратибор, Ратислав: рати-ти, Родислав, Судимир, Судислав, Толигнѣв, Творимир, Воротислав, Voloslovlь* (?) < *Volod(i)slav*.

2 Вербальная основа на *-ě-* (иногда измененная по аналогии с продуктивным типом на *-i-*): **Chotěmysl* **Chotigost* < *Chotěgost, Держислав, Горѣслав, Горислав, Звенислава*: *zvьněti, Желислав*: *želěti, Жилислав*: *žilitь*.

3. Императив в первом члене. Дальнейшей эволюцией была идентификация основы инфинитива — аориста на *-i-* и императива с тем же окончанием. Таким путем возникали императивные образования: *Da-bog* > др.-русск. *Дажьбог* или *Даждьбог*, польск. *Dadzbog*. Ср. *Брячислав*: импер. праслав. **brěči*, русск. *бряцать*; *Станислав, Станимир*, импер. *stani*: *stati* (ср. архетип *sta bor*); ср. также праславянский

[52] J. Svoboda, указ. соч., стр. 97.

[53] A. Profous, Místní jména v Čechách, IV, Praha, 1957, стр. 317.

[54] H. Osthoff, Das Verbum in der Nominalkomposition, Jena, 1878; H. Jacobi, Compositum und Nebensatz, Bonn, 1897; J. Łoś, Wyrazy złożone, «Sprawozdania PAU», XI, 4, стр. 2—6; J. Otrębski, O najdawniejszych polskich (słowiańskich) imionach osobowych, Wilno, 1935; J. Kuryłowicz, [рец. на кн.:] J. Otrębski, Onajdawniejszych polskich imionach osobowych, «Rocznik slawistyczny», XIII, 1937, стр. 27—29.

инновационный императив тип: *Stoji-slav*>*Stoj-slav*, польск., чеш. *Stojgněv*, *Stojmir* > *Stomir*, словен. и сербохорв. *Stojdrag*, словен. *Stojgoj*. Этого типа нет в древнерусской антропонимике. Ср. еще др.-русск. *Володислав*, *Володимир* или *Владимѣр*: импер. *volodi* : *vlasti*; *Ждислав*: импер. *žьdi* : *žьdati*.

Г. Инновации отдельных славянских языков (характерные совпадения в отдельных языках вторичных компонентов). В восточнославянской антропонимии они значительно менее продуктивны, чем в других славянских языках, особенно в южнославянских.

1. Более новые номинальные типы на *-o-* (нередко лишь с трудом отделяемые от апеллятивных прозвищных сложений): *Воголѣп*, *Богомаг*, *Богонос*, *Богослов*, *Богуматка*, *Бѣлобород*, *Бѣлоус*, *Бѣлохвост*, *Орогост* (?), *Осмомысл*, *Остророг*, *Остроух*, *Твердоус*, *Твердохлѣб*, *Коромысл* (?), **Všedobr*. К прозвищным апеллятивным сложениям следует отнести: *Байборода*, *Бобоѣд*, *Гнилозуб*, *Головуб*, *Голоног*, *Дормолей*, *Кривоног*, *Малопей*, *Маломолка*, *Новожил*, *Новосад*, *Вислоухи* т. п. На их сравнительную молодость указывает также документация источников (XV в. и сл.). Не следует смешивать (как это делается во многих антропонимических работах) инновации-сложения, построенные на базе постоянно обновляемых именных структур (nomen + nomen), с явными отапеллятивными сложениями, т. е. «прозвищами». Одним из критериев распознавания именных новообразований нового типа является наличие старых компонентов в функции первого либо второго члена: *Bogo-*, *-rog* и т. п.

2. Вербальные новообразования на *-i-*: *Твердислов*; ср. польск. *Idzisław* : *Idzi* < лат. *Aegidius*, польск. *Grzymisława* : *Grzym* < лат. *Peregrinus*.

3. Префиксальные новообразования, построенные на базе indeclinabile + nomen: *Переѣѣт*, *Перехриста* (ср. выше продуктивные формации с *Пере-*: *Переяслав* и т. д.), *Предислов* (ср. формации с *Прѣд-*). Следует отметить, как и в группе Г1, образования от имен нарицательных: *Беззуб*.

4. Новообразования с гипокористическим первым членом. Только в южнославянской антропонимике, характеризующейся особой жизнестойкостью именных сложений, существуют отчетливые образования типа: *Rachosav* : *Ra-ch* < *Radoslav*, *Čachbor*, *Vujimil* : *Vujo* < *Vukomir* и т. д. На западнославянской и особенно восточнославянской почве реконструкции *Sandzemir*, *Cicemer* [55] и другие нельзя считать надежными. Скорее здесь имеет место графическая или, быть может, фонетическая субституция: слав. *Sędomir*, *Czcimir* и т. д. По этим же соображениям др.-русск. *Рахман* (ср. также патронимическое *Рахманинов*) будет происходить не от гипокор. *Ra-ch* + *man*: *mani-ti* (ср. *Lubman*, *Manislav*), но от прилаг. *рахманной*.

Итак, в восточнославянской группе двучленные новообразования немногочисленны. В этом ее отличие от прочих славянских языков, особенно сербохорватского — *Bajislav*, *Bjelimir*, *Cjeligoj*, *Tmivoj*, *Manislav*, польского — *Brodzisław*, *Kanimir* : *kaniti*, *Morzysław*: *moriti* и т. д. Вообще же мнение, будто южнославянские (сербохорватские) антропонимы лучше всего сохраняют древние праславянские композиты, неправильно. Эти архетипы весьма многочисленны в западной и отчасти в восточной антропонимии. Сербохорватская антропонимия под воздействием языковых факторов (свободное развитие исконных славянских имен, несмотря на появление христианских) сохранила сложения, но в основном инновационных типов. В местных названиях имена типа* *Veligost* (*Veligošt*),* *Onogost* (*Onogošt*) выступают здесь гораздо реже, нежели у западных и восточных славян.

Структурно-хронологическая стратиграфия славянских новообразований показывает, что в ономастических работах обычно статически, в одной плоскости сопоставляются имена типа: *Bromir* — *Kupimir* — *Slabomir*, *Suligost* — *Widogost* — *Milogost* — *Małogost* — *Siodłogost* [56]. Предложенный структурный диахронический анализ позволяет сделать следующие выводы:

1. Восточнославянские антропонимы нередко принадлежат к именным архетипам, не встречающимся где-либо другом месте: *Явид*, *Яволод*, *Сварог*, *Стрибог*, *Изслав*, *Изяслав*, **Zbyrad*, **Surad*, **Perežir*, **Dorogobyt* и т. д. Некоторые из этих архетипов подтверждаются античными источниками: *Межьмир*, *Хвалибуд*, *Калигост*, *Идар* (?). Сюда же следует отнести неправильно признаваемые нордическими формы *Олегъ*, *Ольга*, *Игорь*, *Гълѣбъ*, *Улѣбъ*, *Дулѣбъ*.

---

[55] D. Freydank, Ostseeslavische Vollnamen mit hypokoristischer Wurzel im ersten Glied, «Slavische Namenforschung. II Arbeitskonferenz der Internat. Onomastischen Kommision in Berlin. 17—20 X 1961», Berlin, 1963.

[56] M. Karaś, O staropolskich imionach dwuczłonowych zachowanych w nazwach miejscowych; P. Arumaa, указ. соч.

2. Можно заметить определенную связь у восточнославянских антропонимов с западнославянскими, более выразительную, чем с южнославянскими. Совпадает активность компонентов сложений *-slav*, *-gost*, *-mir*, *-mysl* при отсутствии сложений на *-goj*, типичных для южнославянских имен. Можно также обнаружить наличие идентичных именных лексем в древнерусском, древнепольском (или шире лехитском) и древнечешском, ср. *-vold*: др.-русск. *Яволод*, *Всеволод*, *Роговолод*[57]=чеш. *Rohovlad*. Этот компонент был характерен и для первой части сложений: *Володимир* и т. п.; ср. польск. *Inowłod*. Ср. также *-plъkъ*: др.-русск. *-полк* (*Ярополк*, *Святополк*), польск. *Przedpełk*, *Świętopełk*, чеш. *-pluk*: *Svatopluk*, *Načepluk*; *-gor*: *Изгор*, *Игорь*, *Святогор*, чеш. *L'utahoř*, *Vyšehoř*; *-byt*: **Dorogobyt*, чеш. *Radobyt*; *-vid*, например, *Zavid*, **Chotěvid*; *-žir*: **Perežir*, чеш. *Nedažir* и т. д. (и в качестве первого члена: *Жирослав*). Характерен компонент *-ję-* (*Изяслав*, *Переяслав* — польск. *Otjęsław*), компонент *mьst-* очень продуктивен в обеих языковых группах: *Mьstislav*, *Mьstibog*, производные др.-русск. *Местиловъ*, польск. *Mieszko*, *Mieszek*, польск. *Dobromiest*, чеш. *Bolemest*. Ср. также архетип *Nesъda* (чеш., польск., др.-русск.). Существуют и другие идентичные древнерусские, лехитские, древнечешские имена: *Braslav*, *Dažbog* — *Dadzbog*, *Izbygněv* (др.-чеш. *Izbyhněv*), польск. *Zbygniew*, *Chotěgost*, *Chotěmysl*, *Všeslav*, *Sděslav*, *Tvorimir*, *Želislav*.

3. Структурный анализ древнерусских антропонимов имеет значение и для выводов по этногенезу племени Антов (ср. *Межьмир*, *dj* > *ž* или *dž*=греч. ζ). Это восточнославянское племя стояло на высоком уровне организации, о чем свидетельствует хотя бы то, что его вождь Боз был назван *rex*. Вероятно, выходцами из этого племени были некоторые византийские вожди, носящие славянские имена *Chvalibud*, *Tatiměr*. К этому племени принадлежали и вожди *Dobrogost*, *Idar*, *Kaligost*, *Mežmir*. Это способствовало сохранению стольких именных архетипов, не известных в других славянских языках.

4. Интерпретация наиболее ранних древнерусских династических имен *Олегъ*, *Ольга*, *Игорь*, *Гълѣбъ* проливает свет на генезис государства Древней Руси. Slavo-nordica следует ограничить в соответствии с точным лингвистическим анализом надлежащими рамками.

Для общей славянской антропонимии в области двучленных форм значение структурного анализа — в раскрытии морфономастической симметрии или асимметрии как формальной, так и семантической. По этой асимметрии можно узнать вторичные, более поздние сложения типа др.-русск. *Даньслав*: *Данил*, польск. *Idzisław*, *Imisław*, *Grzymisław*.

II. Вторичные типы. К этой категории производных имен будут принадлежать как образованные от сложных имен гипокористики и уменьшительные образования, так и разнообразные суффиксальные производные от апеллятивных имен. Здесь мы кратко проанализируем гипокористики и деминутивы от двучленных имен, поскольку обычно они должным образом не разграничиваются, т. е. не выделяются гипокористические формы типа *Ra-ch*, *Rad* в качестве первичных и основных и производные с деминутивными суффиксами *-ьkъ*, *-ko*, *-iš*, *-oš* и т. д. При этом затушевывается антропонимическая эволюция, поскольку формы *Rasz*, *Radosz*, *Radzik* и т. д. приводятся статически в одном ряду и даже считается, что гипокористики могут восходить к одночленным отапеллятивным именам: *Gasz* от *Gajek* (?), *Kusz* от *Kuna* (?)[58] или *Kur* и т. п.

[57] T. Milewski, Polskie imiona złożone..., стр. 106.
[58] W. Taszycki, указ. соч., стр. 48.

Экспрессивная функция имени, каждодневно употребляемого, вызывает дезинтеграцию типа детск. польск. *placek* > *pla-pla*. Согласно этому принципу основным типом гипокористической структуры стало образование: первый открытый слог, полученный из первого (иногда и второго) члена + гипокористический формант *-š*, *-s'*, *-ch*, *-j*, *-l* (эти форманты имеют преимущественно палатальную огласовку). На этот дезинтеграционный характер именного сокращения в разных языках обратил внимание Е. Курилович, который привел формы типа англ. *Joe — Joseph*, англ. и франц. *Lou — Louis*, нем. *Eb — Eberhart* и т. д.[59]. Типы этих сокращений неодинаковы. И. Добровский[60], затем Ф. Старк[61] и А. Фик[62] лишь приблизительно установили основной процесс сокращения. Его причины, характер, типы еще ждут подробного изучения[63].

А. Первый открытый слог + формант: а) С формантом *-ch* : *Вых*, ср. сложение с другим членом *-byt*, например, *Dorogobyt*, чеш. *Radobyt*, **Chotěbyt*; *Мох* 1622 г.— *Mojslav*; *Pax — Radoslav, Radogost*; *Pox — Rostislav* или *Rodislav*; *Свох* — ср. многочисленные чеш. сложения с *Svoj-*: **Svojslav* и т. д. Можно также восстановить несколько таких гипокористиков из местных названий, образованных от личных имен: *Bichovoje, Rachov, Byšev, Gošov, Bešev, Maševo, Raškov*[64].

По сравнению с многочисленными западнославянскими гипокористиками данного типа на *-ch*, *-š* восточнославянские примеры немногочисленны: польск. и чеш. (а также лехитское и лужицкое) *Stach, Sbych, Vach* и т. д.

б) С формантом *-š* (*a*): *Боша; Буша*. На западнославянской почве почти для каждого сложного имени существует гипокористическая формация: *Boš, Goš, Stoš, Toš, Vaš* и т. д. В восточнославянской же антропонимии развились лишь новейшие ласкательные формы, образованные от христианских имен по образцу утраченных исконных.

Б. Первый слог закрытый: *Bud, Mir* (?), *Stań, Vlad, Lub, Sěm* (?), укр. *Sim*. Этих примеров немного, число их после более тщательных исследований должно увеличиться, но все же их много меньше, чем западнославянских. Не удалось выявить формы на *-j* (*Ra-j*), *-l* (*Ra-l, Bra-l*) и др.[65].

В. Двуступенчатые гипокористики: а) с формантом *-k*, *-ko*: *Vaško, Maško, Raško, Roško*. Имена этого типа базируются на более ранних одноступенчатых: *Vo-š* > *Vo-š-ьko* и т. д.; б) с формантом *-jь*: распространенный западнославянский тип: польск. *Budz*, чеш. *Buz*, польск. *Radz*[66] и т. д. Можно было бы считать таким типом *Bož* < **Bod-jь* (у Иордана *Boz, Booz*); в) *-ata* праслав. *-ęta* : *Вышата, Гостята* и т. д. (частый в Новгороде); г) *-ota*: *Ходота*.

Опускаем здесь другие суффиксы, которые лучше всего выделяются в фамилиях.

К вторичным именам следует отнести старые причастные типы, преимущественно на *-mъ* (*-imъ*, *-omъ*). Эти очень древние названия часто встречаются на территории западнославянских языков: польск. *Chwalim, Radom, Stradom, Strzegom — Střegom* (Паннония). Из восточнославянских местных названий можно отметить несколько имен: *Бегом* (*Бегомль*), *Хотим* (*Хотимль*); ср. еще **Nevidim*. Неправильно считать эти партиципиальные имена сокращением сложных, т. е. *Budimir* > *Budim*, *Myślimir* > *Myślim*[67]. Они, по крайней мере первичные их типы, представляют собой следующие образования: *Budim*: *buditi* (ср. part. praes. passivi *budimъ*). Глаголы, относящиеся к спряжению *-o-/-e-*, образовывали participium на *omъ*: *rekomъ* и т. п. Отсюда *Stradom*: *stradati*. Абстрагированный суффикс *-om* прибавлялся к именам типа *Radom*, но *Radim*.

Среди причастных образований выделяются два вида:

---

[59] J. Kuryłowicz, La position linguistique du nom propre.

[60] Ср.: J. Svoboda, Dobrovského studium vlastních jmen, «Sborník Josef Dobrovský, 1753—1953», Praha, 1953.

[61] Fr. Stark, Die Kosenamen der Germanen, Wien, 1866.

[62] A. Fick, Die griechischen Personennamen...

[63] S. Rospond, Hipocoristica imienne typu *Ra-sz*, *Ra-ch* itp.

[64] Материал взят из подготовленной под нашим руководством диссертации К. Холубовича «Wschodniosłowiańskie nazwy miejscowe z przyr. *-ov-*, *-in-*».

[65] P. Smoczyński, Słowiańskie imiona pospolite i własne z podstawowym *-ch* w części sufiksalnej, Łódź, 1963.

[66] W. Taszycki, Ze studiów nad polskim imiennictwem osobowym, V — Imiona skrócone typu *Budz*, *Radz*, JP, XXIII, 1938.

[67] W. Taszycki, указ. соч., стр. 46—47; J. Svoboda, указ. соч., стр. 47—48; А. Селищев, указ. соч., стр. 145; М. Долобко, Славянский суффикс *-im*, «Сборник статей в честь А. И. Соболевского», Л., 1928.

1. *-im, -om*: **Begom*, **Ljubom, Ljubim*, **Chotim, Putim* (может быть, сюда же *Путивль* < *Putiml* под влиянием часто употребляемых названий на *-славль*).
2. *-пъ-*: *Неждана*, ср. польск. *Poznan, Stojan* и т. д. И этот тип причастных имен не был продуктивен у восточнославянских имен. Однако первичные типы этого вида были и здесь, если судить по названиям городов и по сложениям: *Богодан/Богдан, Войдан.*

III. Первичные имена.

Имена этого типа, будучи непроизводными, обычно делились на семантические группы, но специального интереса не возбуждали. Это также праи.-е. и праслав. тип, однако ввиду своего «прозвищного» (пейоративного) характера эти имена для элитарных слоев перестали применяться, явно оставаясь принадлежностью низших слоев. Их необходимо тщательно изучить, так как до сих пор славянская антропонимия продолжает вращаться в кругу домыслов и догадок, является ли *Mil, Jar* сокращением соответствующего сложения *Miloslav, Jaroslav* или же это нарицательное определение *milъ, jarъ*. Более подробные сравнительные исследования могут пролить свет на отношение: сложения, их сокращения и нарицательные имена.

Самым древним восточнославянским именем первичного, адъективного типа было *Бос* VI в. н. э. Во всех славянских языках существуют многочисленные производные: *Bosak, Bosek, Bosik* и т. д. Вторым именем этого же типа было бы имя старейшины древлян *Мал*. Этот тип имен с успехом конкурировал с христианскими, становясь обычным народным определением: *Береза, Блоха, Гай, Гвоздь, Гоголь, Горох, Гусь, Капуста, Коб, Кобыла, Коваль, Кот, Ковел, Комар, Зуб, Жук*. Они типичны для новгородских грамот на бересте (с производными суффиксальными): *Заяц, Зуйка* и т. д.

Об их продуктивности в древнейшем польском слое мы узнаем из Буллы 1136 г.: *Gęba, Rus* и т. д. Э. Пульграм верно подчеркнул их праиндоевропейскую принадлежность, однако он неправильно считал сложения более поздними [68]. Обе группы — пожелательные двучленные и «прозвищные» первичные — первоначально были широко распространены, со временем же они социально и стилистически дифференцировались. От обеих групп позднее образовывались производные гипокористические и деминутивные образования.

Общие выводы, которые можно сделать на основании анализа структурной классификации восточнославянских имен, следующие: 1) необходимо применять структурный, собственно лингвистический метод для стратиграфии и диахронического изучения ономастики; 2) личные имена подвергаются быстрой модернизации (христианизации). Географические же и территориальные названия более архаичны, поэтому так важно исследовать имена, реконструированные из местных названий; 3) социальный характер имени зависел от его структуры: первичные (peiorativa) были «народными», сложения (meliorativa) «благородными», нередко они рассматривались как своего рода династическое табу. Среди древнейших славянских династических имен выступают только они: серб. *Višeslav* 780 г., *Radoslav* 800 г., *Prosigoj* 835 г., хорв. *Trpimir* 845 г., *Zdeslav* 878 г., *Mutimir* 829 г., чеш. *Bořivoj* 894 г., *Vratislav* 921 г., польск. *Siemomysł* 963 г., *Czcibor, Bcleslav* и т. д.

Упорядочение древнейшего славянского именного слоя очень важно для решения лингвистических и внелингвистических задач. Отсутствие тщательного структурного анализа затрудняет ориентацию в том, какие имена являются славянскими, а какие заимствованными или же переделанными летописцами.

Перевела с польского *Т. С. Тихомирова*

[68] E. Pulgram, указ. соч.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1965

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. И. АБАЕВ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ МОДЕРНИЗМ КАК ДЕГУМАНИЗАЦИЯ НАУКИ О ЯЗЫКЕ *

Взгляд на прошлое

История советского языкознания ждет правдивого и беспристрастного освещения[1]. Если мы не осмыслим правильно наше прошлое, то нам трудно будет разобраться в настоящем и наметить ясную перспективу на будущее.

В истории нашей науки легко различить три периода: 1) с 20-х годов до дискуссии 50-го года; 2) от дискуссии 50-го года до ликвидации культа Сталина; 3) новейший период.

В чем специфика каждого из этих периодов?

Как бы ни оценивать первый, марровский, период, несомненно одно: он был порождением нашей революционной действительности. «Новое учение» Марра было попыткой, пусть несовершенной и неудачной, ответить в своей области на запросы эпохи. Оно вдохновлялось правильной в своей основе идеей: революционная страна должна иметь революционную общественную науку. Резкая антирасистская направленность, величайшее внимание не только к крупным и культурным, но и к мелким и мельчайшим, бесписьменным и неизученным языкам, всяческое содействие их разработке и включению в общий поток советской культурной жизни—все это полностью отвечало мировоззрению революции и немало способствовало популярности «нового учения». «Новое учение» не существовало бы, если бы его создатель не был захвачен порывом революции. Боевой дух и пафос преобразования советской эпохи пронизывают деятельность Марра с первых дней революции. Им двигало убеждение, что новая общественность, которая создается в России, требует влить новое содержание во все общественные науки, в том числе и языкознание. Этому делу он и отдался со всей присущей ему энергией и темпераментом.

---

* От редакции. Полемическая статья В. И. Абаева посвящена не только лингвистическим вопросам (критике современного «модернизма», связанной с историей советской лингвистической науки, включая и критику журнала «Вопросы языкознания»), но и вопросам, выходящим за пределы языкознания. С постановкой и решением некоторых вопросов редколлегия не может согласиться Редколлегия, однако, не сочла возможным сократить «внелингвистические» разделы статьи В. И. Абаева, так как это могло нанести ущерб целостности изложения взглядов автора. Публикуемые одновременно также в дискуссионном порядке статьи И. И. Ревзина и Ю. В. Рождественского не являются ответом редколлегии на статью В. И. Абаева, а выражают взгляды их авторов на общую проблему соотношения различных научных методов и приемов в современной лингвистике.

[1] Говоря о советском языкознании, мы имеем в виду здесь и в дальнейшем теоретическое языкознание.

К сожалению, реализация правильных в основе идей оказалась крайне неудовлетворительной. Сказался недостаток философской подготовки, а также отсутствие настоящей лингвистической школы (Марр был больше филолог, чем лингвист). В результате — упрощенное, вульгарно-социологическое истолкование сложных явлений и процессов языкового развития. Такие положения, как надстроечность и классовость языка, единство глоттогонического процесса, теория стадиального развития, носили декларативный характер и не получали серьезного обоснования.

Не говорю уже о той позорной стороне «марристского» периода, который связан с недопустимыми в науке методами организационного и административного насаждения «апробированных» идей и подавления инакомыслящих. Этот позор, увы, повторился — mutatis mutandis — и в последующий, «сталинский» период.

Дискуссия 1950 года вскрыла вульгарно-материалистические ошибки Марра, а вмешательство Сталина положило конец монополистическим претензиям «марристов». Это было хорошо. Плохо было то, что, как показали последующие годы, противники Марра не имели сами никакой единой и цельной лингвистической концепции, которая могла бы стать основой советского теоретического языкознания. Тех, кто верил: «наконец-то советское языкознание обретет свое настоящее лицо», ждало разочарование. Советское языкознание не обрело настоящего лица. В первое время после дискуссии содержание теоретических статей по языкознанию сводилось по преимуществу к цитированию и комментированию на разные лады работы Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Некоторые отдавались этому занятию с каким-то упоением, с какой-то самозабвенной графоманией. По сути дела это означало не движение вперед, а новый застой теоретической мысли. В суждениях Сталина было много правильного, но это правильное шло не из каких-то глубин марксистской теории[2], а из элементарного здравого смысла[3]. Здравый смысл бывает, конечно, полезен, когда нужно разобраться в простейших ситуациях. Но для решения больших теоретических проблем одного здравого смысла недостаточно, здесь нужно прежде всего глубокое знание предмета, о котором судишь. Таким знанием, Сталин, естественно, не обладал. Вот почему даже такие, казалось бы, бесспорные положения, как «язык не есть надстройка», «язык не является классовым», при столкновении со всей сложностью и противоречивостью языковой действительности отдают таким же упрощенчеством и прямолинейностью, как и их антиподы. Суждения Сталина не учитывают многоаспектности языка и потому насквозь недиалектичны.

Было бы, конечно, неверно сводить историю советского языкознания к уродствам сперва марровского, потом сталинского периода. Мне уже приходилось отмечать[4], что были некоторые устойчивые идеи, которые разделялись большинством советских языковедов независимо от Марра и Сталина. Это — взгляды на языкознание как на общественную науку, тесно связанную с другими общественными науками; идея о том, что развитие языка неотделимо от развития общества; признание историзма как важнейшего метода познания языковых явлений. К сожалению и эти здравые идеи не получили свободного изложения и обоснования, так как должны были приспособляться к «установкам» то марровского, то

[2] Характерно, что Сталин даже не вспомнил про замечательные высказывания Маркса и Энгельса о языке в «Немецкой идеологии».

[3] Напомню хотя бы его рассуждение. «Со времени смерти Пушкина прошло свыше ста лет» и т. д.

[4] В сборнике «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков», М., 1960, стр. 59.

сталинского периода. Мыслить же без «установок» мы в значительной мере отвыкли. Поэтому, когда с ликвидацией культа Сталина разработка «сталинского учения о языке» стала беспредметной, в советском теоретическом языкознании явственно обозначились пустота, вакуум. Вместе с тем расширение международных культурных связей и обмена идей (факт сам по себе в высшей степени положительный) способствовало тому, что в этот вакуум устремились модные зарубежные теории, которые мы объединяем под названием лингвистического модернизма.

Что такое модернизм?

Модернизм, как известно, не связан специально с языкознанием. Он охватывает все области культуры, начиная от модной философии и кончая модными танцами. Слово «модернизм» этимологически связано со словом «мода», и на этот раз (что не всегда бывает) этимология попадает в точку. Когда общество вступает в полосу духовного кризиса, оно начинает судорожно хвататься за все н о в о е. Но так как это делается в условиях идейной опустошенности и оскудения, то поиски нового идут преимущественно по линии ф о р м ы, формальных средств, формальных приемов, формальных ухищрений, формальных вывертов. Содержание же, если оно вообще существует, остается крайне убогим и примитивным. Вот это и есть модернизм.

Естественно, в разных областях модернизм принимает разный облик, и не сразу можно уловить связь между, скажем, модернистской философией и модернистской архитектурой, музыкой или живописью. В действительности такая связь всегда существует, поскольку всякий модернизм всегда ф о р м а л и с т и ч е н. Он ловит человеческие души на приманку новизны внешней, иллюзорной, формальной. Глубины содержания в модернизме не ищите. Вы не гарантированы от того, что то́, что казалось заманчиво новым, окажется на деле давно отжившей ветошью, лишь облаченной в новые одежды.

Модернизм не является характерной особенностью только современной культуры. Он периодически возникает в истории в эпохи духовного кризиса и распада. Вспомним хотя бы судорожные поиски новых богов и новых культов в позднеантичном обществе, причем в роли этих «новых» богов оказывались такие престарелые восточные божества, как Митра.

Разумеется, в каждую новую эпоху модернизм выступает в новом идейном облачении, характерном именно для этой эпохи. Характерной чертой нового модернизма является открытый или завуалированный а н т и г у м а н и з м, охотно облекаемый в форму стандартных восторгов по поводу успехов техники, физики, математики: «В наш атомный (электронный, ракетный, космический) век...» и т. д. Мания абстрактных, формалистических схем и построений, в которых нет места для живой и трепетной человеческой души — вот самый общий признак современного модернизма в литературе, искусстве и науке[5].

Модернизм — явление закономерное и неизбежное на закате всякого общества: рабовладельческого, феодального, буржуазного. В ритме исторического процесса он занимает прочное и постоянное место: на нисходящей кривой общественного развития.

---

[5] Один из теоретиков «нового» романа французский писатель Ален Роб-Грийе призывает к полному изгнанию человека из художественной ткани романа. Мир, по его мнению, надлежит изображать как мир мертвых «вещей в себе». Кто хочет знать, как выглядит дегуманизованное искусство, тому достаточно посмотреть абстракционистские картины и послушать додекафоническую музыку.

Развитие человеческой культуры можно себе представить в виде генеральной магистрали, от которой время от времени отходят модернистские ответвления. Эти ответвления никуда не ведут, они неизменно кончаются тупиками: новаторство форм при убожестве содержания оказывается пустышкой, блефом, лженоваторством. О таком «новаторстве» хорошо сказал Поль Валери: новаторство — это то, что всего быстрее устаревает.

О модернизме говорят обычно в применении к искусству. Но это понятие и все связанные с ним характеристики применимы целиком и к общественным наукам. Элементарной истиной является то, что в общественных науках (в отличие от физико-математических и технических) нет и не может быть непрерывного поступательного движения, при котором каждое новое направление знаменует шаг вперед по сравнению с предшествующим.

Первым условием правильной оценки продуктов духовной культуры является отказ от л и н е й н о г о представления процесса развития этой культуры. Здесь можно говорить скорее о спиральном движении, при котором периоды подъема и расцвета сменяются периодами деградации и вырождения. В этом отношении развитие общественных наук идет не параллельно развитию физико-математических наук, а параллельно развитию философии, литературы и искусства. Иначе оно и не может быть: ведь общественным наукам в высшей степени свойствен н а д с т р о е ч н ы й характер, так же как философии, литературе и искусству. Поэтому во всех этих областях чутко отражается ритм общественного развития, периоды подъема и периоды упадка.

Если в технике нельзя себе представить, чтобы с автомобиля пересели снова на телегу, то в духовной культуре, в философии, в общественных науках это вполне возможно, т. е. возможен возврат от передовых, прогрессивных, богатых содержанием идей и концепций к отжившим, убогим и бесплодным.

Говоря о новейших достижениях в области точных наук мы с полным правом называем их «последним словом науки» или «техники». К общественным наукам такой подход: «новейшее — значит лучшее» совершенно неприменим. Умозаключение post hoc, ergo super hoc в применении к общественным наукам представляет ошибку более грубую и непростительную, чем post hoc, ergo propter hoc в логике[6]. Нет никаких объективных оснований ставить философию Хейдеггера выше философии Гегеля, историческую концепцию Шпенглера и Тойнби выше исторической концепции Маркса, лингвистические идеи Соссюра выше лингвистических идей В. Гумбольдта.

Дать оценку тому или иному направлению в общественных науках, это значит прежде всего — уяснить, отвечает ли это направление восходящей или нисходящей кривой развития духовной культуры в целом, философии, общественных наук, литературы, искусства. Все эти области, в которых находит выражение общественная идеология, в каждом обществе, в каждую эпоху тесно между собой связаны и образуют один комплекс, который мы будем называть г у м а н и т а р н ы м с е к т о р о м. Кто хочет подойти к оценке состояния какой-либо гуманитарной науки, в том числе языкознания, серьезно, объективно и глубоко, тот ни в коем случае не должен вырывать эту науку из «контекста» всего гуманитарного сектора и рассматривать ее изолированно. Любое направление в одной общественной науке следует рассматривать в неразрывной связи

[6] «Die Begriffe „alt" und „neu" haben mit den Begriffen „falsch" und „richtig" nicht das mindeste zu schaffen» (W. R a u в «Orientalistische Literaturzeitung», 1—2, 1962, стр. 72).

с синхронными направлениями в других общественных науках, в философии, литературе, искусстве, а также в свете общих закономерностей развития всего гуманитарного сектора.

Чем живет гуманитарный сектор?

Гуманитарный сектор живет одной жизнью. Эта истина не всеми признается. Мне случается вести горячие споры с некоторыми товарищами, которые недоумевают, какая может быть связь между направлениями, скажем, в живописи и музыке и направлениями в философской, исторической или лингвистической науке. А между тем именно советские люди, лучше чем кто-либо, могли познать на своем опыте, что значит единство гуманитарного сектора. Вспомним период так называемого культа личности. Что тогда происходило? Чем занимались многие представители гуманитарного сектора? Философы производили глубокие изыскания о несуществующем вкладе Сталина в философию и называли его «корифеем науки». Историки превозносили сверх всякой меры исторические заслуги Сталина. Лингвисты начинали любую статью на любую тему дифирамбами по адресу Сталина. И в это же время поэты и писатели вносили свою посильную лепту в прославление Сталина. Кинорежиссеры посвящали ему бездарно-помпезные фильмы, живописцы — бездарно-помпезные картины; скульпторы понаставили по всей стране множество однообразно «величественных» монументов Сталину; композиторы сочиняли кантаты о Сталине; фольклористы под видом народных песен о Сталине распространяли собственную стряпню и т. д. и т. п.

Короче — весь гуманитарный сектор, т. е. общественные науки, плюс литература, плюс искусство, в лице их отдельных представителей, выступал единым фронтом, под знаком культа личности.

То, что мы могли наблюдать у себя в недавнем прошлом, повторяется — разумеется не в такой грубой, примитивной, карикатурной форме — во все исторические эпохи: весь гуманитарный сектор, сознают это его деятели или нет, бывает пронизан одним духом, господствующим духом данной эпохи и данного общества[7]. Своеобразие античного мироощущения мы распознаем в «Илиаде» и «Одиссее», в творениях Фидия и Праксителя, в трагедиях Софокла и в диалогах Платона. Как нечто единое и цельное встает перед нами и гуманитарный мир средневековья, начиная от «Summa theologiae» Фомы Аквинского и кончая архитектурой Собора Парижской богоматери.

Как ни усложнилась картина идеологической жизни общества в новое время, все же и здесь мы видим, как некоторые господствующие течения накладывают отпечаток на самые различные сферы гуманитарной области.

Такие направления, как романтизм и реализм, характеризовали не только литературу и искусство, но и общественные науки. Романтизм братьев Шлегелей, братьев Гриммов, В. Гумбольдта был сродни романтизму Шиллера и Гёте, Бетховена и Шуберта; так же как философский материализм Маркса был сродни реализму Бальзака и Стендаля.

Современный модернизм представляет такое же общее для всех гуманитарных областей явление, как романтизм или реализм[8]. Вот почему лингвистический модернизм нельзя рассматривать как что-то изолированное. Он примыкает, с одной стороны, к модернистской философии и социологии, с другой — к модернистскому искусству и литературе.

[7] Это не означает, конечно, полного единообразия. Речь идет о преобладающих, наиболее типичных и характерных тенденциях и веяниях, отражающих мировоззрение и вкусы тех социальных групп и классов, которые задают тон в данном обществе.

[8] В некоторых случаях это вполне очевидно. Так, одно из модернистских направ-

Младограмматизм и структурализм

Как мы уже говорили, ф о р м а л и з м является важнейшим опознавательным признаком модернизма в любой области.

Следует сразу же оговориться, что термин «формализм» сам по себе не заключает ничего порочащего. Формализм, как преимущественный интерес к формальной стороне явления, ни в какой мере не является одиозным: форма заслуживает такого же пристального внимания и изучения, как и содержание. Формализм становится неприемлемым, когда он выступает как и д е о л о г и я, т. е. когда он пытается выдать форму явлений за их сущность или проповедует непознаваемость сущности (субстанции). Именно эта черта и определяет и объединяет разнообразные направления модернизма. Такие, казалось бы, очень различные философские течения, как неопозитивизм, прагматизм, феноменологизм (гуссерлианство), экзистенциализм, на деле совсем не так далеки друг от друга. Все они, так или иначе, открыто или завуалированно, проповедуют непознаваемость объективной действительности.

Здесь и в дальнейшем мы будем говорить о формализме именно в таком смысле; не как о методе или приеме в науке и искусстве, а как об идеологии.

Формализация языкознания отчетливо наметилась еще в конце прошлого столетия в младограмматической школе. Выразилось это в постепенном отходе от широких обобщений первого периода сравнительно-исторического языкознания, отходе от того, что можно назвать гумбольдтовской проблематикой, в сосредоточении внимания на формальной стороне языка, в фетишизации «звуковых законов» и т. п.

Историзм основоположников сравнительного языкознания выступает у младограмматиков в выхолощенном виде. В. Гумбольдт и Я. Гримм говорили о неразрывной связи истории языка с историей и культурой народа. Младограмматики фактически игнорируют эту связь. «Они, например, не видят никакой связи между развитием французского языка и историей французского народа, его борьбой, религией, литературой, его обычаями и жизнью. Ничего не связывает их с французским народом, французской историей, французским мировоззрением. Младограмматическая лингвистика — это лингвистика в абстракции, в пустоте» (Дж. Бонфанте). Такая характеристика с еще большим правом применима к структурализму.

Структурализм подхватил и развил эти абстракционистские и формалистические тенденции младограмматизма. Структурализм — детище младограмматической школы. Гораздо в большей степени, чем младограмматизм, структурализм — л и н г в и с т и к а в п у с т о т е[9]. Ф. де Соссюр не мог выйти ни из Гумбольдта, ни из Шухардта. Он мог родиться только в недрах младограмматической школы[10]. Согласно ходячему мнению, структурализм и младограмматизм — антиподы: атомистическому подходу к языку у младограмматиков Соссюр противопоставил системный подход. Такая оценка взаимоотношений младограмматизма и струк-

---

лений, экзистенциализм, характеризует в равной мере философию и литературу. В других случаях связь не такая явная, но она всегда существует.

[9] Пустота — это то слово, которое наиболее адекватно характеризует не только модернистскую лингвистику, но весь вообще модернистический мир. Один из последних номеров французского журнала «Table ronde», посвященный обзору современной культуры, так и озаглавлен: «Цивилизация пустоты».

[10] Известно, что Соссюр и фактически был учеником А. Лескина, Г. Остгофа и К. Бругмана.

туралиэма скользит по поверхности. Между атомистическим формализмом и формализмом системным нет никакой пропасти. Пропасть лежит между формальным и неформальным изучением языка. Подчеркивая и выпячивая второстепенный водораздел между младограмматизмом и структурализмом, можно «не заметить» основной водораздел между языкознанием как общественной наукой и языкознанием, которое перестает быть общественной наукой. Не заметить того, что тенденция к изоляции языкознания от гуманитарного круга ясно определилась еще во время расцвета младограмматической школы.

Что язык есть система, а не механическая сумма разрозненных элементов, было очевидно еще для В. Гумбольдта. Гумбольдт ясно видел «взаимозависимые связи» в языке. Он протестовал против того, чтобы «разбивать язык на куски и по этим обломкам описывать». «Язык — утверждал он — это организм и как организм он должен изучаться в своей внутренней связи». Лишь по первому впечатлению «язык представляет бесчисленное множество частностей... Надобно отыскать общий источник всех частностей, соединить все разрозненные части в одно органическое целое».

Взгляд на язык как на систему настолько ясно выражен у Гумбольдта, что если бы для Соссюра *это было главное*, он прямо и назвал бы себя продолжателем Гумбольдта. Между тем Соссюр, судя по его «Курсу», не чувствует никакой преемственной связи с Гумбольдтом. И он совершенно прав. Никакой связи и нет. Соссюр продолжает не Гумбольдта, а то антигумбольдтовское формалистическое направление, которое определилось в младограмматической школе.

Специфическим для соссюрианства является не учение о языке, как о структуре, а: 1) взгляд на язык как на замкнутую систему знаковой техники, не связанную с объективной действительностью; 2) признание реального значения только за чистыми отношениями, независимо от характера и значения соотносимых величин; 3) разрыв между синхронией и диахронией, т. е. отказ от исторической точки зрения, явившейся величайшим завоеванием науки первой половины XIX в.

В структурализме, как и в любом научном направлении, надо различать внешнюю, декларативную сторону и внутреннюю, мировоззренческую сущность. Ошибка некоторых наших языковедов состояла в том, что они приняли видимость за суть. Они не распознали, что сущность структурализма — не в системном рассмотрении языка, а *в дегуманизации языкознания* путем его предельной формализации. Не заметили и того, что дегуманизация языкознания — лишь одно звено в общем процессе дегуманизации культуры. Какую бы гуманитарную область мы ни взяли, везде наблюдаются одни и те же тенденции формализма и антигуманизма: в философии, социологии, истории, литературоведении. В формалистических вывертах дегуманизуются и вырождаются музыка, живопись, скульптура, художественная литература. Именно в этом состоит, как мы отмечали, самая общая и самая характерная черта современного модернизма.

Соссюр не делает никакой тайны из того, что в понимании сущности языка он выступает как принципиальный и последовательный формалист (имея в виду формализм как идеологию, а не как интерес к форме). «Язык есть форма, а не субстанция»,— говорит Соссюр. При этом остается неясным, формой какой субстанции является язык и какая наука должна изучать ту субстанцию, чьей формой является язык.

Элементы языка, по Соссюру, существуют не сами по себе, а лишь через те формальные отношения, которые между ними устанавливаются. Эти отношения, в свою очередь, не соответствуют ничему в объективной

действительности, они определяются целиком внутриязыковой формально-реляционной системой.

Идеи Соссюра о языке как системе «чистых отношений» получили дальнейшее развитие и логическое завершение в работах копенгагенской школы (Брёндаль, Ульдалль и особенно Ельмслев). Это и есть то, что можно назвать подлинным, «классическим» структурализмом.

К структурализму относят также, не вполне правомерно, направление, вышедшее из пражского лингвистического кружка, а также американскую дескриптивную лингвистику. Эти два направления в своих истоках никак не связаны с Соссюром, хотя в дальнейшем испытали на себе его влияние.

У колыбели пражской школы стоит учение о фонеме как смыслоразличительной единице — замечательное открытие, которое вошло в железный фонд науки о языке на вечные времена. Суть этого открытия состоит в том, что, хотя в потоке речи реализуется бесконечное разнообразие звучаний, говорящими осознаются не все различия между звуками, а лишь те, которые служат для различения з н а ч е н и я, для различения слов и морфем. Иначе говоря — ведущим и организующим началом в фонетике, как и вообще в языке, является семантика. В языке нет другой доминанты, кроме значения,— вот истинный смысл учения о фонеме.

Пражская школа сильна тем здоровым зерном, которое с самого начала было в учении о фонеме как смыслоразличительной единице. К сожалению, на это здоровое зерно наросло со временем много пустых формалистических построений, в которых была забыта и похоронена первоначальная идея о семантической доминанте языка. Оправдались слова Энгельса о двух типах ученых: одни распутывают сложное, другие запутывают простое. Создатели учения о фонеме проделали первую работу, их преемники отдают свои силы другой. В результате ложного и крайне гипертрофированного развития фонология стала перерождаться в схоластическую доктрину, которую пытались затем перенести на другие стороны языка и сделать универсальной лингвистической теорией. Между тем такой перенос совершенно неправомерен. Звуки речи (фонемы) сами по себе не соотносимы с данными опыта, и их система определяется внутриязыковыми корреляциями. Иное дело лексика. Ее элементы очевидным образом соотносятся с элементами опыта и объективной действительности и отражают в конечном счете их структуру. Промежуточное положение между фонетикой и лексикой занимают морфология и синтаксис, в которых своеобразно и причудливо переплетаются и взаимопроникают, с одной стороны, соотносимые с опытом познавательные элементы, с другой — элементы условно-знаковые (реляционные). Вот почему структура «чистых» отношений, на которой строится фонология, неприменима ни к морфологии и синтаксису, ни, тем более, к лексике. Соотносимость фактов языка с фактами опыта и объективной действительности — не случайный момент, а с а м ы й с у щ е с т в е н н ы й. Можно представить себе язык, в котором были бы только такие различия (оппозиции), которые соотносимы с различиями в объективной действительности, но не было бы «чистых» (внутриязыковых) отношений. Такой язык успешно выполнял бы свою общественную функцию. Но нельзя представить себе язык, в котором были бы только «чистые» отношения, никак не связанные с данными опыта и объективной реальности. Такой «язык» был бы для общества совершенно бесполезен и годился бы разве для игры, вроде игры в лото или карты. Иными словами: язык, его общественная ценность, держится не на внутренних корреляциях, а на корреляциях с данными опыта.

Фонология, с этой точки зрения,— еще не язык, как наборная касса типографии — еще не книга.

Поэтому ничем нельзя оправдать перенос фонологических моделей «чистых отношений» на другие классы языковых явлений.

Таким образом, характеризуя развитие пражской школы структурализма, мы можем наметить в нем три этапа: первый, блестящий — разработка учения о фонеме как о смыслоразличительной единице; второй — постепенный отрыв этого учения от языковой реальности и превращение его в формализованную схоластическую доктрину; третий — попытка распространить эту доктрину на другие стороны языка.

Первоначальная простая и ясная идея фонологии навсегда сохранит свое значение, а накрученные на нее схоластические схемы отпадут, как ненужная шелуха.

Американская дескриптивная лингвистика выросла из опыта и потребностей возможно точного и экономного описания индейских языков Америки. В отличие от европейского языкознания, которое описывало языки, имеющие историю, и вольно или невольно вносило в свои описания историческую точку зрения, американисты вынуждены были вырабатывать приемы описания, более пригодные для языков, не имеющих истории (точнее — история которых неизвестна), и здесь во многом преуспели. Если бы единственной или главной задачей языкознания было описание языков, не имеющих истории, у дескриптивистов можно было бы кое-чему поучиться. Но поскольку это не так, претензии дескриптивистов на универсальное значение выработанных ими приемов лишены основания. Вынужденный неисторизм пионера американской лингвистики Ф. Боаса возведен в принципиальный антиисторизм его преемниками, и это вводит американскую дескриптивную лингвистику в русло лингвистического модернизма[11].

Однако подлинными представителями лингвистического модернизма являются, как выше сказано, прямые продолжатели Соссюра — датские структуралисты.

Глоссематика—образец лингвистического модернизма

Из всех разновидностей структурализма следует предпочесть самый логичный и последовательный, так как он наиболее надежно и уверенно ведет к абсурду. Таким именно является структурализм копенгагенской школы. Теория языка строится в этой школе чисто дедуктивно. Мечтою Ельмслева, является, по его собственным словам, «имманентная алгебра языка», такая лингвистическая теория, которая «сама по себе независима от опыта» и «исходит исключительно из формальной системы предпосылок». Лингвистические определения должны, по его мнению, носить «строго формальный», а не реальный характер. Они, как в математике Гильберта, должны давать «систему фигур выражения без всякого учета их содержания». Его интересуют не конкретные языки с их неповторимой исторически сложившейся индивидуальностью, а то «п о с т о я н н о е, что не связано с какой-либо внеязыковой реальностью». «Никакое сходство или различие между языками не бывает основано на факторах, внешних по отношению к языку... Любые возможные внутренние раз-

[11] Как мы уже отметили, одна из особенностей модернизма вообще, в любой области, состоит в том, что его «достижения» быстро устаревают. На наших глазах дескриптивная лингвистика приходит в упадок, уступая место новому направлению, так называемой трансформационной лингвистике. За этим внушительным названием скрываются наукообразные эксперименты над давно известным явлением синтаксической синонимии (*папа любит маму = мама любима папой*).

граничения присущи форме, а не материалу. Материал сам по себе недоступен для познания». Ельмслеву вторит Ульдалль: «С научной точки зрения вселенная состоит не из предметов или даже материи, а только из функций, устанавливаемых между предметами... Материя как таковая совершенно не принимается в расчет».

Философская сущность этих утверждений настолько очевидна, что было бы пустой тратой времени заниматься их комментированием. Чтобы не было все же на этот счет никаких сомнений, я сопоставлю некоторые синхронные высказывания структуралистов, с одной стороны, и модных философов, с другой. Как мы видели, Ельмслев и Ульдалль утверждают, что материал недоступен познанию. А вот что пишет английский философ Беннет в своих «Основах естественной философии»: «Познанию доступны не реальность, не факты, а только функции. Мы не можем знать, что представляют собой вещи, мы можем только знать, какую функцию они выполняют в данный момент». Лингвист и философ говорят одним языком. А ведь приходится слышать утверждения, что структурализм не связан ни с какой философией! Или вот еще одна параллель. Структуралист Брёндаль пишет: «Нельзя выводить состояние языка из его истории». А философ Беннет, возможно, даже не подозревая о существовании Брёндаля, говорит буквально то же самое: «Мы постоянно впадаем в заблуждение, полагая, что знать историю чего-либо реально сущего — это значит подойти к познанию его сущности». Это не случайные совпадения. Это определенная философия, философия антиисторизма, философия агностицизма.

Датские структуралисты сожалеют, что лингвистическая наука была до сих пор «под сильным влиянием гуманитарных наук» и стремятся освободить ее от этого влияния. Ульдалль считает, что в гуманитарных науках «слишком силен человеческий фактор» и это мешает им стать точными. То, к чему должен стремиться лингвист,— это изгнать из своей науки «человеческий фактор». Путь к этому очень прост. «Если устранить „вещи“ (т. е. объективную реальность.— *В. А.*), то и человек, который является прежде всего „вещью“— в действительности даже прототипом любой вещи,— будет также устранен». Когда из науки о языке будут изгнаны история, объективная реальность и сам человек, тогда и будет достигнут заветный идеал: будет «поглощен весь привычный осязаемый мир и не останется взамен ничего, кроме клубка абстрактных функций»[12].

Глоссематика Ельмслева своей полной оторванностью от всякой реальности ошарашила даже многих склонных к структурализму лингвистов. В настоящее время эта наиболее последовательная и верная своему родоначальнику разновидность соссюрианства уже вошла в полосу упадка и скоро будет, надо полагать, предана полному забвению.

Математическая мода

Математические (статистические) методы давно применяются в языкознании и полностью себя оправдывают. В виде примера могу сослаться на более близкую мне область исторической лексикологии и этимологии. Подсчет различных слоев лексики: исконного наследия, субстратных и ареальных элементов, заимствований из различных языков, позволяет сделать важные выводы о происхождении языка и о его культурных связях с другими языками в разные периоды его исторической жизни, о размерах и удельном весе испытанных им влияний.

Интересным, хотя, по-видимому, не вполне точным, является метод так называемой глоттохронологии, когда время распада языковой общно-

[12] Сб. «Новое в лингвистике», 1, М., 1960, стр. 406.

сти, от которой произошли данные родственные языки, определяется по тому, какой процент основного лексического фонда она удержала: чем меньше этот процент, тем в более глубокую древность приходится отодвигать время распада.

Следует всячески приветствовать и поощрять такое использование математических методов. Оно дает зримые плоды, ведет к значительным историческим выводам и придает этим выводам большую убедительность и точность.

Обширное поле открыто для математических и машинных методов в прикладной лингвистике. Можно думать, что такие работы, как составление словаря писателя, на что уходит сейчас труд целых коллективов в течение ряда лет, будут со временем выполняться машинами в несколько минут.

Дает ли, однако, все это право говорить о какой-то особой науке, «математической лингвистике»?

Историку и археологу постоянно приходится иметь дело с хронологией, т. е. опять-таки с математикой. Но это не приводит, однако, к появлению новых наук: математической истории и археологии. При любом применении математических методов, какой бы размах оно не приняло, языкознание остается самим собой, т. е. общественной наукой.

Шумиха, поднятая вокруг «математической лингвистики», соблазнила многих из «малых сил». В большом числе появляются работы, полные самых нелепых вычислений с применением элементарной и высшей математики (ведь подсчитывать можно что угодно и как угодно). При этом авторы не задаются вопросами, зачем это нужно, что это дает? Какую существенную сторону языка или его истории оно раскрывает? Такие «труды» воспринимаешь как пародию и на математику и на лингвистику. Язык как общественная категория в них отсутствует, а математический аппарат, примененный явно не по назначению, работает на холостом ходу. Скрещение псевдолингвистики с псевдоматематикой — вот сущность «математической лингвистики».

Все, что существует в пространстве и времени, поддается измерению и исчислению и поэтому может быть объектом приложения математических приемов. Но надо же отдать себе отчет, в чем познавательная ценность производимых вычислений, не превращать их в самоцель.

Когда при мне превозносят большую т о ч н о с т ь математических методов безотносительно к ц е н н о с т и получаемых результатов, я спрашиваю по простоте: а зачем мне с большой точностью знать то, что мне совсем не нужно? не лучше ли, пусть с меньшей точностью, но знать вещи действительно нужные?

В одних науках математические формулы позволяют уяснить самую сущность явлений (это касается в особенности физических и химических явлений), в других — они отражают лишь чисто формальные и случайные отношения. В последнем случае математизм становится лишь наиболее абстрактной разновидностью формализма.

Мы наблюдаем сейчас усиленное раздувание «количественных методов» по всему гуманитарному сектору. Это — одна из характерных черт современного модернизма. Модные социологи, например, вместо серьезного анализа общественных отношений, преподносят вам серию цифровых таблиц и вычислений и выдают это за последнее слово социологии [13].

Была бы охота и досуг, можно применить «количественное» пустословие к любой гуманитарной области, например литературе или музыке.

[13] Э. В. К а л ь м е т ь е в а, Фетишизация цифр, М., 1962.

Можно, например, подсчитать, сколько раз встречается в произведениях Пушкина тот или иной синтаксический оборот или художественный образ, или метафора, или сравнение и т. д., и результаты этих подсчетов представить в виде математических таблиц. Возможно, что такие таблицы не будут даже лишены какого-то интереса. Но дадут ли они хотя бы намек на социальную значимость творчества Пушкина, на его роль в истории русской культуры? Такие математические упражнения в области литературы были бы с полным правом оценены как псевдолитературоведение.

Или возьмем музыку. В ней, как известно, все построено на математических отношениях. Не составило бы особого труда представить, скажем, увертюру к «Руслану и Людмиле» в виде цепи числовых показателей. Но разве эти цифры дали бы хотя отдаленное представление о чарующей прелести этой увертюры или о роли музыки Глинки в развитии русской национальной культуры? Разве не правы были бы те, кто назвал бы подобное математическое музыковедение лженаукой?

А вот к языку, который является таким же достоянием духовной культуры человечества, как литература и музыка, подобные упражнения не только применяются, но и принимаются всерьез и даже рекламируются как последнее слово науки.

Говорят, что математическая лингвистика нужна для машинного перевода. Очень хорошо. Машинный перевод, если опыты увенчаются успехом, будет большим техническим достижением. В свое время крупным достижением была стенография. Шутка сказать — записывать речь с такой же скоростью, как она говорится! Стенография потребовала особого подхода к членению речи с точки зрения частотности и повторяемости составляющих ее элементов и пр. Однако никто не говорил, что стенография открыла новую эру в теоретическом языкознании. Никто не выступал с требованием, чтобы все языкознание перестроилось применительно к нуждам стенографии. Машинный перевод также требует особого подхода к анализу речи с точки зрения частотности, дистрибуции и пр., чтобы ее удобнее было «закладывать» в электронную машину. Но нет никакой необходимости перестраивать все языкознание применительно к нуждам машинного перевода, как не было такой необходимости применительно к нуждам стенографии. Рыбоконсервная промышленность тоже выработала особые приемы членения рыбы, чтобы ее удобнее было укладывать в консервные банки. Но, насколько я знаю, работники рыбоконсервной промышленности никогда не претендовали, что они открыли новую эру в ихтиологии как науке. Машинный перевод, как стенография, стоят в стороне от основных проблем теории и истории языка, и впутывать их сюда нет никакой надобности. Надо всячески поддерживать и развивать любые новые методы и приемы описательной и прикладной лингвистики, если они оправдывают себя на практике. Но нельзя думать, что с появлением каждого такого нового приема надо заново перестраивать теоретические основы языкознания. Формальные и математические методы, поскольку их полезность будет подтверждена опытом, найдут применение в различных областях, нимало не затрагивая теоретическую, философскую базу гуманитарного языкознания.

Увлечение математикой и попытки толковать все явления в математических понятиях бывали в истории не раз, особенно в периоды расцвета и крупных успехов математики. Такими энтузиастами математики были, в частности, древние пифагорейцы. Проф. А. Ф. Лосев в книге «Античная музыкальная эстетика» (стр. 20—21) пишет: «Мышление пифагорейцев... никак не могло отделаться от восторга перед числовыми операциями и старалось повсюду находить по преимуществу количества и числа». В не-

которых нынешних лингвистах нетрудно опознать современных пифагорейцев. Они никак не могут отделаться от восторга перед числовыми операциями. Стремление пифагорейцев переводить на язык математики все, что угодно, вызывает теперь только снисходительную улыбку. Пройдет время, и такую же улыбку будут вызывать многие современные труды по «математической лингвистике».

Однако, не ожидая суда потомства, мы должны уже сейчас сказать, что «неопифагорейские» увлечения лингвистов математическими операциями не так невинны, как может показаться. Во-первых, полезная отдача этих операций, как в теоретико-познавательном плане, так и в прикладном, в большинстве случаев слишком незначительна по сравнению с затраченным временем и трудом. Во-вторых — и это главное — в языкознании, как и в других общественных науках, количественные показатели неспособны выявить самое главное — качественное своеобразие явлений. Самое тонкое, самое глубокое, самое человеческое, а потому самое важное в языке остается за пределами применения чисто математических приемов. Поэтому «математическая лингвистика», поскольку она претендует на познание сущности языка через математический аппарат, становится источником великого заблуждения.

Следует помнить, что если в физических явлениях математика — это путь приближения к действительности, то в гуманитарной области — это сплошь и рядом способ ухода от действительности. Именно с этой точки зрения надо оценить тот факт, что вся современная западная философия все больше пропитывается математикой. Стремление подвести весь гуманитарный комплекс под абстрактные математические формулы и определения — это выражение того самого бегства от истории, от реальности, от человеческого фактора, которое является характерным признаком заката современной западной философии, общественных наук, литературы и искусства.

Абстракционизм в языкознании и абстракционизм в искусстве — это явления одного порядка, и только слепой может не видеть их внутреннего родства. Когда говорят, что искусство независимо от объективной реальности,— это есть абстракционизм в искусстве. Когда говорят, что язык надо изучать независимо от объективной действительности,— это есть абстракционизм в лингвистике. Как абстракционистское искусство есть искусство в пустоте, так модернистская лингвистика есть лингвистика в пустоте. Если языковед-модернист утверждает, что язык подлежит истолкованию в математических понятиях, то буквально то же самое говорит искусствовед-модернист: «Абстракционистские фигуры воплощают математические понятия» («Курьер ЮНЕСКО», июль—август 1961 г.). Оказывается задача искусства — изображать не человека, не объективную действительность, а математические понятия!

Что такое отсталость?

В модернистские эпохи получает большое распространение одна опасная душевная болезнь: боязнь показаться отсталым. Особенно страдают от нее модные девицы. Не успеешь, скажем, освоить прическу «я у мамы дурочка», как надо уже переключаться на «конский хвост», потом на «копну» и т. д.

Или взять танцы. Только успела втянуться в румбу, как надо переходить на самбу; освоила самбу, а тут узнает, что «там» уже танцуют рок-н-ролл, потом твист и т. д.

Грустно, что эта болезнь поражает не только молодых девиц, но и солидных ученых, в том числе языковедов. В лингвистике есть свои румбы и самбы, т. е. в общем модернистском потоке то и дело появляются какие-нибудь новые течения и завихрения. И некоторые ученые ужасно боятся отстать от этих завихрений.

Что же такое отсталость? Что такое традиционность и новаторство?

Романы М. А. Шолохова, если подойти к ним с меркой модернистской литературы, представляют верх старомодности и отсталости. И однако же мы не стыдимся, а гордимся тем, что у нас есть такой писатель, как Шолохов. Мы гордимся тем, что Шолохов вместо того, чтобы бежать вдогонку за европейско-американскими сюрреалистами, экзистенциалистами и абстракционистами, спокойно и уверенно продолжает традиции классической русской литературы XIX в.

Наши биологи не стыдятся называть себя учениками Дарвина, а наши социологи — учениками Маркса, ученых XIX в.

Таковы некоторые образцы т р а д и ц и и.

О таких традициях мы можем, не боясь обвинения в отсталости, сказать в полный голос: да, это — традиционное и потому передовое.

Теперь посмотрим что такое н о в а т о р с т в о.

Родоначальник структурализма Соссюр писал: «Лингвистика слишком большое место уделяет истории; теперь ей предстоит вернуться к статической точке зрения традиционной грамматики». Вернуться к статической грамматике Пор-Рояля, т. е. к XVII в.— вот оказывается сущность соссюровского новаторства. Правда, статический формализм пор-рояльских ученых был вынужденный — ведь они не имели еще понятия об историческом, т. е. подлинно научном языкознании. Отсюда «казуистика и произвольность, порождаемые отсутствием исторического основания» (Энгельс). У Соссюра же и его последователей формализм сознательный, принципиальный.

Идея историзма, совершившая революцию в науке XIX в. на высшем подъеме буржуазного общества, стала бельмом на глазу на закате этого общества. Против историзма, за возврат к миропониманию до XIX в. ратуют философы и социологи, историки культуры и лингвисты.

Мы уже приводили суждения философа Беннета и лингвиста Брёндаля. Фольклорист А. Ван-Женнеп заявляет: «Фольклор не есть часть истории — мы только теперь постепенно исцеляемся от мании историзма XIX в.»[14].

Итак, новаторство в понимании современного модернизма состоит главным образом в возврате к воззрениям до XIX в.

Соссюр мог бы указать как на образец не только на французскую грамматику XVII в., но и на санскритскую грамматику Панини IV в. до нашей эры: это отличный пример «статической точки зрения».

Подобные казусы нередко случаются с модернистами: думает, что шагнул на 100 лет вперед, а на поверку оказывается, что вернулся на несколько тысяч лет назад. Рецидив пифагорейского увлечения математикой — явление того же порядка.

Известно, что некоторые модернистские художники открыто или втайне подражают рисункам палеолитического человека. По их мнению палеолитическое — это и есть современное[15].

Известно также, что современная джазовая музыка выросла на ритме и интонациях примитивных негритянских мелодий.

Такова истинная цена модернистского новаторства.

---

[14] A. V a n - G e n n e p, Le folklor, Paris, 1924, стр. 32.

[15] Кстати, прическа «я у мамы дурочка» также ничем не отличается от палеолитических причесок.

Сплошь и рядом модернистское «новаторство» сводится к мыльным пузырям новой терминологии[16]. Мания терминотворчества — характерная черта модернизма. Давно известные вещи, облаченные в пестрый наряд самосильно придуманных или притянутых из другой области псевдонаучных терминов, преподносятся как открытие или новый подход. Таким приемом старая телега выдается за ультрасовременную ракету. Убожество «плана содержания» модернист тщится замаскировать рассчитанной на эффект новизной «плана выражения». Этой цели служит как заумная терминология, так и математический аппарат, или комбинация того и другого.

Выставляя себя носителем «последнего слова», будь то в искусстве или науке, модернизм в борьбе с противниками прибегает всегда к одному и тому же приему: пытается третировать их как «отсталых», «ретроградов», «рутинеров», «консерваторов» и т. п. Не будем бояться этих слов. Отстаивая позиции реализма против декадентства, В. В. Стасов писал: «Нас хотят перекрестить в новую веру по части искусства! Кто хочет? Зачем хочет? Хотят декаденты... Они затеяли декадентский журнал издавать и, в виде программы, заблаговременно объявляли в печати: „Мы (русские) представляемся в Европе чем-то устаревшим и заснувшим на отживших преданиях“... У нас нашлись люди, которые перепугались „страшных“ слов, пришли в ужас от боязни попасть впросак, попасть не в такт, что-то исповедовать „вопреки Европе“, наперекор тому, что в хороших местах, у бар, делается»[17].

Истинное новаторство органически вырастает из предшествующего развития и потому никогда не выпячивает и не афиширует свой новаторский характер[18]. Вот что говорил о моде в науке небезызвестный новатор А. Эйнштейн: «...I can never quite understand why fashion, particularly in periods of change and uncertainty, plays almost as significant a role in science as in women's clothing. In everything, man is indeed an all too suggestible animal».

Модернистское «новаторство»— всегда умышленное, нарочитое, и поэтому оно оказывается иллюзорным и эфемерным. От традиции такое «новаторство» отличается главным образом тем, что быстрее устаревает.

Советское теоретическое языкознание на распутье

Советское теоретическое языкознание переживает ответственный момент. Создавшаяся к середине 50-х годов обстановка идейного вакуума способствовала некритическому восприятию нахлынувших с запада мо-

[16] Хорошо сказал об этом известный шведский лингвист Н. М. Холмер: «The correct analysis (лингвистических фактов.— *В. А.*) is, unfortunately, not by any means advanced by the use of a more „modern“ terminology (as many linguists are inclined to believe). True enough, the terms „genitive“, „ablative“, „locative“, etc. do not serve the purpose of describing any linguistic appearance or event, but neither does any newfangled substitute or, in want of such, any algebraic symbol... The scientific value of a terminology is especially in our days heavily overrated. The use of terms is the scientist's language (that is to say, a mere means of communication) and no one has hitherto to our knowledge wanted to pretend that the use of language is science, although the analysis of language is linguistics. In medieval times it was possibly held that anything not written in Latin was not to be regarded as science. We ought to know better» (N. M. H o l m e r, On the history and structure of the Australian languages, Lund, 1963, стр. 110, примеч. 130).

[17] В. В. С т а с о в, Нищие духом, в кн. «Избр. соч. в трех томах», III, М., 1952, стр. 232.

[18] Ни Маркс, ни Ленин никогда не афишировали свое новаторство. Ленин подчеркивал, что гениальность Маркса состояла в том, что он развил и поднял на новую ступень передовые идеи своих предшественников. «Его учение возникло как прямое и непосредственное *продолжение* учения величайших представителей философии, политической экономии и социализма» (В. И. Л е н и н, Соч., 19, стр. 3).

дернистских идей. Это был период, когда многие молодые (и не только молодые) люди, воскликнув: «Ах, как мы отстали!», кинулись осваивать модные прически, модные танцы и модные патефонные пластинки. В это же время многие молодые (и не только молодые) лингвисты с тем же возгласом («ах, как мы отстали!») кинулись осваивать модернистские направления в лингвистике. Разумеется, советские лингвисты знакомились и со многим ценным, что создавалось за рубежом и чего мы не знали из-за нашей оторванности. Положительная сторона этого процесса состояла в том, что повышался общий уровень лингвистической грамотности. Этот уровень был в предшествующий период очень невысок. Можно было только радоваться наступившему оживлению лингвистической работы, расширению ее тематики.

Недоставало одного, но, пожалуй, самого главного: самостоятельной, прочной идейной основы, которая давала бы общее направление советскому языкознанию и определяла его лицо. В этом отношении наше языкознание оказалось безоружным и беспомощным. Ни в какой другой общественной науке не наблюдалось у нас такого идейного разброда. Лучшее представление об этом разброде дает журнал «Вопросы языкознания», по существу единственный теоретический орган советского языкознания.

У всех на памяти тот небывалый подъем интереса к вопросам языкознания, который наблюдался у нас в период и после дискуссии 1950 г. На гребне этого подъема журнал «Вопросы языкознания» мог стать одним из самых любимых и популярных научных журналов советской интеллигенции. Для этого нужно было одно: уделять больше места проблемам, которыми живо интересуются миллионы советских людей, таким, как язык и общество, язык и история, язык и мышление, происхождение языка и начальные этапы его развития, язык как общественное сознание, историческая семасиология, вопросы субстрата и этногенеза, и другие проблемы большой лингвистики, т. е. лингвистики, тесно и неразрывно связанной со всеми общественными науками. Именно в разработке этих проблем выступает с неотразимой силой превосходство нашей методологии, только они могут нам обеспечить ведущее положение в мировом языкознании и сделать наш лингвистический журнал теоретическим органом прогрессивных языковедов всего мира.

«Вопросы языкознания» стал журналом по преимуществу малой лингвистики, лингвистики «в себе и для себя».

Языкознание может быть либо очень широкой, либо очень узкой и замкнутой наукой. В первом случае оно становится одной из самых содержательных, увлекательных и популярных наук, представляющей интерес для самого широкого круга людей. Во втором случае оно лишено какого-либо интереса и значения для всех, кроме узкого круга специалистов. На страницах «Вопросов языкознания» культивировалась главным образом наука второго типа.

Глубокое недоумение вызывает направление журнала, вернее отсутствие у него какого бы то ни было направления. По этому журналу не определишь, что представляет собой советское теоретическое языкознание, чем оно живет, с каким собственным идейным багажом оно выступает на мировой арене, какую свою проблематику оно выдвигает. Тщетно было бы искать какую-либо сквозную руководящую идею, которая одушевляла бы этот журнал за все время его существования.

Вопрос о «раздвоении» языкознания занимает сейчас умы многих лингвистов[19]. Для многих становится очевидным, что разрыв между

[19] Из последних работ можно назвать статью известного венгерского языковеда Ж. Телегди (Zs. Telegdi) «Über die Entzweiung der Sprachwissenschaft» («Acta linguistica Hung.», XII, 1—2, 1962).

языкознанием как общественной наукой и модернистским формализмом достиг такой степени, когда их связь становится совершенно искусственной и чисто внешней, и встает настоятельная задача: задача р а з м е ж е в а н и я.

У нас этот вопрос стоит еще острее, чем на западе, и вот почему.

Когда на западе говорят о раздвоении языкознания, имеют в виду обычно противопоставление структурального метода сравнительно-историческому методу младограмматического толка. Сравнительно-историческое языкознание произвело в свое время переворот в науке и заслуги его колоссальны и непреходящи. Но сравнительно-историческое языкознание — это все же скорее метод, чем мировоззрение. Этот метод, как показывает опыт младограмматической школы, отнюдь не исключает формалистического применения. Сравнительно-исторический метод, совершенствуясь и развиваясь, бесспорно останется на вооружении советской науки. Но нелепо сводить образовавшуюся трещину в нашей науке к альтернативе: за или против сравнительно-исторического языкознания. Для нас не в этом суть. Борьба идет не за сравнительно-историческое языкознание, а за ч е л о в е к а, за человеческий фактор, за его место в создании, развитии и функционировании языка. Между сравнительно-историческим языкознанием и структурализмом нет никакого конфликта. Но есть непримиримый конфликт между гуманизацией и дегуманизацией языкознания.

Неизбежна ли дегуманизация языкознания?

Слово «гуманизм», которое у нас почему-то стали употреблять в значении «гуманность» и считать моральной категорией, не имеет в действительности прямого отношения к морали и означает нечто другое: мировоззренческий принцип, проникающий науку, искусство и всю вообще культуру. Этот принцип ставит в центр культуротворческого процесса человека. Стало быть гуманизм — общеидеологический, а не моральный принцип.

Загадка, которую Сфинкс задал Эдипу, была о Человеке. И на эту же загадку призвана ответить в меру своих возможностей каждая общественная наука. Эту же загадку решают, только иными средствами, литература и искусство.

Любая общественная наука, что бы она ни изучала, изучает в конечном счете человека, совершенно так же, как любое искусство, что бы оно ни изображало, изображает в конечном счете человека [20]. Всякая отрасль гуманитарного сектора, из которой выпадает человек, сама выпадает из гуманитарного сектора. Недаром «гуманитарный» происходит от латинского *humanus* «человеческий».

Сказанное в полной мере относится и к языкознанию. Не изгнать человеческий фактор, как рекомендуют структуралисты, а раскрыть во всей полноте его роль в языке, понимаемом и как ἔργον и как ἐνεργεια,— вот высшее назначение языкознания как общественной науки.

Лет тридцать назад в двух статьях я пытался разграничить два аспекта языка: язык как одно из выражений общественного сознания и язык как коммуникативная техника [21].

---

[20] Ленин хорошо показал, что переворот, совершенный Марксом в экономической науке, заключался в г у м а н и з а ц и и этой науки: «Там, где буржуазные экономисты видели отношение вещей (обмен товара на товар), там Маркс вскрыл *отношение между людьми*» (Соч., 19, стр. 6).

[21] См.. «Язык как идеология и язык как техника» (сб. «Язык и мышление», II, н., 1934, стр. 33—54); «Еще о языке как идеологии и как технике», «Язык и мышлегие», VI—VII, М., 1936, стр. 5—18. Термин «идеология» здесь не точен. Правильнее говорить об общественном сознании.

Основная мысль заключалась в том, что язык, возникая как непосредственное выражение общественного сознания, со временем приобретает черты системообразной сигнально-коммуникативной техники, не утрачивая, однако, и своей исходной функции — выражения общественного сознания.

Теория языка приобретает существенно разный характер в зависимости от того, какой из этих аспектов находится в поле зрения. На подлинную научность и универсальное значение может претендовать только такая теория языка, в основе которой лежит синтез обоих аспектов. Дать такой синтез может только историческая точка зрения.

Лингвистический модернизм есть по существу односторонний, а потому искажающий сущность предмета подход к языку в аспекте только коммуникативной техники. Пусть такой подход односторонен и ошибочен. Зато он облегчает схематизацию и формализацию языковых явлений, а это, как мы знаем, для модернизма главное.

Но гуманитарные явления, чем они более высокого класса, тем труднее поддаются формализации. Это значит, что, скажем, песенка «Чижик-пыжик» легче поддается формализации и «моделированию», чем девятая симфония Бетховена. То, что мы называем языком, включает разные классы явлений, начиная от уровня «Чижика-пыжика» и кончая уровнем девятой симфонии Бетховена. Подходить ко всем этим явлениям с одними и теми же приемами схематизации и формализации — это невежественная затея, которая ни в какой мере не приближает нас к познанию сущности языка, а лишь уводит науку о языке в сторону от своего органического окружения — от других общественных наук. Нити, связывающие это направление языкознания с другими общественными науками, становятся все более тонкими и непрочными. Не нужно особого пророческого дара, чтобы предсказать: чем больше языкознание будет формализованной наукой, тем меньше оно будет наукой гуманитарной. Формализм (как идеология) — это синоним антигуманизма.

На известной ступени формализации разрыв становится настолько глубоким, что приходится говорить уже не о двух направлениях одной науки, а о двух разных науках.

Модернистская лингвистика означает не новую ступень в эволюции языкознания, а у н и ч т о ж е н и е языкознания как общественной науки, совершенно так же, как модернистское искусство означает не новый этап в развитии искусства, а у н и ч т о ж е н и е искусства как общественной ценности.

Приходится иногда слышать призывы к сотрудничеству двух лингвистик. Эти призывы недостаточно продуманы. Возможно ли плодотворное сотрудничество двух наук, из которых одна исходит из других предпосылок и ставит иные цели, чем другая?

Представим себе двух специалистов, которые оба изучают земной шар. Но один изучает его как место обитания человека, а другой — как геометрическое тело. Спрашивается, какой общий язык могут найти эти два специалиста?

Язык тоже можно рассматривать в двух аспектах: либо как «место обитания» человеческого духа, либо как геометрическую систему[22]. Что может быть между ними общего?

Что общего между музыковедом, который анализирует музыкальное произведение как явление духовной культуры, и «музыковедом», подсчи-

---

[22] «Pour le moment, la linguistique générale m'apparaît comme un système de géométrie» (R. G o d e l, Les sources manuscrites du «Cours de linguistique générale» de F. de Saussure, Genève — Paris, 1957, стр. 30).

тывающим, сколько раз какой клавиш ударяется при исполнении этого произведения? Зачем нужна наука о дистрибуции клавишных ударов тому, кто интересуется духовным миром композитора и его эпохи?

Не всякие манипуляции, которые производятся и могут производиться над языком, могут называться наукой вообще и гуманитарной наукой в особенности.

Бывают моменты в истории науки, когда гораздо важнее и полезнее четкое противоставление и размежевание, чем искусственное объединение. В языкознании мы имеем именно такую ситуацию. Речь идет не о второстепенных разногласиях, а о понимании сущности языка и задач теоретического языкознания. Единая когда-то наука раскололась на две науки с разным пониманием своего предмета, разными целями, разными методами, разными теоретическими предпосылками. От языкознания № 1, которое было и остается общественной наукой, отделяется языкознание № 2, которое пока неясно чем является, но тяготеет больше к абстрактным логическим и математическим наукам. Если оно будет там апробировано и признано на что-нибудь пригодным — в добрый час! К гуманитарным наукам оно во всяком случае не имеет отношения. Полное бесплодие проходившей у нас дискуссии о структурализме объясняется именно тем, что спорящие говорят на разных языках. Нужны не споры, а размежевание. Размежевание и проверка работой.

Изживание модернизма в нашей науке пойдет тем быстрее, чем больше свободы ему будет предоставлено и чем более законченные формы он примет. В этих условиях он быстро выскажется до дна. А дно у него неглубокое. Почему глоссематика Ельмслева так быстро сникла? Потому что, имея полную свободу «самовыражения», она могла в кратчайший срок продемонстрировать свою бесперспективность. Надо предоставить нашим модернистам такую же возможность. Всякие попытки ограничения могут внушить общественному мнению какие-то иллюзии насчет возможностей, которым не дают раскрыться. В этих условиях болезнь может затянуться.

Размежевание позволит лучше уяснить теоретические задачи советского языкознания как о б щ е с т в е н н о й науки. Говоря о перспективах нашей науки, обычно ставят «роковую» альтернативу: традиционное языкознание или структурализм. Эта альтернатива — ложная. Нам нужно не традиционное и не модернистское, а свое, советское языкознание, отвечающее мировоззрению и нуждам многонационального социалистического общества. Это не значит, что мы должны отгородиться стеной от мировой науки и от нашего собственного прошлого. Но вполне естественно, что когда речь идет о буржуазной науке, нам ближе по духу то, что характеризовало эту науку, когда буржуазное общество переживало период высшего духовного подъема и расцвета, а не когда оно вступило в полосу идейного распада и деградации.

В то время буржуазную науку интересовали проблемы большой лингвистики: язык и мышление, язык и история. Эти проблемы и для нас остаются важнейшими. Именно в разработке этих проблем языкознание находит свое место среди общественных наук. Проблема «язык и мышление» связывает нашу науку с теорией познания и психологией, проблема «язык и история»— с социологией, историей, археологией, этнографией, фольклором.

Существует мнение, что языковед не должен заниматься этими проблемами, так как они являются «экстралингвистическими», выходят за рамки языка и таким образом нарушают его специфику. Однако возможна и иная точка зрения: нераздельное единство с мышлением и неразрывная связь с историей к а к р а з - т о и с о с т а в л я ю т г л у б о ч а й-

шую специфику языка, и, стало быть, те, кто занимается языком без мышления и без истории, занимаются в сущности не языком, а некоей фикцией, которой не соответствует никакая объективная реальность. С этой точки зрения модернистская лингвистика — это и есть экстралингвистика, т. е. нечто, лежащее за пределами языкознания как общественной науки[23]. Связи языка с мышлением и историей — не выдуманные, не искусственные. Они коренятся в самой природе, в самой сущности языка. Мышление и история — это те ворота, через которые в язык властно и неудержимо входит человеческий фактор, тот самый человеческий фактор, который тщетно пытаются изгнать из него модернисты.

Модернистскому тезису об изучении языка в себе и для себя мы противопоставляем наш тезис: всякое внегуманитарное рассмотрение языка основано на игнорировании его специфики, а потому является внелингвистическим.

Некоторые «традиционные» языковеды, сбитые с толку разговорами о несовместимости «внутренней» и «внешней» лингвистики, заняли оборонительную позицию, как бы оправдываясь в том, что в их лингвистическую концепцию проник такой экстралингвистический фактор, как человек. Такая позиция — ошибочная. Гуманитарное языкознание нуждается не в обороне, а в наступлении. Речь идет о том, чтобы идейно преодолеть волну антигуманизма, которая ставит под угрозу судьбу всего гуманитарного сектора. Кому, как не советским гуманитариям быть в первых рядах в этом благородном споре.

Думаю не ошибусь, если скажу, что лучшие традиции нашего отечественного языкознания связаны с большой, широкоэкранной наукой, а не узким изучением языка «в себе и для себя». Когда речь идет о проблеме «язык и мышление», достаточно вспомнить Потебню. Когда речь идет о проблеме «язык и история», достаточно назвать Шахматова. Это имена, которыми по праву гордится наша наука. Можно было бы перечислить и другие имена, но в этом нет надобности.

Было время, когда и в советском языкознании проблемы языка и мышления, языка и истории стояли в центре внимания. В их решении допускались грубые ошибки и упрощения, но в самой постановке проблем ошибки не было. В этих проблемах языкознание утверждало себя как одна из ведущих наук гуманитарного цикла. И действительно, не было такой общественной науки, которая не получала бы импульсов со стороны языкознания. Философы и психологи, историки и археологи, этнографы и фольклористы с живым интересом следили за тем, что делается в лингвистике. Со своей стороны и языковеды старались быть в курсе идей и достижений смежных общественных наук. Можно сказать без преувеличения, языкознание было в то время одной из самых популярных и влиятельных гуманитарных наук.

Эти позиции в значительной мере утрачены нашим языкознанием.

Вернуть языкознанию принадлежащее ему по праву место в кругу общественных наук — вот насущная задача нашей науки.

Что этому мешает? Может быть такие темы, как «язык и мышление», «язык и история», «язык и культура» исчерпали себя, и здесь уже нечего

---

[23] Когда физики заговорили об «антивеществе», модернисты не преминули подхватить эту новинку. Появились такие выражения, как «антиискусство», «антилитература», «антироман», «антитеатр», «антигерой» и т. п. Желая внести посильный вклад в модернистское языкознание, я предлагаю признать, что термин «метаязык» уже устарел, что предметом исследования является «антиязык», а наука, которая изучает этот антиязык, должна, естественно, называться «антилингвистикой». Такое терминологическое уточнение послужит, несомненно, новому расцвету данной науки.

делать? Вряд ли кто-нибудь станет серьезно утверждать что-либо подобное. Познавательные возможности языка именно в гуманитарном плане поистине беспредельны. Многие важнейшие проблемы этого круга пока как следует даже не затронуты, например историческая семасиология. Наша идеология и методология дают нам здесь огромные преимущества. Где, как не в языке надо искать ярчайшие подтверждения марксистского тезиса: «бытие определяет сознание»? Где, как не в языке, в его истории, запечатлелась многотысячелетняя работа человеческого ума и человеческих рук по освоению и подчинению окружающей действительности? Структуральный подход даже отдаленно не затрагивает те огромные познавательные богатства, которые таятся в языке как отложении великого жизненного опыта человечества. Эти богатства ждут исследователей нового типа, вооруженных самой передовой идеологией и глубокими знаниями во всех отраслях гуманитарной науки.

Известно, что сила марксистской методологии особенно ярко и неотразимо раскрывается в общественных науках. Стало быть чем настойчивее мы будем разрабатывать языкознание именно как общественную науку, чем теснее мы будем смыкать его с другими гуманитарными науками, тем очевиднее будет наше преимущество, тем больше мы добьемся успехов и побед. И наоборот, если мы будем культивировать лингвистику как замкнутую в себе формалистическую дисциплину, мы растеряем все наше методологическое превосходство и будем обречены плестись в хвосте лингвистического модернизма, трусить за рысаками европейско-американского структурализма. Никаких лавров мы на этом пути не пожнем.

Отличительные черты советского теоретического языкознания, каким оно нам мыслится, всего лучше раскрываются как антипод модернизма.

Модернизм а н т и и с т о р и ч е н. Историзм должен пронизывать сверху донизу советское языкознание.

Модернизм во всех его разновидностях исходит из п р и м а т а ф о р м ы н а д с о д е р ж а н и е м. Для нас центральным в языке является содержание, з н а ч е н и е. Все то в языке, что не соотносимо с понятием з н а ч е н и я, не имеет познавательной ценности в гуманитарном плане. Тот, кто из языкознания устраняет понятие значения, подобен биологу, который устранил бы из своей науки понятие «жизнь». Значение — доминанта языка.

Модернизм во всех его разновидностях формализует науку о языке и тем самым изолирует ее от других общественных наук. Мы, напротив, считаем, что наука о языке вместе с философией и другими общественными науками образует одно большое целое, одну структуру (вот где пригодилось понятие структуры!).

Эти принципы — историзм, примат значения, тесная связь со всем гуманитарным кругом — залог действительно самостоятельного развития советского языкознания и его больших побед.

Будущее советского языкознания не в его формализации, а в его г у м а н и з а ц и и.

Борьба против дегуманизации культуры — одна из насущнейших задач передовой интеллигенции во всем мире. Языкознание — лишь один из участков этой борьбы. Но участок очень важный, если учесть исключительную роль языка в жизни общества и в истории культуры. Советским языковедам надо всегда помнить, на каком ответственном участке они стоят.

Нет речи об огульном противопоставлении советской и несоветской науки. Борьба между гуманизмом и антигуманизмом идет повсюду. Идет она и у нас, особенно остро в двух областях: изобразительном искусстве и языкознании. В науке наступление антигуманизма находит свое выражение в частности в повсеместно наблюдаемой тенденции отодвинуть гуманитар-

ные науки на второй план по сравнению с физико-техническими, или путем поверхностного, чисто формального применения математических приемов и формул уподобить их «точным» наукам и таким образом создать иллюзию «синтеза» наук, а в действительности обескровить гуманитарные науки.

С проявлением этой тенденции приходится иметь дело и у нас. Но именно у нас, быть может больше чем где-либо, антигуманизм ощущается как нечто неорганическое и чужеродное. Нет почвы для антигуманизма в стране, где властителями дум были всегда великие гуманитарии: Герцен, Чернышевский, Маркс, Ленин. Нет почвы для антигуманизма в стране, которая создала самую гуманистическую литературу. Нет сомнения, что антигуманизм будет у нас преодолен и в искусстве и в науке. Одним из выражений этого будет то, что гуманитарные науки займут подобающее место в общей системе наук, а языкознание займет подобающее место в системе гуманитарных наук.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1965

И. И. РЕВЗИН

СТРУКТУРНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ЕДИНСТВО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Общеизвестно, что вторая половина XX в. проходит под знаком объединения наук и их взаимного обогащения. При этом наиболее плодотворные идеи выдвигаются на стыке разных наук, а внутри одной науки — в результате столкновения разных подходов к одной и той же проблеме [1]. Общеизвестно при этом, какую важную роль в этом синтезе наук имеет кибернетика, наука об общих законах управления путем переработки и упорядочения информации.

В комплекс наук, объединяемый кибернетикой, лингвистика входит в первую очередь благодаря развитию структурной лингвистики, т. е. совокупности методов, дающих в руки лингвиста совокупность формальных приемов для изучения наиболее общих свойств естественных языков как знаковых систем. Больше того, на основе структурной лингвистики (а также математической логики) постепенно формируется новая важная отрасль знания — семиотика, наука, изучающая общие свойства знаковых систем, используемых человеком, будь то естественные языки или же искусственные логические языки [2].

С другой стороны, резкое противопоставление структурных и «традиционных» методов, бывшее необходимым, по-видимому, в период становления первых, становится все более ощутимым тормозом на пути развития языкознания как единой науки, приводит к растущему взаимонепониманию лингвистов, к тому, что представители одних направлений просто перестают придавать какой-либо научный смысл занятиям специалистов других направлений [3].

Попытки противопоставить «традиционную» и «структурную» лингвистику как две разные науки делались неоднократно. Эти противопоставления идут в основном по следующим направлениям: а) противопоставления по о б ъ е к т у исследования; б) противопоставления по м е т о д у исследования; в) противопоставления по отношению к предшествующей лингвистической т р а д и ц и и.

Первое противопоставление, пожалуй, наиболее резко (и односторонне) обрисовано автором данной статьи совместно с В. Ю. Розенцвейгом: «Важным и, пожалуй, основным объектом традиционного описательного языкознания была именно система норм правильной речи на данном языке — недаром грамматика очень часто определялась как наука о том, как правильно выражать мысли. Системе норм данного языка, т. е. речи наи-

---

[1] Показательно следующее высказывание В. Гейзенберга: «Вероятно, в порядке общего предположения можно сказать, что в истории человеческого мышления наиболее плодотворными часто оказывались те направления, где сталкивались два различных способа мышления» (В. Г е й з е н б е р г, Физика и философия, М., 1963, стр. 159).

[2] См. об этом: И. И. Р е в з и н, От структурной лингвистики к семиотике, «Вопросы философии», 1964, 9.

[3] Именно так выразился А. М а р т и н е в своем предисловии «The unity of linguistics» к сборнику «Linguistics today» [ed. by A. Martinet and U. Weinreich, New York, 1954 («Publications of the linguistic circle of New York», № 2), стр. 3].

более культурной части общества и, в особенности, языку художественной литературы всегда отдавалось предпочтение перед иным речевым материалом. Структурная лингвистика изучает язык в другом аспекте, ее интересуют естественные законы организации речевого материала, связанные не с данным конкретным языком, а с самой сущностью процесса коммуникации в его наиболее общей форме» [4].

Здесь подчеркивается подход к языку как естественному явлению, независимому от воли и действия говорящих на данном языке. Такой подход особенно близок тем, кто занимается моделированием языка, т. е. представлением языковой системы в виде формальной математической модели, аналогичной по своей структуре моделям, используемым в других естественных науках, например в физике. Так, один из французских ученых, работающих в области математической лингвистики, пишет: «Математическая в своем формализме и машинная в своих приложениях лингвистика становится все более похожей на другие науки о природе. Можно с полным правом задать вопрос о пределах такой лингвистики, понимаемой как глава физики. Но каковы бы они ни были, эти пределы по крайней мере далеко не достигнуты и поэтому можно спросить, соответствует ли эта новая наука, насколько это возможно, требованиям строгости, предъявляемым в физике» [5].

На первый взгляд, противопоставление традиционного языкознания — науки о языке как общественном явлении — и структурной лингвистики — науки о языке как естественном явлении — представляется вполне оправданным (ср. знаменитое противопоставление «внешней» и «внутренней» лингвистики у Соссюра). В то же время нельзя забывать, что уже в античных грамматиках появилась четкая система парадигм склонения и спряжения, составляющая основную часть всякого грамматического описания. Между тем только привычность этих парадигм заслоняет тот факт, что здесь мы имеем дело с глубокими структурными моделями, степень абстрактности которых весьма высока и которые описывают систему языка вне зависимости от действия и воли говорящих, как естественное явление. С другой стороны, как мы увидим далее, и отношение говорящего к языку и возникающее в связи с этим понятие нормы становится все более актуальным в структурной лингвистике. Отрицая надобность противопоставления «внутренней» и «внешней» лингвистики как объектов исследования разных наук, мы вынуждены отстаивать необходимость изучения той и другой объективными методами, которые до сих пор применялись только к «внутренней» лингвистике. Требование объективных, точных методов, недоверие ко всякой социологической фразеологии и лингвистической публицистике как к методу решения научных проблем вовсе не знаменуют «дегуманизацию лингвистики», как это представлялось в свое время Лео Шпитцеру в полемике с Блумфилдом [6] (отметим, что тогда аргументы противников «дегуманизации» использовались для защиты откровенного идеализма от материализма, правда, механистического, Блумфильда).

Противопоставление по методу исследования наиболее резко сформулировано, по-видимому, С. К. Шаумяном, который противопоставил структурную лингвистику как теорию абстрактных моделей языка лингвистике традиционной как лингвистике классификационной, или

---

[4] И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг, Основы общего и машинного перевода, М., 1964, стр. 22—23.

[5] J. P. Benzecri, Physique et langue, «La traduction automatique», IV, 2, 1963, стр. 32—33.

[6] См. очень содержательное изложение этой полемики в статье Г. О. Винокура «Эпизод идейной борьбы в западной лингвистике» (ВЯ, 1957, 2).

«таксономической»[7]. Такое противопоставление также имеет относительный характер. В самом деле. Именно структурная лингвистика (в особенности та ее часть, которая носит название дескриптивной лингвистики) способствовала проникновению четких классификационных схем в такие области, как диалектология (ср. частые упоминания о недостаточности используемых в настоящее время в диалектологии классификационных критериев и о возможностях, открывающихся в этой области в связи с использованием структурных идей и методов). Высказывания С. К. Шаумяна можно было бы, конечно, интерпретировать, как имеющие в виду не столько противопоставление традиционной лингвистики в широком смысле и структурной лингвистики в широком смысле, сколько противопоставление теории порождающих грамматик, которую он и называет структурной лингвистикой, и описательной лингвистики, которая исходит из некоторого заданного речевого материала[8]. Такое разграничение, разумеется, теоретически возможно и даже подкрепляется соссюровским противопоставлением языка (интерпретируемого как порождающий механизм) и речи (интерпретируемой как некоторое множество фраз). Однако оно резко расходится с принятой в настоящее время терминологией и ведет ко многим трудностям: например, вся теория аналитических моделей языка (как она развивается, в частности, в книге автора «Модели языка») относится к «традиционной» проблематике, в то время как Гумбольдтово понимание языка как энергии входит в качестве составной части в структурную лингвистику.

Представляется более соответствующим сложившемуся в настоящее время словоупотреблению назвать структурной лингвистикой всю область лингвистического моделирования (вне зависимости от того, используется ли в соответствующих моделях логико-математический аппарат и, если да, то независимо от того, идет ли речь о моделях аналитических или порождающих, о синтагматических или парадигматических, о динамических или статических, о логических или статистико-вероятностных и т. п.). Что же касается традиционной лингвистики, то под ней лучше всего понимать всю совокупность идей, методов и фактических исследований, возникавших до оформления структурной лингвистики или же не использующих понятия и методы последней. В данной статье мы и хотим показать относительность такого противопоставления (при данном понимании терминов «структурная» и «традиционная» лингвистика).

Понимаемое таким образом противопоставление удобно и для постановки вопроса об отношении структурной лингвистики к научной традиции. Как некоторые сторонники структурной лингвистики, так и в особенности многие ее противники подчеркивают то обстоятельство, что структурная лингвистика целиком порывает с предшествующей лингвистической традицией. Так, В. Г. Адмони пишет: «В нашем изложении под традиционной грамматикой будет пониматься теория грамматики от древнейших времен до наших дней, сохраняющая преемственность в своем развитии. В ней может быть установлено, таким образом, множество этапов и направлений. Противопоставляется же традиционная грамматика тем новейшим направлениям в грамматической теории, которые отказываются от всякой преемственной связи с более ранней грамматической теорией и начинают исследование грамматического строя как бы на пустом месте на основе своей методики, которую они считают единственно научной»[9].

---

[7] С. К. Шаумян, Язык как семиотическая система, сб. «Теоретические проблемы современного советского языкознания», М., 1964, стр. 48.

[8] Именно так разъяснил С. К. Шаумян автору свою позицию в устной беседе.

[9] В. Г. Адмони, Основы теории грамматики, М.— Л., 1964, стр. 6.

Если согласиться с таким противопоставлением, то область структурной лингвистики окажется чрезвычайно узкой (туда войдет разве что синтагматическая теория Микуша или концепция структурной семантики Антала), ибо вне зависимости от того, осознают ли этот факт отдельные представители структурной лингвистики (в том ее понимании, которое предложено в данной статье) или нет, имеется непосредственная преемственность между наиболее абстрактными идеями и представлениями теории моделей языка и традицией, идущей, например, в России от Фортунатова и Бодуэна через московский лингвистический кружок [10] и формальную грамматику 20-х годов, через поиски таких замечательных ученых, как Дурново, Петерсон, Пешковский, Щерба, Поливанов и многие другие [11].

Дело, разумеется, в другом. В языкознании имеются разные традиции, среди них, например, и та, которая стремилась к социологизации каждого языкового факта и у нас наиболее четко проявлялась в работах Н. Я. Марра и его направления [12], или та, которая фактически сводила возможности исследовательской деятельности лингвиста к доказательству правоты некоторой навязанной сверху концепции.

Разница между двумя последними традициями по существу минимальна, и поэтому некоторое удивление вызывают предпринимаемые в последнее время некоторыми авторами попытки строить всю историю советского языкознания с точки зрения торжества первой или второй из них (первый период — до лингвистической дискуссии, второй период — «господство сталинского учения о языке» и третий, так сказать, «полоса безвременья»). Эта периодизация имеет смысл только для характеристики соответствующих периодов публицистического языкознания, а для языкознания как целого обозначает лишь административные вехи, достаточно болезненные для нашей науки (так же как и более ранние по времени репрессии в отношении видных славистов или же в отношении сотрудников Института народов Севера), но не определившие внутренней логики ее развития (точно так же нельзя определить научное содержание работ по первым двум-трем страницам, на протяжении которых, как правило, воздавалась дань очередной социологической доктрине). Мощное развитие в последние годы традиции формального изучения языка, о которой говорилось выше, — наглядное подтверждение того, что, несмотря ни на какие преграды, наука развивалась и будет развиваться.

Говоря о единстве языкознания как науки с единым объектом, мы вовсе не утверждаем возможности объединения традиций классических и структурных, с одной стороны, и публицистико-социологических, с другой. Между ними всегда была непримиримая идейная борьба, причем водораздел проходит между языкознанием как объективной наукой и языкознанием как приложением к некоторой совокупности более или менее последовательных социологических концепций.

Мы будем говорить далее об имеющихся с нашей точки зрения в современной структурной лингвистике недостатках. Эта тема не новая, о ней писалось немало, но, как правило, считалось, что достаточно разоблачить немарксистский, буржуазный характер тех или иных высказываний

---

[10] Можно проследить и влияние этой традиции на идеи, возвратившиеся к нам из Праги и Копенгагена.

[11] Работая над книгой «Модели языка», автор постоянно ощущал зависимость теории моделей от этих идей и старался по мере сил отразить это обстоятельство, что было замечено и некоторыми рецензентами книги, а также отмечено Р. И. Аванесовым в отзыве на докторскую диссертацию автора.

[12] Эта традиция проявилась, с нашей точки зрения, в статье Ф. П. Филина «Заметки о состоянии советского языкознания» (ВЯ, 1965, 2), о которой см. ниже.

деятелей структурализма [13] или (речь идет о тех авторах, которые способны заметить значительный вклад этого направления в науку о языке и научное понимание природы языка) достаточно перечислить проблемы, которые остаются вне поля зрения структуралистов, как тем самым будет достигнут прогресс в языкознании. Представляется, что для развития структурной лингвистики и решения стоящих перед нею задач такая критика не слишком плодотворна. Мы постараемся поэтому указать некоторые конкретные пути для увязки структурного изучения языка с лингвистическими традициями, идущими от Фортунатова и Бодуэна де Куртенэ [14].

Именно с этой точки зрения нам представляется, что намеченное в начале статьи — в чисто терминологических целях — противопоставление структурной и традиционной лингвистики устаревает и не способствует выполнению современной лингвистикой своих задач.

Прежде всего такое разделение грозит изолировать старые отрасли языкознания и затормозить проникновение в эти отрасли новых идей и методов, в которых все более настоятельно чувствуется необходимость в таких традиционных отраслях, как грамматики отдельных языков, диалектология, теория перевода и языковых контактов, теория лексикографии, поэтика и теория поэтической речи и другие. В то же время эти отрасли языкознания обладают устойчивым внутренним содержанием и в них имеется богатый запас материала, обработка которого в рамках сугубо традиционных методов может занять многие поколения лингвистов (речь идет, разумеется, не о теоретизировании, столь часто подменяющем в этих областях обработку материала). Остается огромное число неописанных языков и диалектов, для которых еще не созданы хорошие словари и грамматики, написанные хотя бы в доброй младограмматической традиции. Далеко не достаточно описаны явления живой разговорной речи большинства изучавшихся литературных языков (а изменчивость соответствующих явлений столь велика, что вряд ли их удастся когда-нибудь «закрыть» для науки), нет словарей языка писателей, нет даже достаточного количества грамматик (например, для большинства языков народов Советского Союза отсутствуют хорошие учебники на русском языке). А без этого не могут быть решены и многие теоретические проблемы «традиционного» языкознания.

Надо еще иметь в виду, что к «классификационному» языкознанию, как правило, причисляют и такую довольно новую отрасль языкознания, как лингвистическая статистика [15]. Действительно, если ограничиться

---

[13] В указанной статье Ф. П. Филин повторил, правда в значительно смягченной форме, характеристику структурализма, данную им более 15 лет назад в статье «О двух направлениях в языкознании» (ИАН ОЛЯ, 1948, 6), где в свете «уроков борьбы двух направлений в биологии, разгрома реакционного идеалистического вейсманизма-морганизма» (там же, стр. 486) и т. п. давалась оценка структурализма как «современного идеалистического языкознания, зашедшего в тупик» (там же, стр. 488). «Немарксистской» объявлялась прежде всего традиционная лингвистика, которая вместе со структурализмом противопоставлялась «новому учению» о языке Н. Я. Марра, отождествлявшемуся с марксистским языкознанием. Подобные схематически-априорные противопоставления не могут помочь определению подлинных задач анализа истинных философских проблем, возникающих в ходе развития нашей науки (ряд таких проблем мы пытались осветить в упомянутой статье «От структурной лингвистики к семиотике»).

[14] Это те самые традиции, которые объявлены Ф. П. Филиным идеалистическими в статье 1948 г. и игнорируются в статье 1965 г.

[15] Таким образом можно истолковать предисловие С. К. Шаумяна к сб. «Проблемы структурной лингвистики» (М., 1962), стр. 3.

только подсчетами (а не строить вероятностные модели языка), например составлением частотных словарей, статистикой звуков речи, количественным обследованием морфологических и синтаксических явлений, то нет принципиальной разницы между характеристиками типа «часто» — «редко» и точными статистическими данными, полученными по правилам современной науки с оценкой допустимой погрешности, с анализом объема выборки и т. п. Здесь, таким образом, перед «классификационной» лингвистикой раскрываются новые возможности совершенствования, еще более укрепляющие ее научную ценность.

Пожалуй, более опасным разрыв «старой» и «новой» проблематики представляется именно для структурной лингвистики. Ибо вместо того, чтобы обеспечить единство языкознания, став стержнем, вокруг которого могут быть естественно сгруппированы все проблемы современного языкознания, структурная лингвистика может при таком подходе превратиться в набор абстрактных математических упражнений на основе материала, достойного лучшего использования. К счастью, структурная лингвистика получает мощный импульс от таких приложений, как машинный перевод, построение информационно-логических устройств, проблема передачи информации и другие (но именно эти приложения требуют постоянного учета фактов речи, которая одна и составляет интерес для таких приложений); к счастью, в традиционном языкознании постоянно возникают новые проблемы, решение которых структурными методами не может не обогатить и самое структурную лингвистику. Отрыв структурной лингвистики от традиционной привел бы к тому, что проблематика первой могла бы слишком быстро исчерпаться.

Прежде всего структурная лингвистика несомненно обеднит свою проблематику, если структурные методы будут оторваны от статистических. Применение к языку методов и средств, которые представляет в распоряжение лингвиста современная наука, и в первую очередь методов и средств теории информации, немыслимо без тесной увязки статистических методов исследования речевого материала и структурных методов исследования систем порождения текста (соссюровского langue). Этого требуют интересы как лингвистической теории, так и практики [16].

Следует признать, что до сих пор статистические исследования языка отстают от структурных — в этом несомненно сказывается разобщенность тех и других. Особенно слабо разрабатываются вероятностные модели языка. При этом построенные до сих пор вероятностные модели не отражают специфики естественных языков. Например модели, рассматриваемые Мандельбротом [17], основаны на предположении, что все буквы за исключением пробела равновероятны и далее — что любая последовательность слов образует фразу («синтаксис Масквелла — Больцмана»). Такие исследования, сколь бы они ни были важными сами по себе (хотя бы для построения статистических моделей, имеющих отношение к произвольной семиотической системе), все же не дают возможности глубоко проникнуть в специфику языка. Наряду с такими моделями несомненно нужны статистические модели, основанные на предположениях, которые

---

[16] Подробнее об этом см.: И. И. Ревзин, О соотношении структурных и статистических методов в современной лингвистике, «Вопросы статистики речи (материалы совещания)», [Л.], 1958, стр. 45—47.

[17] См.: B. Mandelbrot, An informational theory of the statistical structure of language, «Communication theory. Papers read at a Symposium on „Application of Communication Theory" held at the Institution of electrical engineers, London, September 22nd — 26th 1952», ed. by W. Jackson, London, 1953; его же, Structure formelle des textes et communication, «Word», X, 1, 1954.

были специфичны для естественных языков. А для этого в свою очередь необходимо обратиться к данным тех отраслей языкознания, которые уже давно обследуют разные виды речевого материала. Это в свою очередь обогатит и проблематику структурных моделей.

Вернемся, однако, к утверждению о самостоятельности объекта структурной лингвистики. Если и верно то, что на стыке лингвистики и математики образуется новая наука — семиотика, аппарат которой далеко выходит за рамки лингвистики, то это отнюдь не означает, что чисто лингвистические проблемы той же семиотики уже не подлежат компетенции языковедов. В частности, такая важная часть семиотики, как теория математических моделей языков, естественно распадается на две части: а) математическая теория моделей языка, которая строится в основном математиками и решает чисто математические проблемы (такие, как алгоритмическая разрешимость основных свойств языка) и б) лингвистическая теория моделей, которая плодотворно исследуется лингвистами и которая связана с решением таких вопросов, как соотношение модели и ее интерпретации, выявление основных лингвистических понятий, подлежащих моделированию, и основных лингвистических абстракций, использование моделей для решения проблем, возникающих в теоретической лингвистике и в ее приложениях.

Если математикам, исследующим внутреннюю структуру моделей, вообще говоря, не требуется знания лингвистических фактов (кроме некоторых уже выявленных и четко охарактеризованных исходных понятий), то, пожалуй, нет отрасли языкознания, для которой знание как можно большей части накопленного лингвистикой материала и опыта было бы столь же необходимым, как для лингвистической теории моделей, ибо последняя может развиваться в первую очередь за счет привлечения того материала, который лежит за пределами сегодняшнего применения структурных методов. Если согласиться с пониманием современной структурной лингвистики как области лингвистической теории моделей, то следует признать, что все понятия и термины, которые возникли в структурной лингвистике, должны найти разумную интерпретацию в терминах лингвистической теории моделей. Это означает необходимость критического отношения к понятиям, используемым в структуралистской литературе и в частности — необходимость сведения их к разумному минимуму.

Между тем в настоящее время возникает слишком много терминов, без которых вполне можно обойтись, и наблюдается злоупотребление математической символикой, не имеющее ничего общего с подлинными задачами лингвистической теории моделей [18].

Сущность структурного подхода вовсе не в том, чтобы создать новую систему терминов и символов (наоборот, вскрытые в структурной лингвистике явления изоморфизма между отдельными уровнями языковой системы должны привести к сокращению системы терминов), а в том, чтобы сделать лингвистические определения по возможности операционными, — тенденция, заложенная в самой лингвистике [19]. Это означает, в частности, что определяя такие лингвистические единицы, как «фонема», «морфема», «слово», «синтагма», «предложение», лингвист должен стремиться

---

[18] См. об этом: И. И. Ревзин, Некоторые замечания о методах введения лингвистических терминов в лингвистику, сб. «Славянска лингвистична терминология». I, София, 1962.

[19] В этой связи нельзя не согласиться с мыслями, высказанными о соотношении новых и старых методов в лингвистике П. С. Кузнецовым (см. отчет о его выступлении в сб. «Теоретические проблемы современного советского языкознания», стр. 156).

к тому, чтобы соответствующие единицы самим определением однозначно выделялись в тексте.

Необходимо отметить, что принцип операционности вовсе не требует исходить только из наблюдаемых объектов (например, из совокупности текстов, как это принято в дескриптивной лингвистике). В последнее время выяснено, что весьма плодотворны представления, исходящие из формального задания некоторых абстрактных объектов, например грамматических категорий, и именно так и поступают в теории порождающих грамматик [20]. При этом, однако, показательно, что происходит возвращение к таким понятиям, как, например, понятие «одушевленного существительного», которое было отброшено в дескриптивной лингвистике как неточное и «неформальное».

Таким образом, принятие принципа операционности вовсе не предполагает отрыв «новой» лингвистики от лингвистики традиционной. С другой стороны, именно отрыв методов абстрактного моделирования от лингвистической реальности часто приводит к нарушению этого принципа.

Приведем пример. В свое время явное провозглашение специфики структурного подхода к звуковой стороне языка способствовало выделению новой отрасли языкознания — фонологии, причем фонология явилась колыбелью целого ряда структурных методов, распространившихся на другие уровни языка (анализ оппозиций, понятие нейтрализации, принцип субституции и т. п.). Это был несомненный прогресс в науке о языке. Однако сейчас все более ощущается необходимость более тесной увязки фонологического и антропофонического аспектов в рамках единой науки. В самом деле, фонология неявно предполагает, что звуковой континуум уже сегментирован, выделены участки звучания, соответствующие фонемам, ибо те процедуры, которые предлагает фонология для сегментации (известные правила Трубецкого) [21], оказываются недостаточными для однозначного решения проблемы. Тем самым отсутствует и полное операционное определение фонемы.

Достаточно сослаться в этой связи на спор о системе фонем современного румынского языка, связанный с возможностью монофонематической и бифонематической сегментации палатализованных и дифтонгов [22], спор о трактовке дифтонгов в других романских языках [23], о фонологическом статусе дифтонгов и аффрикат в современном немецком языке [24]. Здесь решение соответствующих вопросов вряд ли возможно без привлечения новых физиологических представлений о синтезе речи [25].

Не может служить, по-видимому, аргументом в пользу разделения науки о языке и другой принцип структурной лингвистики, а именно принцип гомогенности, т. е. ограничения поля исследования однородными объектами. Этот принцип, послуживший поводом для целого ряда кривотолков и ма-

---

[20] См.: Р. Б. Лиз, О возможностях проверки лингвистических положений, ВЯ, 1962, 4, стр. 51—53.

[21] Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 62—71, см. также: F. Hintze, Zur Frage der monophonematischen Wertung, «Studia linguistica», IV, 1—2, 1950; A. Martinet, Un ou deux phonèmes, AL, I, Copenhague, 1939.

[22] См.: Al. Rosetti, Considerații asupra sistemului fonologic al limbii romîne literare, «Studii şi cercetări lingvistice», VIII, 1, 1957, стр. 45 и сл.; E. Petrovici, La fonction phonologique des «diphtongues» roumanes *ea*, *ia* et leur rapport avec les phonèmes consonantiques palatales, «Revue linguistique», I, 1956.

[23] L. Tamas, Du système phonologique de la langue roumaine, «Recherches sur les diphtongues roumaines», Bucarest, 1959, стр. 70—71.

[24] N. Morciniec, Zur phonologischen Wertung der deutschen Affrikaten und Diphtonge, «Zeitschr. für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft», 11, 1, 1958.

[25] См.: Л. А. Чистович, Текущее распознавание речи человеком, сб. «Машинный перевод и прикладная лингвистика», М., 1961 — 6, 1962 — 7.

лооправданных обвинений, на самом деле имеет ценность только в том случае, когда исследование ведется внутри определенной уже сконструированной модели. Но когда ставится основной вопрос лингвистической теории моделей, а именно вопрос о соотношении модели с лингвистической реальностью, этот принцип теряет всякий смысл, поскольку должны учитываться все факторы — как внутрилингвистические, так и экстралингвистические, как синхронные, так и диахронные.

Больше того, требование того, чтобы лингвистические модели обладали «объяснительной силой», естественно приводит к необходимости привлекать к рассмотрению факты истории языка, а тем самым обращаться к принципу причинности. Огромное общетеоретическое значение имеет тот вскрытый в последнее время факт, что модель, построенная на основе чисто синхронных соображений с привлечением лишь требований операционности, простоты и экономности, дает такое расслоение материала, при котором ранее порождаются явления, как правило, соответствующие более древним фактам языка [26]. Выяснилась связь между этими представлениями и методом внутренней реконструкции в сравнительно-историческом языкознании [27]. Но очевидно, что соответствующие факты истории языков необходимо внимательно изучать и осмыслять, а это вряд ли возможно, если рассечь лингвистику пополам.

Существенно и другое соображение. Структурные методы предполагают определенное упрощение языковой действительности. На этом пути достигаются достаточно важные результаты. Так, например, в дескриптивной лингвистике, ограничивающей сферу деятельности исследователя только встретившейся ему «совокупностью фраз» («unverse of discourse», по терминологии Харриса), достигнуты большие успехи в разработке методов дистрибутивного анализа как в фонологии, так и в морфологии и синтаксисе. Однако уже неоднократно отмечалось, что дескриптивизм есть лишь последовательное осуществление тех же позитивистских тенденций, которыми воодушевлялись младограмматики. И так же как младограмматизм должен был быть преодолен для дальнейшего развития науки о языке, приемы и методы дескриптивной лингвистики (представляющие, разумеется, гораздо более высокую степень формализации) оказались недостаточными. Как известно, на смену дескриптивизму в настоящее время приходит теория порождающих грамматик Хомского и его последователей. Общеизвестны успехи, достигнутые на этом пути, тесная связь математической теории порождающих грамматик с такими самыми новыми отраслями математики, как теория автоматов, теория алгоритмов и теория рекурсивных функций [28].

Менее заметно то обстоятельство, с которым не может не считаться лингвистическая теория моделей, а именно — что теория порождающих грамматик возвращает нас к старой, идущей еще от Гумбольдта традиции

[26] См., например А. А. Зализняк, О возможной связи между операционными понятиями синхронного описания и диахронией, «Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов», М., 1962, стр. 56; M. Halle, On the role of simplicity in linguistic descriptions, «Structure of language and its mathematical aspects», Providence, 1961.

[27] В этой связи странным представляется высказывание Ф. П. Филина в статье 1965 года о том, что «проблема перевода с одного языка на другой... не может быть решена при помощи, скажем, сравнительно-исторического метода». Как раз в результате глубоких исследований ряда ученых и в первую очередь В. В. Иванова стала складываться общая теория, формализующая как методы машинного перевода, так и задачи внутренней реконструкции; см.: В. В. Иванов, Лингвистика как теория отношений между языковыми системами и ее современные практические приложения, сб. «Лингвистические исследования по машинному переводу», 2, М., 1961.

[28] См.: И. И. Ревзин, [рец. на кн.:] S. Marcus, Gramatici şi automate finite, ВЯ, 1965, 1.

противопоставления языка как речевого материала и языка как процесса [29]. Больше того, вся совокупность понятий, используемая в теории порождающих грамматик, очень близка к традиционной (особенно это ясно при анализе идей трансформационной грамматики, которая пользуется такими же смысловыми критериями, что и традиционная грамматика). Это отнюдь не означает, что теория порождающих грамматик не вносит ничего нового, скорее наоборот, ее успех обеспечивается гораздо большей связью с существующей грамматической традицией, чем это имело место в дескриптивной лингвистике. Однако для плодотворного синтеза структурных и традиционных идей необходимо гораздо более глубокое проникновение в те вопросы, решение которых необходимо для теории порождающих грамматик и уже подготовлено в «традиционной» грамматике.

В качестве примера можно привести вопрос о «грамматической правильности», или «отмеченности», фразы, ставший одним из кардинальных вопросов современной структурной лингвистики [30]. Этот вопрос не был столь актуальным для дескриптивной лингвистики, исходные фразы в ней просто считались заданными [31]. Но для теории порождающих грамматик, в которых исходным объектом является порождающий процесс, необходимо выяснить, какова степень соответствия между порождающими в модели фразами и языковой реальностью.

Между тем для достаточно богатого литературного языка понятие правильности неразрывно связано с понятием нормы, а отношение между нормой и языком плодотворно исследовалось [32] в теории литературных языков, в исторической стилистике и ряде других дисциплин, относящихся к традиционным областям «классического» языкознания.

Показательно, что до сих пор примеры, используемые в теории порождающих грамматик, целиком относятся к «нормированному», литературному языку и больше того — не выходят за рамки довольно простых случаев, приводимых в школьных грамматиках (единственным новшеством является введение в рассмотрение таких построенных по аналогии фраз, как «идея яростно спит» [33]).

Между тем для того чтобы модель обладала объяснительной силой, она должна производить как «литературные», так и «разговорные» фразы, больше того, она должна объяснить тенденции, проявляющиеся в живой диалектной речи.

Любой «традиционный» лингвист понимает, что включение в рассмотрение диалектного материала, а главное привлечение опыта диалектологов, работающих с информантами «в поле», показало бы, что понятие грамматически правильного предложения нуждается в значительной модификации, ибо сама предпосылка, что любой говорящий различает правильно построенные фразы от неправильных, не всегда соответствует реальности. Такая модификация в свою очередь дала бы возможность строить более гибкие модели. Не случайно целый ряд модельных понятий — таких, как

---

[29] Характерно, что эта теория возвращается и к объяснению фактов истории языка, осуществляя — на новой основе — единство синхронии и диахронии, характерное для всей предшествующей традиции.

[30] Ср. хотя бы американскую дискуссию о «правильности», отраженную в ВЯ, 1962, 4.

[31] Таково же положение в теории так называемых теоретико-множественных моделей языка; см.: О. С. Кулагина, Об одном способе определения грамматических понятий на базе теории множеств, «Проблемы кибернетики», 1, М., 1958.

[32] Речь идет, разумеется, не о не-лингвистической проблеме «дифференциальных» признаков «национального» языка, как она описывается в статье Ф. П. Филина 1965 года, а о конкретных исследованиях.

[33] Ср., однако, еще более абстрактный пример с «глокой куздрой», приведенный еще Щербой.

«самовставление» (self-embedding), «рамка» типа *если..., то* и т. п., призванных доказать неприменимость тех или иных моделей, возникло на основании анализа явлений, свойственных в первую очередь именно нормированному языку.

Обращение к диалектологии, к социальной диалектологии [34] и истории литературного языка несомненно обогатило бы и проблематику трансформационных моделей, в которой до сих пор исследуются лишь наименее интересные случаи грамматической синонимии и омонимии. И здесь отрыв теории моделей от традиционной проблематики был бы вреден в первую очередь для самой теории моделей.

Упрощение необходимо, разумеется, на первых этапах моделирования, и здесь выделение специальной отрасли знания со своими понятиями и методами вполне оправдано. Но в дальнейшем нужно обратное движение, ведущее к синтезу обоих направлений. Так, при предельном упрощении возникает возможность построения единой модели, объясняющей все явления, начиная с фонетических и кончая синтаксическими (или, может быть, при крайнем упрощении — и семантическими). Но сопоставление с языковой реальностью показывает явную специфику явлений фонологии, словоизменения и словообразования (различение этих понятий, имеющее плодотворную традицию, чрезвычайно существенно для моделирования), синтаксиса словосочетания, простого предложения, сложного предложения и сложного синтаксического целого. Учет специфики всех этих аспектов требует сочетания синтагматических представлений с парадигматическими, отражающими системные отношения в языке и до сих пор недостаточно учитывающимися в теории Хомского [35]. Каждый из этих аспектов разрабатывался в лингвистике (не требуя — несмотря на всю их специфичность — разделения на разные науки), и было бы нецелесообразно отрывать теорию моделей от всех этих направлений.

Больше того. Рассмотрение фактов социальной диалектологии показывает, что моделирование языкового поведения человека [36] стоит перед проблемой создания таких схем, в которых возможно переключение с одной модели порождения на другую в зависимости от условий общения.

Но такая связь с живой лингвистической реальностью необходима и по другим направлениям. Дело не только в том, что до сих пор в теории моделей привлекаются только факты, соответствующие нормам данного литературного языка, но и в том, что круг рассматриваемых языков чрезвычайно узок. В этом отношении теория порождающих грамматик явно в худшем положении, чем теория дескриптивной лингвистики, применявшаяся к довольно разнообразным языкам. Построения теории порождающих грамматик оказываются далеко не универсальными (а при той высокой степени абстракции, которая может быть достигнута в этой теории, стремление к универсальности необходимо). Оказалось, что метод порождения по непосредственным составляющим, разработанный на материале английского языка с его довольно специфическим порядком слов, нуждается в существенной модификации при применении этого метода, например, к славянским языкам [37].

---

[34] К сожалению, эта отрасль, плодотворно исследовавшаяся у нас в 20-е годы в работах Е. Д. Поливанова, Л. П. Якубинского и позднее В. М. Жирмунского, сейчас предана почти полному забвению.

[35] Необходимо отметить стремление отразить парадигматические отношения в «аппликативной модели», предложенной С. К. Шаумяном.

[36] Эта задача, разумеется, выходит за рамки теории порождающих грамматик, поскольку предполагает создание моделей говорящего и слушающего, но именно такие модели и представляют цель современных поисков в структурной лингвистике.

[37] См. об этом: Д. С. У о р т, Об отображении линейных отношений в порождающих моделях языка, ВЯ, 1964, 5. Показательно, что для русского языка М. И. Белец-

Тем бóльших результатов можно ожидать от сравнения аппарата моделей с языками, типологически далекими от индоевропейских. Так, аппарат теории трансформации (в том виде, в каком он разработан сейчас) актуален для языков с более или менее четким различением формообразования и словообразования, что делает затруднительным, а главное — малоинтересным его применение к языкам типа малайско-полинезийских. Таким образом, для лингвистической теории моделей языка составляет непосредственный интерес развитие далеко идущих типологических исследований.

Правда, типологическая проблематика в настоящее время в основном развивается представителями «новых» направлений. Больше того, традиционная типологическая проблематика может быть истолкована как сравнение языков с некоторой идеальной моделью, а именно — с абстрактным языком, в котором каждое значение (как лексическое, так и формальное) выражено отдельной морфемой — на этой основе вполне могут быть объяснены обычные типологические схемы. И здесь нельзя не учитывать, что в типологии языков накоплен богатейший материал (в частности, большой общелингвистический интерес представляют советские работы 20—40-х годов [38]), и без его использования, по-видимому, трудно двигаться дальше.

Таким образом, даже в таких областях, где моделирование языка имеет наибольшие успехи, а именно в фонетике и грамматике, отрыв новых направлений и методов от «традиционных» крайне нежелателен как с «новой», так и с «традиционной» точки зрения.

Однако если в области фонетики и грамматики отрыв структурных методов от неструктурных еще может быть в какой-то мере оправдан возникновением целого ряда специальных проблем, связанных с высокой степенью достигнутых здесь абстракций (хотя, как мы видели, такой отрыв начинает отрицательно сказываться и на таких исследованиях), то в области изучения смысловой стороны языка или, как иногда говорят, плана содержания, традиционное языкознание обладает не только гораздо более богатой проблематикой, но и опирается пока что на гораздо более систематически проведенные исследования (в сущности структурное изучение плана содержания делает лишь первые шаги и, например, в области семасиологии не может предложить ничего, что можно было бы сравнить по результатам даже с младограмматическими работами, не говоря уже о возникшей в лоне традиционной лингвистики теории «семантического поля» Трира).

Структурные идеи, относящиеся к анализу плана содержания, в основном распространяются на анализ грамматических категорий (здесь соответствующие методы оказываются полезными, причем исследование различной категоризации действительности языком ничего общего не имеет с «карнаповщиной», как ошибочно полагает Г. П. Сердюченко [39]). Что касается плана содержания в лексикологии, то здесь значительные результаты достигнуты лишь в тех случаях, где оказалось возможным применить методы, проверенные в синтаксисе — дистрибуционный и трансформационный [40], в остальном же структурные методы почти не разработа-

ким построена совершенно новая модель порождения, где основную роль играет понятие управления; см.: М. И. Белецкий, Модель русского языка, описывающая простые предложения без однородности, «Научно-техническая информация», 1964, 7.

[38] Ср. замечания М. М. Гухман в ее статье «Социология языка» (сб. «Теоретические проблемы современного советского языкознания», стр. 128—131).

[39] Г. П. Сердюченко, О некоторых философских вопросах советского языкознания, сб. «Теоретические проблемы современного советского языкознания», стр. 127.

[40] Хорошее представление о состоянии структурных исследований в этой области дает статья: Ю. Д. Апресян, Современные методы изучения значений и некоторые

ны и могут успешно развиваться лишь на основе учета предшествующей традиции. Необходимость анализа смысловой стороны языка именно структурными методами настоятельно диктуется не только внутренними потребностями лингвистики, но и теми практическими приложениями, которые дали столь мощный импульс для развития методов моделирования.

Сейчас многие специалисты в области машинного перевода и построения логико-информационных машин не без основания полагают, что полноценный машинный перевод невозможен без привлечения семантических характеристик текста. Если раньше в этой области считалось достаточным формальное изучение грамматических свойств языка, то теперь ставится вопрос о формализации процесса «понимания» текста — процесса, основанного в первую очередь на семантических характеристиках слов и выражений языка.

В связи с этим особое значение приобретает проблема составления «тезаурусов», т. е. словарей, в которых слова разбиты на смысловые категории. Эта проблема, имеющая длительную лексикографическую традицию, не может решаться на пустом месте. Хотя очевидно, что новые задачи требуют гораздо более формального подхода.

В анализе семантики также ясно ощущается то обстоятельство, что разделение лингвистики на внешнюю и внутреннюю, бывшее несомненно плодотворным в начале разработки структурных методов, постепенно становится все бóльшим тормозом, если это разделение понимать догматически, как раз навсегда данное.

Попытки ограничиться (хотя бы в рамках теории моделей) только внутреннелингвистическими факторами, сведя проблему семантики к проблеме перевода с одного языка на другой [41], оказываются недостаточными. В частности, при такой постановке вопроса не могут быть решены проблемы синонимии и омонимии, а теория, не дающая решения этих основных семантических вопросов, не может быть признана удовлетворительной.

Не только основные вопросы языкознания, но и некоторые специальные вопросы теории моделей не могут быть решены при той абстракции, когда язык полностью отрывается от человека, использующего этот язык.

Характерно, что в последнее время представители структурного направления все более остро ощущают необходимость такого изучения языка, в котором язык явно связывается с его носителем. В этом смысле показательны высказывания Р. Якобсона о том, что «попытки построить модель языка безотносительно к говорящему или слушающему угрожают превратить язык в схоластическую фикцию» [42]. Недаром идеи моделирования стали применяться к языку именно в связи с попыткой понять некоторые практические операции, совершаемые человеком над языком (например, в процессе перевода).

Поэтому особое научное значение имеют те модели, которые формализуют процессы использования языка человеком. А это означает, что лингвист, сколь абстрактными моделями он бы ни занимался, не может не опираться на опыт тех направлений в языкознании, которые стремились конкретно отразить связь языка с его носителем.

проблемы структурной лингвистики, «Проблемы структурной лингвистики», М., 1963.

[41] См. формулировку этой точки зрения в содержательной работе С. Я. Фитиалова «О моделировании синтаксиса в структурной лингвистике» («Проблемы структурной лингвистики», М., 1962, стр. 101).

[42] R. Jakobson, Linguistics and communication theory, «Structure of language and its mathematical aspects», стр. 250.

Особенно важной теоретической и практической проблемой лингвистики становится в настоящее время осмысление того, каким образом происходит процесс обучения человека языку [43].

Речь идет здесь не только об обучении родному языку, но и об обучении иностранным языкам, как одном из важнейших народнохозяйственных приложений языкознания [44]. Кстати заметим, что, к сожалению, и «структурные», и «традиционные» теоретики, как правило, свысока относятся к этой важной сфере приложения языкознания и тем самым порывают с плодотворной традицией советского языкознания, связанной с такими именами, как Е. Д. Поливанов и Л. В. Щерба (нельзя не признать, что забвение идей Щербы отрицательно сказывается на разработке принципов методики преподавания иностранных языков [45]).

Решение указанной задачи требует смелых новых идей в освещении такой «внешнелингвистической» проблемы, как соотношение языка и мышления. Здесь необходимы новые гипотезы, основанные на хорошо поставленных психологических экспериментах, связанных с обучением языку (некоторые попытки в этом направлении намечаются в работах Н. И. Жинкина у нас и Леннеберга за рубежом). Ясно, что решение этой проблемы требует сочетания кибернетического подхода, применяемого в теории моделей языка, с богатой лингвистической традицией, накопившей значительный, хотя и не всегда хорошо систематизированный материал.

Здесь может оказаться весьма полезным и рассмотрение другой «внешнелингвистической» проблемы, а именно соотношения языка и литературы.

Уже неоднократно указывалось на ту пользу, которая может быть извлечена из тесного контакта лингвистики с поэтикой, поскольку в поэзии многие особенности слова проявляются наиболее рельефно, в частности не только грамматические категории, но и лексические категории («дифференциальные признаки слов»), с трудом выявляемые внутри лингвистики, отчетливо выступают в художественном образе (в первую очередь — в так называемых тропах). По-видимому, одна из причин общего отрицательного отношения к традициям так называемой «формальной школы» 20-х годов состоит в том, что эта школа выступала против общепризнанной истины о том, что искусство есть мышление образами. Так, В. Шкловский противопоставил этому утверждению свою концепцию, в которой очень важную роль играло понятие «остранения», или «вывода вещи из автоматизма восприятия» [46]. Термин «остранение», нигде автором более точно не определенный, вводимый лишь путем демонстрации примеров, означает примерно следующее: им обозначается особенность поэтического построения, состоящая в том, что автоматическая (или бессознательная) связь между знаком и обозначаемым, стертая или скрытая в повседневном языке, разрывается и тем самым становится явной. Примечательно, что при такой формулировке нет существенной грани между некоторыми особенностями процесса развития науки, а именно когда новая система понятий, требуемая практикой, проясняется путем сопоставления научных понятий с ситуациями, описываемыми в естественном языке, и теми приемами, которые В. Шкловский описал термином «остранение».

---

[43] Недаром один из основных специалистов в области моделирования языка Н. Хомский подчинил этой проблеме все остальные проблемы языка в своей статье «Лингвистика, логика, психология и вычислительные устройства» (сб. «Математическая лингвистика», М., 1964).

[44] Ср. выступление А. А. Леонтьева (сб. «Теоретические проблемы современного советского языкознания», стр. 158).

[45] См. об этом: И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг, указ. соч., стр. 35—40.

[46] В. Шкловский, Искусство, как прием, «Поэтика. Сборники по теории поэтического языка», [3], Пг., 1919, стр. 106 и сл.

Разница между научным, художественным и обыденным (использующим повседневный язык) мышлением еще недостаточно исследована, но дело, по крайней мере — отчасти, в том, что интуитивная сторона научного мышления составляет лишь подготовительный этап, результаты которого получают строго логическую формулировку, в то время как в художественном мышлении закрепляется в системе образов именно интуитивная сущность процесса мышления. Чисто логическое мышление может быть приведено в такую форму, когда задача решается методом перебора. В последнее время выяснилось, однако, что решение многих сложных задач, стоящих перед человеком в его практической деятельности, и в первую очередь ряд задач, связанных с использованием языка, не может быть достигнуто методом перебора в связи с тем, что число анализируемых возможностей слишком велико. Дальнейшее развитие семиотики и кибернетики может затормозиться, если уже сейчас не будут начаты эффективные поиски других методов решения задач, чем метод перебора. Человек решает свои задачи при помощи интуиции, и именно в естественном языке и в построенной на его основе художественной речи можно надеяться вскрыть эти принципы. Для этого надо не только отказаться от безуспешных попыток установления логико-грамматического изоморфизма (в этом утверждении, разумеется, нет «стремления... алогизировать язык», которое, как считает Е. М. Галкина-Федорук, «исходит из отрицания возможности познания действительности и отрыва языка от мышления» [47], — пора бы вообще отказаться от бесплодных обвинений в «отрыве» и «отрицании»), необходимо найти формальные средства описания языковой интуиции. Как указал В. В. Иванов, имеется тесная связь между трансформационным и теоретико-информационным подходом к мере гибкости текста, и для изучения этой связи весьма плодотворно семиотическое изучение проблем поэтики [48].

Мы приходим, таким образом, к общему выводу о том, что в настоящее время более чем когда-либо необходимо единство языкознания и в первую очередь взаимное обогащение «новых» и «старых» отраслей и направлений. Эта необходимость диктуется следующими соображениями.

1. Структурные идеи оказываются плодотворными во многих отраслях языкознания и смежных областях, которые несомненно относятся к кругу интересов «традиционной» лингвистики (диалектология, теория перевода и теория контактов, поэтика и анализ языка художественной литературы и т. п.), и изоляция «традиционной» лингвистики от структурной вряд ли поможет первой.

2. Структурные методы связаны с высокой степенью абстракции, с моделированием, т. е. с идеализацией исходного материала, анализ соответствующих абстракций может быть произведен лишь на основании той совокупности фактов, которую представляет соответствующая отрасль «традиционной» лингвистики.

3. Структурные методы возникли не на пустом месте, они являются логическим продолжением тех представлений, приемов и методов, которые возникали в языкознании за все время его развития [49], причем до сих пор формализованы в терминах структурной лингвистики лишь немногие из важных идей «традиционной» лингвистики; для дальнейшего

[47] Е. М. Галкина-Федорук, О форме и содержании в языке, сб. «Мышление и язык», М., 1957, стр. 401.

[48] Вяч. Вс. Иванов, Некоторые проблемы современной лингвистики, «Народы Азии и Африки», 1963, 4, стр. 175.

[49] Показательная в этом отношении работа В. Н. Топорова «О некоторых аналогиях к проблемам и методам современного языкознания в трудах древнеиндийских грамматиков» («Краткие сообщения Ин-та народов Азии [АН СССР]», LVII — Сборник памяти Ю. Н. Рериха, М., 1961, стр. 130 и сл.).

прогресса самой структурной лингвистики обязательно необходимо сохранение преемственности с предшествующими направлениями.

4. Структурная лингвистика выдвигает определенные гипотезы о структуре языка, которые должны проверяться экспериментально. Важнейшим лингвистическим экспериментом, поставленным самим развитием человеческого общества, является история языка, т. е. та область, в которой «традиционное» языкознание достигло наибольших успехов.

5. Прогресс структурной лингвистики обусловлен ее связью с практическими приложениями как новыми (например, машинный перевод, анализ и синтез устной речи, системы информационного поиска и накопления), так и старыми (например, обучение языку). Большинство этих приложений требует глубокой разработки семантических проблем. Структурная лингвистика лишь подходит к разработке соответствующих проблем, между тем как «традиционная» лингвистика накопила богатый материал по изучению связи содержательной (смысловой) и формальной стороны языковых явлений.

Уже неоднократно подчеркивалось, что сегодня нужно противопоставить известному афоризму Соссюра старое утверждение, что объектом языкознания является язык во всех аспектах использования языка человеком.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1965

Ю. В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

О СОВРЕМЕННОМ СТРОЕНИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

I. Когда говорят о современном строении языкознания, на ум прежде всего приходят названия отраслей исследования, научных направлений, школ, отдельных работ и имена ученых: сравнительно-историческое языкознание, синхроническая и диахроническая типология, трансформационная грамматика, дескриптивная лингвистика, глоссематика, этнолингвистика, советская типологическая школа, русская школа востоковедной лингвистики, московская и ленинградская фонологические школы, функционализм, неогумбольдтианство, философия языка и т. д. Исследование взаимоотношений отраслей и направлений, скрещения и смешения взглядов и идей необходимо, если мы хотим знать прошлое и настоящее лингвистики. Однако сейчас нас интересует так называемый эмпирический подход к проблеме.

II. Принято считать, что для эмпирического исследования необходимо прежде очертить границы предмета. Со стороны «вещной», предметной языкознанием может считаться совокупность высказываний (рукописных, печатных и устных материалов), смысл и содержание которых относится к строению и функционированию языка. Однако не все высказывания, где речь идет о строении и функционировании языка, могут считаться принадлежащими к языкознанию. Так, многие бытовые или публицистические высказывания о языке, равно как и теоретические высказывания о языке в логике, психологии, теории литературы и других науках не принято было до сих пор относить к языкознанию. Из высказываний о языке к языкознанию относят только такие, которые связаны между собой по содержанию определенной лингвистической теорией или теориями [1].

Таким образом, предмет языкознания ограничен, в конечном счете, не только объектом — языком, но и способом его рассмотрения. Если считать, что языкознание, как всякая научная теория, имеет свое строение, то окажется, что внешние границы языкознания определены внутренним строением лингвистической теории. Отсюда: если изменяется внутреннее строение лингвистической теории, определенным образом меняются и границы этой науки.

III. Внутреннее строение языкознания совсем не представляется лингвисту чем-то раз и навсегда разложенным по классификационным полкам; во-первых, все новые исследования дают телу науки приращения и меняют его структуру, во-вторых, строение языкознания предстает перед исследователями всякий раз особым образом в свете их собственных задач. Сказанное может объяснить законную неясность общего строения языкознания. Так сказать «объективное» строение этой науки может быть выявлено, если, предположим, вместо конкретных исследовательских тем

[1] Как видно из словоупотребления, мы не проводим здесь строгого терминологического различия между наукой и научной теорией. Это различие несомненно существует. Но проведение этого различия — предмет особого методологического исследования, не относящегося к специальной области лингвистики.

языковедам будет задан вопрос: как устроено языкознание в свете всех возможных тем? Тогда желаемый ответ будет рассказом об объективном строении языкознания. Естественно, что ответ на этот вопрос будет разным на каждом этапе развития науки.

Для ответа мы располагаем объективными данными двух родов: а) строение терминологии современного языкознания, б) сравнение различных описаний истории языкознания, в которых эта наука представляет самое себя.

IV. Рассматривая терминологию современного языкознания, прежде всего, можно убедиться в том, что в нем существует не одна, а две системы терминов [2]. Существует система терминов, фиксирующая как бы «предметные» области знания. Например, *общая и частные грамматики*, *фонология*, *лексикография*, *семасиология*, *сравнительная грамматика*, *сравнительная фонология*, *диалектология*, *этимология*, *лингвистическая география*, *стилистика*, *лингвистическая типология*, *дешифровка* и т. д. Все эти термины имеют содержание, как бы противостоящее терминам другой системы: *вариант*, *инвариант*, *единица*, *уровень*, *система*, *несистемность*, *анализ*, *порождение*, *норма*. Условно назовем первую систему терминов предметной, а вторую — методической.

Две системы терминов противостоят друг другу хотя бы потому, что могут быть применены к одним и тем же лингвистическим явлениям. Так, при анализе звуков языка можно говорить о фонетике этого языка (предметная система) и о фонологическом уровне (методическая система); рассматривая произношение звука, можно говорить о комбинаторных изменениях в звучании (предметная система) и о дистрибутивных вариантах фонем (методическая система). Можно, пожалуй, утверждать, что практически о любом лингвистическом явлении в современном языкознании говорят с использованием двух терминологических систем. Отсюда естественно напрашивается вопрос: не является ли излишней одна из систем терминов?

V. Для ответа на этот вопрос надо установить, не используются ли обе эти системы терминов для обозначения разных свойств одних и тех же явлений. Иначе, говоря словами некоторых знаковых теорий, здесь может быть описание одного и того же денотата разными концептами. Если это не так, то две системы терминов не нужны. Если концепты различны, тогда наука сделала большое движение вперед, существенно углубив свои понятия.

А. Отметим прежде всего, что по характеру применения терминологических систем в массе современных сочинений ясно выделяются три рода работ: 1) работы, использующие только предметную систему терминов; 2) работы, использующие одновременно и предметную и методическую системы; 3) работы, использующие только (или преимущественно) методическую систему и привлекающие предметную систему лишь для иллюстраций. Удельный вес разных родов работ неравномерен, основная масса приходится на второй род работ, меньше всего работ третьего рода.

Интересно, что наблюдается весьма точное соответствие между терминологическими системами и тематикой работ. Работы, использующие только предметную систему терминов, описывают только состояния или историю конкретных языков и никогда не описывают общих, присущих

[2] Здесь необходимо сделать одну важную оговорку: когда в статье говорится о двух системах терминов, имеются в виду те и только те работы, где язык рассматривается как средство общения. Это важно потому, что в работах, где язык рассматривается, например, как орудие культуры, как орган мысли и т. п., часто встречается терминология совершенно иного рода, не касающаяся наших двух систем.

всем языкам закономерностей. Работы второго рода в основной массе занимаются той же тематикой и лишь так или иначе касаются общих свойств языка. Работы, исполненные только в методической терминологии, посвящены исключительно исследованию общих свойств языка как средства общения безотносительно к его местной или текстовой характеристике.

Б. Рассмотрим теперь случаи, когда две системы терминов действуют совместно. В китаеведной литературе звучание *ђ* может быть названо следующими именами: *звук ђ*, *фонема ђ*, *единица фонологической системы ђ*. Описывая слог *ђађ* «сумма», можно сказать: «на первом месте в этом слоге находится звук *ђ* (или фонема *ђ*, или единица фонологической системы *ђ*)». Здесь разные термины называют одни и те же явления. В другом случае, как например: «звук *ђ* как единица китайской традиционной фонологической системы неравнозначен фонеме *ђ*», ни один из терминов не может быть изменен на другой именно из-за различия «концептов», так как термин *единица фонологической системы* покрывает собой и традиционное китайское структурно-функциональное деление на так называемые *инициали* и *рифмы* и традиционно-европейское: *фонологический анализ*. Любые другие «параллельно» употребляющиеся термины передают различие классов вещей и, следовательно, указывают на различие понятий. Любое описание, включающее одновременно предметную и методическую систему терминов, таким образом, отличается от описания того же явления, исполненного только в предметной системе терминов, тем, что явление описывается в первых из этих работ не с одной, а с двух различных сторон. Таким образом, можно утверждать, что две системы терминов используются для описания разных свойств одного и того же явления.

VI. О строении языкознания дают сведения двух родов курсы истории языкознания: а) изменение объема истории языкознания, б) общие признаки современной периодизации истории языкознания.

А. В содержании курсов истории языкознания за последние 30 лет произошел известный сдвиг. Со времени широкого распространения концепций младограмматиков история научного языкознания и, следовательно, языкознания как науки, велась от появления знаменитого «Предисловия» В. Гумбольдта и зарождения сравнительно-исторического метода. Античные учения о языке, античные грамматики, равно как универсальные грамматики относились к предыстории языкознания; описание диалога «Кратил» и грамматики «Port Royal» было включено в известный курс Томсена с такой оговоркой.

В настоящее время почти все современные курсы истории языкознания включают античность не в предысторию, а в историю языкознания, причем Панини и Платон вызывают особенно пристальный интерес. Такой сдвиг объема истории языкознания не может быть случайным, ибо история языкознания и современная лингвистика оказываются тесно связанными в отношении своего объема и содержания: идеи, высказанные в прошлом, потому и сохраняются историей, что они нужны для настоящего и будущего.

Включение в историю языкознания учений античности и идей универсализма и рационализма прямо совпадает с зарождением структурализма. Еще Соссюр восстановил в правах универсальную грамматику, указав на ее «здравость». Между так называемым структурализмом и античностью есть прямая и неоднократно указывавшаяся связь (внимание к проблемам лингвистического метода, описание операций, производимых лингвистами над языком; эти операции как профессиональное занятие, как особый род деятельности впервые представлены в античной грамматике).

Б. Помимо расширения объема истории языкознания, чрезвычайно любопытна его современная периодизация. Уже из перечня терминов, используемых для периодизации (*психологизм*, *натурализм*, *младограмматики*, *московская и казанская школы* и т. п.) видно, что речь идет не о хронологии в чистом виде, а о так называемой «преемственности идей». Несмотря на очень большое разнообразие частностей в периодизации, ни один современный курс или пособие не может обойтись без следующих четырех фундаментальных разбиений.

1. Античное языкознание: специально разбирается время и способы выявления лингвистических единиц (*слово*, *фонема* — звук речи, *предложение*, *падеж* и т. д.). Попутно иногда характеризуются философские концепции античности.

2. Рациональная грамматика: специально выделяются проблема универсальности и всеобщности основных элементов языкового строя, а также связь лингвистики с логикой, к которой в отличие от прошлого относятся с уважением.

3. Сравнительно-исторический метод: специально выделяется принцип системного сравнения языков как способ доказательства языкового родства. Здесь же иногда разбирается зарождение типологии.

4. Современное языкознание: последнее проводится как рассмотрение ряда школ и направлений, существующих в настоящее время [3], при этом все разные направления описываются либо как присоединяющиеся к Ф. де Соссюру полностью или частично, либо как критикующие его.

Из современной периодизации истории языкознания следует, что она в настоящее время производится под углом зрения методической системы терминов и фактически обслуживает ее введение. Таким образом, с точки зрения объема и тематики работ, способов применения терминологических систем и их содержания, и формы представления истории языкознания методическая система терминов органически встроена в тело современного языкознания и не может быть оттуда изъята.

VII. В связи с изложенным возникает вопрос: если современное языкознание с точки зрения внутреннего строения представлено не одной, а двумя системами терминов, то каков его объем?

Объем языкознания может быть понят как сфера приложения всех терминов предметной системы, с одной стороны, и всех терминов методической системы, с другой.

Совпадут ли эти два объема? Для ответа на этот вопрос есть следующие возможности: а) сравнить объекты научного наблюдения, которые уже интерпретируются или могут быть интерпретированы двумя системами терминов; б) сравнить характер понятий в разных системах.

Предметная система терминов охватывает собой устный разговорный язык города и деревни, письменный литературный и диалектные формы в основном в той части, где происходит повседневное общение. Предметная система терминов мало что говорит, например, о языках науки и о языках специальных производственно-экономических сфер, совершенно не затрагивает их специфические формы: чертежи, схемы, символику.

Методическая система терминов претендует на всю ту сферу объектов, которая в конечном счете может быть покрыта понятием единицы структурно-функциональной делимости, важнейшим признаком которой являются вариантно-инвариантные отношения. С самого начала ясно, что эта сфера объектов не только целиком включает в себя сферу объектов предмет-

[3] Понятно, что могли бы существовать и иные способы представления истории лингвистики, где не было бы этих этапов вообще. Однако во всех курсах, где проводится более тонкая классификация, она являет собой лишь различные детализации указанной классификации и различается частностями, а не в целом.

ной системы терминов, но и далеко выходит за ее пределы. Сферой методической системы терминов является по сути дела все, что может быть ими описано. К числу таких объектов относятся все без исключения сферы и материалы общения, а также некоторые явления, относящиеся к естественным наукам (в частности, термины *вариант*, *инвариант*, *уровень*, *единица*, *система*, *структура* применяются в биологии примерно в том же значении, что и в лингвистике).

Отсюда следует, что методическая система терминов описывает явления, принадлежащие к гораздо более обширной сфере, чем предметная система терминов. Существование методической системы терминов как бы позволяет выйти за рамки изучения собственно «естественного» языка и проанализировать языки науки, системы искусства, прочие знаковые системы. С другой стороны, представители других наук, не-лингвисты, также стремятся испробовать на своем материале принципы структурно-функционального анализа, применяемые в лингвистике.

Это показывает, что в настоящее время методическая система терминов принадлежит к сфере описания так называемых естественных языков, так сказать, по своему происхождению. По нашему мнению, методическая система терминов в какой-то мере может быть сопоставлена с такими терминами, как *закон*, *движение*, *форма*, *развитие*, *изменение* и т. п. [4]

VIII. Выше утверждалось, что и методическая и предметная системы способны назвать одни и те же явления. Однако терминам предметной системы — *фонетика*, *лексикология* и *грамматика* (они различаются между собой только «планами» исследования языка) — непосредственно сопоставить наиболее близкие им термины методической системы, т. е. термины уровней, не удается. Термин *уровень* при таком сопоставлении как бы раздваивается. В классическом, ельмслевском понимании уровней фонологический уровень по объектам совпадает с фонетикой, морфемный уровень (морфологический уровень) по объектам совпадает с лексикологией и частью грамматики (морфологией); так же будет со всяким следующим уровнем. Короче, иерархия уровней, как об этом и писал Ельмслев, нарушает деление по «планам».

Не без влияния предметной системы терминов созданы термины: *фонологический*, *грамматический* и *лексический* уровни, соотношение между которыми напоминает «планы», но в этом случае в исследовании на каждом из уровней ведущим является свой принцип оперирования, например, на фонетическом — дистрибуция, на грамматическом — трансформация, тем самым как бы нарушается операциональная гомогенность уровней, присущая им по изначальному определению.

В работах, оперирующих только методической системой терминов, вопрос о природной причинности языковых явлений не ставится, да и не может быть поставлен. Речь может идти и идет только о точности, экономности и системности описания. В работах, где применяется не только методическая система терминов, нередко говорится о причинности, изменении, движении в явлениях языка. Такие термины, как *причинность*, *изменение*, *движение*, явно принадлежат к иной сфере методологической науки, чем терминология методической системы лингвистики. Тем самым можно утверждать, что предметная система терминов допускает сопряжение с иными методическими терминами, помимо лингвистических.

[4] Можно утверждать, что современные науки стремятся выделить из себя теорию своего метода как самостоятельные научные дисциплины (причем это происходит не только в языкознании). К сожалению, нам не известны какие-либо серьезные методологические исследования в этом направлении. Поэтому лингвисты, например, не могут ясно осознать, что представляет собой их метод с точки зрения конкретной методологической теории.

Исходя из всего сказанного, можно утверждать, что предметная и методическая система терминов, характеризующие современную лингвистику, лежат в разных понятийных плоскостях и лишь скрещиваются в области объектов.

IX. Признание, что две системы терминов скрещиваются в области объектов, фактически равнозначно утверждению о существовании двух онтологических представлений, составляющих новое содержание современных лингвистических теорий. Две системы терминов и соответствующие им онтологии, скрещивающиеся в области объектов, создают в лингвистике в целом п а р а д о к с а л ь н у ю с и т у а ц и ю. Парадоксальной ситуацией мы называем такой этап развития науки, когда единая наука содержит две различные онтологии. Парадоксальные ситуации характерны для развития любой науки и могут подчас сохраняться длительное время. Можно утверждать, что парадоксальные ситуации есть форма и способ развития науки.

Парадоксальные ситуации в науке всегда представляли собой трудности только для административно мыслящих лиц, вызывая у них желание устранить одну из онтологий вместе с ее системой терминов.

Говоря о задачах науки, Ф. П. Филин например, пишет: «На первом месте здесь стоит развернутая оценка современных теоретических направлений в мировом языкознании, их достижений и недостатков, выяснение того, что из них должно быть нами использовано и что безусловно отброшено» [5]. Ф. П. Филин не только не оперирует методической системой терминов, он не рассматривает ее вовсе, третируя методическую систему терминов как «моду», как некоторую идеологическую надстройку над предметной системой терминов. Более того, методической системе терминов фактически дается квалификация как чуждой марксизму [6].

Иногда такое отношение переносится непосредственно в план политики: «Активизируется „новый" метод в языкознании: структурно-лингвистический. Он сразу начинает претендовать на монополию. Что это такое? Это тоже проявление сталинских приемов в решении научных вопросов» [7]. Политическому выводу, сделанному Г. П. Сердюченко, также предшествует идеологическая квалификация структурализма: «Это — кантианство, неокантианство, карнаповщина!» [8].

Подобные попытки политико-административного решения парадоксальных ситуаций в науке делались и прежде, и не только в языкознании, и всякий раз терпели неудачу. Для примера можно указать сборник «Против буржуазной контрабанды в языкознании» [М.— Л., 1932] и ИАН ОЛЯ, 1948, 6, где фактически делались попытки устранить политическим путем парадоксальную ситуацию, возникшую из-за сосуществования в нашем языкознании двух онтологий: марризма и сравнительно-исторического языкознания. Известно, что эта попытка ни к каким научным последствиям не привела, поскольку научные достижения, отрасли науки входят в культуру общества и как достояние культуры не могут быть устранены из жизни общества.

Вместе с тем, парадоксальная ситуация в языкознании порождена также и фундаментальными вопросами современной общественно-языковой практики, традиционно включающей три практические задачи. В свете этих задач попытки ликвидировать одну из онтологий представляются лишенными каких-либо оснований. Коротко остановимся на этих трех задачах.

1. О б у ч е н и е я з ы к у и н а я з ы к е. Методика обучения языку всегда зависела от лингвистического представления строя языка. В настоящее время особую важность приобретает также я з ы к о б у ч е н и я. Обучение так называемым «неязыковым» предметам (химии, физике, математике и т. д.), которое строится на языке, сейчас берет слишком много общественно необходимого времени. Отсюда возникает принципиально новый аспект этой задачи: как построить я з ы к о б у ч е н и я с тем, чтобы сэкономить время на освоение «языковых» и «неязыковых» предметов.

2. Я з ы к и н а у к и. В наше время терминологическая сфера языков гигантски разрастается; слова выглядят лишь незначительным привеском ко всей массе терминов. Вместе с тем, как неоднократно отмечалось, разные специальности говорят на разных, притом взаимонепонятных языках, хотя ряд понятий в различных отраслях знаний и производственной деятельности практически совпадает по своему содержанию. Актуальным поэтому стал вопрос: к а к н а д о с о з д а в а т ь т е р м и н ы и я з ы к и

[5] Ф. П. Ф и л и н, Заметки о состоянии и перспективах советского языкознания, ВЯ, 1965, 2, стр. 26.

[6] Там же, стр. 19, 22.

[7] Г. П. С е р д ю ч е н к о, О некоторых философских вопросах советского языкознания, сб. «Теоретические проблемы современного советского языкознания», М., 1964, стр. 126.

[8] Там же, стр. 127.

наук (в том числе и чертежи, схемы, символику и т. п.), ибо если не будут заданы правила создания терминов и символов, то невозможным окажется никакое упорядочение. Эта проблема связана с изменением самой структуры знаковых изображений науки, а следовательно, и форм научной мысли.

3. Национальные и межнациональные языки. Со времени своего создания национальные языки вступали в отношения с прежними межнациональными языками (такими, как латынь, классический китайский, классический арабский, санскрит, пали, кави и т. п.). Языки античной и средневековой учености отступали на второй план, в то же время возникали и возникают новые межнациональные языки, и общество в целом остается билингвальным В последнее время рост межнациональных языков весьма стремителен — не только в смысле распространения сфер общения, но и в смысле числа межнациональных языков. «Межнациональными» по сфере своей деятельности явно становятся языки науки и информативные языки (типа АЛГОЛ). Взаимоотношение национальных и межнациональных языков есть вместе с тем проблема наций и судеб национальной культуры на современном этапе.

Любопытно, что все эти задачи, прежде разрозненные, в наше время перестали быть отдельными участками практической работы языковедов и слились в одну общую задачу — задачу построения языковой формы. Это видно из того, что при обучении, при построении языков науки и при межнациональном общении на первое место выдвигается проблема строения языковой формы. Именно языковая форма должна обеспечить емкость в усвоении знаний и темпы обучения, цельность науки и удобство научного мышления, интернациональный характер средств общения.

Проблема языковой формы естественно выдвинута научно-техническим прогрессом, введением в общество новых средств и материалов общения. Уже печатный станок, создавший книжный язык, ввел новый материал и, придав этому языку определенные формы, знаменовал начало становления национальных языков. В наше время в переводных и информационных устройствах происходит особая машинная переработка языка. В этих машинах (пусть очень несовершенных и построенных пока еще без учета всех возможностей как техники, так и языка) язык обретает новый материал и новую форму.

X. Для разрешения парадоксальной ситуации, как показывает опыт языкознания и других наук, необходимо создание некоторой особой теории языка, выполняющей роль конфигуратора. Конфигуратором принято называть теорию, которая непротиворечиво объясняет предшествующие онтологии, содержит свою систему понятий и правила оперирования. Таким образом, парадоксальная ситуация современного языкознания как бы предсказывает дальнейшее развитие лингвистических исследований, равно как и дальнейшее направление научных поисков. Ниже очень фрагментарно, в качестве примеров, рассмотрим некоторые спорные вопросы науки, по нашему мнению, характеризующие дальнейшее направление научных поисков.

Сошлемся сначала на современную по идеям, хотя и вышедшую в 1929 г. книгу В. Н. Волошинова «Марксизм и философия языка», где сопоставляются идеи соссюрианства и школы так называемого «эстетического идеализма». Из этого сопоставления Волошинов развивает тот взгляд, что индивид формируется языковым процессом и что члены общества как биологические сущности есть не более как субстрат языкового процесса, имеющего свои не зависящие от индивидов закономерности. Соответственно мыслительная деятельность, представленная в языковом процессе как целом, не принадлежит индивидам, хотя и осуществляется, в частности, через них.

С другой стороны, та сфера исследований, которую принято называть «психолингвистикой», вместе с психологическим аспектом так называемой «теории моделирования» рассматривает способы действий индивида со знаком и обнаруживает ряд свойств знаков «естественных» и «искусственных» языков в их отношении к «индивидуально-психическим» процессам. Именно обнаружение разных свойств знаков в отношении к психическим процессам заставляет противопоставить взгляды Волошинова взглядам этого направления в следующей альтернативе:

1. Творится ли языковое мышление само по себе или оно творимо индивидами?

Для решения этой альтернативы, на наш взгляд, важно исследовать процессы семиозиса [9], тем более, что до сих пор имеет распространение тезис о произвольности и случайности связи звука и смысла в естественном языке. Классическая лингвистика во все времена своего существования стремилась не рассматривать так называемые «необщезначимые» явления в языке (т. е. явления, относящиеся к специфической сфере parole), в равной мере как и явления, специфицирующие языковую деятельность. Иными словами, классическая лингвистика всегда исходила из того, что два члена языкового общения должны в смысле владения языком совпасть «как два экземпляра одного словаря». Поэтому в исходных постулатах классическая лингвистика всегда рассматривала только «отмеченные» и только повторяющиеся явления.

В языкознании всегда указывалось, что аномалии, процессы создания неологизмов, процессы речевых отклонений от системы имеют первостепенное значение для исследования языкового развития [10].

Эти взгляды на природу знака всегда были связаны с различными теориями происхождения языка, которые всегда фактически давали разные интерпретации обусловленности знака.

При сведении двух подходов к природе знака (произвольность или обусловленность) обнаруживается, что для решения проблемы семиозиса явно не хватает фактических данных, ибо так называемые «естественные языки» не существуют изолированно от всей системы средств общения, объективации и нормативного закрепления в обществе определенных мыслей. В этой связи для решения проблем семиозиса помимо анализа различных функциональных сфер «естественного языка» необходимо обратиться к анализу соседствующих с естественным языком знаковых систем. Это направление исследований и получило название семиотики. Семиотика есть направление исследований, которое успело получить только имя, но не свою специфическую сферу содержания и свою теорию. Таким образом, складывается вторая альтернатива:

2. Является ли процесс семиозиса для индивида и общества абсолютно произвольным в выборе материала языка или он ограничен какими-то материальными и функциональными факторами?

Для решения этой альтернативы современное языкознание располагает, на наш взгляд, двумя мощными инструментами. Первый из них — область лингвистики, имеющая давнюю традицию, а именно лингвистическая типология. В современной лингвистической типологии явно обозначаются три направления: а) так называемое типологическое моделирование, имеющее целью описание всех мыслимых типологических систем и их переходов — как путем создания так называемого языка-эталона, так и другими путями; б) так называемая диахроническая типология, существующая на базе сравнительно-исторического описания

[9] Под словами «процессы семиозиса» мы понимаем соединение материи знака со смыслом и появление знаковой формы, обладающей определенным внутренним, функциональным членением. Исключительно важным в этом плане представляется прежде всего взаимоотношение между нормой и системой языка, с одной стороны, и понятием «языковой ортологии», с другой. Под словами языковая ортология в настоящее время понимается исследование соотношения системного или нормативного воспроизведения (или воссоздания) языковых единиц и способы и пути новосоздания языковых единиц.

[10] В методическом аспекте фактически этот же вопрос формулируется как соотношение между отмеченностью и неотмеченностью, анализом и порождением.

развития родственных языков; в) выведение и исследование так называемых «языковых универсалий», рассматривающих одновременно как родственные, так и неродственные языки на любом этапе их истории.

Если суммировать все три направления вместе, то окажется, что лингвистическая типология в целом задается одним общим вопросом:

3. Существуют ли законы связи материала и формы языковых знаков и каковы они?

Другой инструмент при решении второй альтернативы — исследование психо-физических отношений человека и языка. Это направление исследований в языкознании только намечается и не имеет пока сколько-нибудь серьезной разработки, кроме, может быть, общей, теории экспериментальной фонетики. Но уже с самого начала кажется явным, что разные по материалу и форме знаки по-разному воспринимаются и перерабатываются человеком и машиной в зависимости от условий и среды общения. Указанное направление исследований, по-видимому, в ряде случаев может прямо заимствовать обширный экспериментальный и научный аппарат психологии и физиологии и сопрячь их с данными существования языка в устной речи, в письме, печати и переводно-информационных устройствах. Таким образом, это направление научно подготовлено если не самой лингвистикой, то смежными науками. И его существование может быть объяснено как альтернатива, возникшая между классической лингвистикой и экспериментальной физиологией и психологией.

4. Влияет ли и как влияет материал и форма знаков на восприятие и оперирование ими человека и машины [11]?

С развитием общества все четыре вопроса в разное время получали разную теоретическую и разную конкретно-практическую интерпретацию, которая и являлась конкретным практическим решением этих вопросов на данном этапе развития общества.

Думается, что язык промышленно развитого общества требует и особого практического подхода. У такой нации, как японская, с особым строением ее языка и с чрезвычайно широкой и технически оснащенной системой языковых коммуникаций, это вылилось в специальную теорию и службу так называемого «языкового существования». У нас в последнее время все чаще ставится вопрос о создании специальной «службы языка». Вместе с тем, по-видимому, невозможно прямо заимствовать японский опыт.

Возникает вопрос: как должна быть построена служба языка у нас? Теоретическая разработка этого вопроса займет, по-видимому, немало сил и времени. Так, например, неясно, как построить службу языка в отношении взаимодействия между национальными языками и межнациональным русским; как выделить и исследовать различные функциональные сферы языка: язык плана и отчета, языки специальные и статистико-экономические, языки школы и науки, языки пропаганды и повседневной жизни, языки рекламы и информации и т. п. в их границах и взаимодействии.

«Служба языка» ставит один общий вопрос:

5. Как, где и когда общество управляет языком и как, где и когда язык управляет обществом?

В этом плане исключительно важен опыт нашей прежней работы по описанию, выработке письменностей и литературному нормированию и

[11] Изложенные выше четыре вопроса по сути дела поставлены еще на заре науки и сводятся к одному: что такое человек как говорящее и мыслящее существо?

применению языков народностей Советского Союза (все то, что прежде называлось «языковым строительством»).

Ясно, что исследование всех этих альтернатив не может быть произведено без современной теории лингвистического метода. Теория лингвистического метода дает единые основания для лингвистических описаний и делает возможным точное сравнение описаний на логической и математической основе. Сравнимость описаний позволяет более основательно сформулировать общие онтологические представления о строении и функционировании языка. Теория лингвистического метода позволяет, далее, применять ряд практических разработок метода в качестве действующих моделей языковых процессов (т. е. в промышленном применении), как это показала современная практика машинного перевода и работа информационных устройств. Однако сравнение высказанных альтернатив со строением и данными современной теории лингвистического метода показывает, что современная теория лингвистического метода еще мало занимается исследованием сформулированных альтернатив. Отсюда возникает еще одна и последняя альтернатива:

Чему служит теория лингвистического метода: своим собственным задачам или задачам прочих частей современного языкознания?

XI. Может показаться, что формулируя наши альтернативы, мы уже как бы даем на них ответ. Но думать так было бы совершенным заблуждением. Действительно, на каждую альтернативу можно как будто дать ответ в самом общем виде, а затем и развить этот ответ. Однако опыт показывает, что всякая конкретизация общего ответа порождает массу новых вопросов, которые часто могут изменить строение прежнего вопроса и сделать его ненужным. С другой стороны, необходимо указать, что сам способ, предпринятый нами в выдвижении вопросов, далек от совершенства. Лингвистика будущего поставит значительно больше сложных и трудных вопросов, чем лингвистика настоящего.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1965

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

А. Н. КОЛМОГОРОВ

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ АНАЛИЗА РИТМА «СТИХОВ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ» МАЯКОВСКОГО[1]

I. Анализ, произведенный М. Янакиевым, подкупает строго объективным подходом к материалу: без всяких произвольных домыслов описывается размещение ударных и безударных слогов. Однако продолжив несколько дальше такой строго объективный анализ, можно наблюсти некоторые дополнительные правильности, не отмеченные М. Янакиевым. По подсчетам М. Янакиева, в стихотворении имеется одна трехсложная и две четырехсложные анакрузы (таблица на стр. 158), пять трехсложных междударных промежутков, пять — четырехсложных и один — пятисложный (таблица на стр. 173). Остается неотмеченным, что за исключением двух случаев все эти особенности расположены в стихах с пониженным числом ударений (три ударения — в нечетных стихах, два — в четных). Наоборот, в с е стихи с пониженным числом ударений (их М. Янакиев насчитывает одиннадцать — семь двухударных четных и четыре трехударных нечетных, таблица на стр. 172) обладают или удлиненными анакрузами, или удлиненными междударными промежутками.

Учет этих обстоятельств подводит к более содержательной концепции метрического закона, господствующего в «Стихах о советском паспорте». Как уже отмечалось, «Стихи о советском паспорте» относятся к довольно большой группе произведений Маяковского, написанных четырехстишиями

$$4 — 3 — 4 — 3$$

дольника [2] (как правильно отметил М. Янакиев, в пятой строфе из пяти стихов стихи 1, 2 и 4 надо считать «нечетными», а 3 и 5 — «четными»). Мы думаем, что и поэтом, и достаточно чутким читателем к а ж д ы й нечетный стих «Стихов о советском паспорте» воспринимается как четырехдольный, а каждый четный — как трехдольный; конечно, отсчет «долей» остается в подсознании, но он и создает впечатление должной размеренности речи.

При такой интерпретации метра, постулированной сначала в виде гипотезы, легко определяется, на какую долю падают реально существующие ударения, и обнаруживается, что все 25 нечетных стихов укладывается в схему

$$0/2 — 1/3 — 1/2 — 1/2 — 0/2, \qquad (1)$$

а все 24 четных стиха в схему

$$0/1 — 1/2 — 1/4 — 1/2. \qquad (2)$$

Здесь ´ обозначает во всех случаях ударный слог, а — обозначает «сильный слог». Среди сильных слогов по нашему счету (несколько расходящемуся

[1] См.: М. Я н а к и е в, Некоторые перспективы точного сравнительного изучения стиха в славянских языках, сб. «Славянска филология», IV, София, 1963. (Далее ссылки на эту статью даются в тексте.)

[2] А. Н. К о л м о г о р о в, А. В. П р о х о р о в, О дольнике современной русской поэзии, ВЯ, 1963, 6.

со счетом М. Янакиева) 14 безударных; но существенно то, что за их пределами несомненно ударных слогов нет (хотя, вообще, в дольнике «внесхемные» ударения и возможны).

Продолжая анализ, произведенный М. Янакиевым, приведем таблицу частот различной длины анакруз, междударных промежутков и клаузул в первом, втором, третьем, четвертом стихе четырехстишия. Случаи наличия безударных долей выделены в конце прилагаемой таблицы, где А + I обозначает число безударных слогов в стихе, которые предшествуют ударению, падающему на вторую долю; I+II обозначает число безударных слогов между смежными ударениями на первой и третьей доле и т. д.

	Количество слогов	Частоты стихов в четырехстишиях				Нечетные	Четные
		1-й стих	2-й стих	3-й стих	4-й стих	1+3	2+4
Анакруза (А)	0	1	—	1	2	2	2
	1	11	10	11	9	22	19
	2	—	1	—	—	—	1
Первый промежуток (I)	1	3	—	3	2	6	2
	2	9	9	7	5	16	14
	3	—	—	1	—	1	—
Второй промежуток (II)	1	1	3	2	3	3	6
	2	9	7	9	3	18	10
	3	—	—	—	1	—	1
	4	—	—	—	1	—	1
Третий промежуток (III)	1	5		3		8	
	2	5		8		13	
Клаузула (К)	0	10	—	8	—	18	—
	1	2	6	2	8	4	14
	2	1	6	1	4	2	10
А + I	3	—	—	—	1	—	1
	4	1	1	—	—	1	1
I + II	3	—	1	1	2	1	3
	4	—	—	—	2	—	2
	5	—	1	—	—	—	1
II + III	4	3		—		3	
III + К	3	—		1		1	

Из таблицы видно, что 1) лишь в двух нечетных и двух четных стихах анакруза пуста, 2) лишь в одном случае «истинная» анакруза двухсложна, 3) лишь в одном нечетном и двух четных стихах междударные промежутки между ударениями на смежных долях более чем двухсложны, 4) в одном случае последняя доля безударна, что приводит к «ложной» трехсложной клаузуле в стихе

откуда, мол
и что это за . . .

5) «истинные» клаузулы в нечетных стихах за исключением двух случаев пусты или односложны, в четных — всегда односложны или двухсложны.

За этими исключениями реальный ритм вкладывается в более строгие схемы — для нечетных стихов:

$$1 — 1/2 — 1/2 — 1/2 \div 0/1, \qquad (3)$$

для четных стихов:

$$1 — 1/2 — 1/2 — 1/2. \qquad (4)$$

Все безударные группы, возникшие при пропуске ударений на некоторых долях, соответствуют этим схемам. Схемы (3—4) и выражают основную закономерность ритма «Стихов о советском паспорте». В дополнение к сказанному в моей совместной с А. Прохоровым статье я принимаю здесь гипотезу М. Янакиева, что преобладание пустых клаузул в нечетных стихах и полное отсутствие пустых клаузул при обилии двухсложных в четных стихах следует считать входящим в общий ритмический замысел стихотворения.

Можно думать, что все или почти все отступления от схем (3—4) обусловлены не только трудностью подчинения ритмической норме непослушного словесного материала, а размещены с определенным расчетом на художественный эффект, который достигается благодаря выходу за пределы инстинктивно воспринимаемой основной закономерности (см. по этому поводу краткие указания в нашей с А. В. Прохоровым статье).

Эти единичные выходы за пределы основной закономерности появляются в местах, где необходимо особенное заострение ритмической выразительности, создаваемой в остальном более мягкими средствами, не противоречащими основной закономерности правильного дольника, а именно: а) размещением безударных долей, б) переходами от более плавных и длинных «амфибрахических» стихов к укороченным, вплоть до наиболее коротких «ямбических», и обратно.

II. Хотелось бы, чтобы читатель этой заметки обратился к самому стихотворению и убедился в реальности интерпретации «Стихов о советском паспорте» как дольника с возможностью проявления безударных, но реально ощущаемых «долей». Такая доля имеется уже в первом стихе

Я волком бы
выгрыз
бюрократизм . . .,

где, впрочем, третьей доле соответствует побочное ударение на сложном слове «бюрократизм». Более выразительный стих с безударной первой долей

не переставая кланяться . . .

появляется лишь после д в е н а д ц а т и полноударных стихов с однообразными о д н о с л о ж н ы м и а н а к р у з а м и. Поэтому, неизбежность возникновения подсознательной попытки «найти» пропавшую первую долю стиха в слогах

не пе-ре-ста . . .

кажется мне несомненной. Достаточно правдоподобна, впрочем, связь этих поисков пропавшего ударения и с низкопоклонством пограничного чиновника. Безударность первой доли в дольнике Маяковского — эффект довольно редкий (в разбираемом стихотворении — три случая), и поэтому, можно думать, художественно не безразличный. Следующий пропуск ударения на второй доле в стихе

паспорт американца

более обычен (в «Стихах о советском паспорте» — семь случаев), особенно в последнем стихе четверостишия (четыре случая). Ощущение закономерной трехдольности при четырехсложном промежутке между реальными двумя ударениями здесь вряд ли даже подвергается сомнению. В том же

стихе первое отклонение от схем (3—4)—пустая анакруза. В этих двух особенностях стиха я не усматриваю более глубокой выразительности, чем эффект «заключительной интонации», сигнализирующей окончание «американской» темы перед переходом к «польской».

В «польском» пятистишии четкость восприятия метрической структуры стиха подвергается серьезным испытаниям:

На польский —
глядят,
как в афишу коза.
На польский —
выпяливают глаза
в тугой
полицейской слоновости —
откуда, мол,
и что это за
географические новости?

После гладкого первого стиха четырехстопного амфибрахия второй стих должен быть воспринят как четырехдольный с пропуском ударения на третьей доле. Принадлежность его к числу «нечетных» стихов схемы (3) определяется тем, что он рифмует с первым. Третий стих — правильный трехстопный амфибрахий, возвращающий нас к метрической норме в наиболее чистом виде, но в четвертом четырехдольном стихе безударны вторая и четвертая доля. Безударность четвертой доли скрадывается, впрочем, тем, что предлог *за* рифмуется с *коза* и *глаза*. В пятом стихе второе в пятистишии (подряд!) нарушение основных схем (3—4): здесь в трехдольном стихе первая доля безударна, а промежуток между ударениями второй и третьей доли трехсложен.

Четкий отсчет метра восстанавливается, однако, в следующем «скандинавском» четырехстишии:

И не повернув
головы кочан
и чувств
никаких
не изведав,
берут,
не моргнув,
паспорта датчан
и разных
прочих
шведов.

Здесь наличие безударной доли в последовательности безударных слогов

И не по-вер . . .

угадывается привыкшим к дольнику слухом без колебаний, а далее следуют нарочито монотонные (как и надо, когда никаких «чувств не ведают») три стиха чистого амфибрахия.

В дальнейших стихах ритм вновь разнообразнее. Отметим лишь все отступления от схем (3—4). В стихах

Это
господин чиновник
берет
мою
краснокожую паспортину

их сразу три (нулевая анакруза, трехсложный и четырехсложный промежуток между ударениями смежных долей). Видимо, «господин чиновник» с трудом выдерживает ритм перед лицом «краснокожей паспортины».

Двухсложные клаузулы в нечетных стихах, рифмующих между собою

носильщика — сыщика,

и нулевая анакруза в стихе

сыщик на жандарма,

а также пустая и двухсложная анакрузы в двух смежных стихах

Я
достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза

завершают перечень отклонений от схем (3—4). Стихов с отклонениями от этих схем, как видим, довольно много — д е с я т ь из 49, самих элементарных отклонений о д и н н а д ц а т ь:

нулевые анакрузы в нечетных стихах	2
» » в четных стихах	2
двухсложные анакрузы в четных стихах	1
трехсложные первые промежутки	1
трех-четырехсложные вторые промежутки	2
безударные последние доли	1
двухсложные клаузулы в нечетных стихах	2

Но редкость отклонения каждого из этих типов позволяет считать реальной тенденцию к подчинению норме, выраженной схемами (3—4).

Отклонений от более широких схем правильного дольника

$$0/2 — 1/2 — 1/2 — 1/2 \div 0/2, \qquad (5)$$

$$0/2 — 1/2 — 1/2 \div 0/2, \qquad (6)$$

как уже нами отмечалось ранее [3], только ч е т ы р е. Из этих четырех отступлений одно (безударное *за*), видимо, рассчитано на восприятие в качестве единичного, специально обыгранного парадокса. Остальные три отклонения, заключающиеся в удлинении междударных промежутков между ударениями смежных долей до трех-четырех слогов, представляют собой проявление общей тенденции Маяковского, допускающего такие растяжения безударных промежутков между любыми долями довольно свободно в 3—5% стихов в четырехдольнике поэмы «Люблю» и «Про это» [4]. Вероятно, включение специального метрического замысла данного произведения в более общую концепцию правильного дольника является тоже фактором, реально действующим и в творческом процессе и процессе восприятия. Первоначальные же наши схемы (1—2) являются лишь способом свободного описания фактически встретившихся в анализируемом произведении вариантов ритма.

---

[3] А. Н. К о л м о г о р о в, А. В. П р о х о р о в, указ. соч.

[4] Например, см.: А. Н. К о л м о г о р о в, А. В. П р о х о р о в, О дольнике современной русской поэзии, ВЯ, 1964, 1.

В заключение замечу, что незаконченность анализа ритма «Стихов о советском паспорте» у М. Янакиева не случайна. Он, видимо, вообще недостаточно оценивает то обстоятельство, что в наиболее интересных случаях чистое описание реально заданного ритма произведения без гипотез о скрытом механизме его порождения мало продуктивно; гипотезы же, возникающие из живого восприятия стиха, могут быть при надлежащей методике работы проверены и превращены в объективное знание.

Стиховедение вместе со всеми филологическими дисциплинами переживает сейчас закономерный этап устремления к более точным и объективным методам исследования, опирающимся лишь на факты, непосредственно данные в изучаемом материале. Однако изучение потока речи без гипотез о механизме его порождения не только малопродуктивно, но и не и н т е р е с н о. Замечу, впрочем, что моя несколько резкая оценка относится прежде всего к заключительной формуле («... ритмема „Стихов о советском паспорте“ характеризуется так...», стр. 174) статьи М. Янакиева. В этом набранном курсивом заключении статьи реальный закон, управляющий ритмическим строением взятого для анализа стихотворения, остается не раскрытым. Сама работа М. Янакиева значительно богаче содержанием и характеризует автора как знатока и ценителя поэзии. Так и кажется, что заключительная формулировка предназначена лишь для того, чтобы терроризировать не понимающих современной научной «строгости» представителей традиционного литературоведения.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1965

М. Л. ГАСПАРОВ

ВОЛЬНЫЙ ХОРЕЙ И ВОЛЬНЫЙ ЯМБ МАЯКОВСКОГО

1. Предварительные замечания. В русском стиховедении вольным стихом принято называть стих из одинаковых стоп, но с разным числом стоп в строках, т. е. стих с правильной периодичностью сильных мест внутри стихов и с неправильной периодичностью стихоразделов между стихами. В классической русской поэзии разрабатывался, как известно, лишь один вид вольного стиха — вольный ямб басен, комедий и элегической лирики [1]; опыты других размеров в вольном стихе были единичны.

У Маяковского впервые (см. об этом ниже) в русском стихе наряду с вольным ямбом появляется вольный хорей. Своеобразие этого ритма в системе размеров, которыми пользовался Маяковский, давно было замечено исследователями. Однако из-за распространенного до недавнего времени представления о едином «стихе Маяковского», в котором растворяются все конкретные размеры, вольный хорей ни разу не был назван собственным именем: в лучшем случае исследователи писали о «хореической основе» этого ритма [2]. В настоящее время, когда, наконец, получает признание тот факт, что Маяковский пользовался в своем творчестве разными размерами и что так называемый «стих Маяковского» есть не неопределенное «слияние», а вполне уследимое чередование разных размеров [3], представляется вполне целесообразным выделить один из таких размеров и исследовать его в его внутренней ритмической самостоятельности.

2. Материал. Основным материалом для обследования взят вольный хорей поэмы «Владимир Ильич Ленин» (1924). Эта поэма написана почти исключительно четверостишиями и двустишиями: строфы иной структуры единичны и хорея не содержат. Из двустиший выбраны те, в которых оба стиха суть вольные хореи (всего 8 двустиший). Из четверостиший выбраны: а) те, в которых все 4 стиха суть вольные хореи (70 строф); б) те, в которых на 3 стиха хорея приходится 1 стих нехореический (3 строфы); в) из тех, в которых на 2 стиха хорея приходится 2 стиха нехореических, выбраны только те, в которых хореические строки следуют подряд, успевая, таким образом, создать хореическую инерцию (тоже 3 строфы: «Его и рай и преисподняя...», «Лоб разбей о камень стенки тесной...», «Были люди — кремень, и эти...»). Таким образом, в поэме «Ленин» учтено всего 320 стихов, из них 311 правильных хореев и 9 «прочих форм».

---

[1] См.: Л. И. Тимофеев, Вольный стих XVIII века, сб. «Ars poetica», II—Стих и проза, М., 1928; М. П. Штокмар, Вольный стих XIX века, там же; Г. Винокур, Вольные ямбы Пушкина, «Пушкин и его современники. Материалы и исследования», XXXVIII—XXXIX, Л., 1930.

[2] См., например: А. Абрамов, Ритмика поэмы «Владимир Ильич Ленин», сб. «Творчество Маяковского», М., 1952.

[3] См.: А. Н. Колмогоров, К изучению ритмики Маяковского, ВЯ, 1963, 4, стр. 64—65; В. М. Жирмунский, Стихосложение Маяковского, «Русская литература», 1964, 4.

Дополнительным материалом для обследования вольного хорея взяты следующие произведения: «Про это» (раздел «Прошение на имя») (сокращенно — ПЭ), «Рабочим Курска» (РК) (1923), «Киев» (К), «Юбилейное» (Юб) (1924), «Сергею Есенину» (Ес), «Товарищу Нетте» (ТН), «Разговор на рейде» (РР) (1926). Принципы отбора были те же. Необходима лишь одна оговорка. Среди вольного хорея Маяковского изредка попадаются одиночные строки ямба (в поэме «Ленин» — 1 раз: «Идут, железом клацая и лацкая»; в «Про это» — 1 раз, в «Рабочим Курска» — 2 раза): такие строчки не выделялись из общей хореической массы, а считались хореями с надставленной анакрузой. (Ср. хореические строки среди классических ямбов «Необычайного приключения», 1920: «Медленно и верно», «Нас, товарищ, двое».) Однако в стихотворении «Юбилейное» вступительная строфа с ее тремя ямбами подряд из подсчета была исключена; ямбические цитаты «Кто был ничем, тот станет всем» «(Рабочим Курска») и «Что с вами днем увижусь я» («Юбилейное») учитывались как «прочие формы» (ср. роль цитат в строфе «Лоб разбей о камень стенки тесной...»); «прочими формами» были сочтены и 3 одностопных ямба в «Рабочих Курска».

Дополнительным материалом для обследования вольного ямба взяты следующие произведения: «Париж — разговорчики с Эйфелевой башней» (Пар.), «Воровский» (Вор.), «Коминтерн» (Ком.) (1923), «Венера Милосская и Вячеслав Полонский» (ВМ) (1927), «Готовься! стой! строй!» (ГСС), «Крест и шампанское» (Кш), «Помпадур» (П-р), «Вредитель» (Вр) (1928), «Во весь голос» (Ввг) (1930). Принципы отбора те же. При выделении размеров внушала сомнение одна строфа в «Кресте и шампанском»: «Дивите | подвигом | фашистский мир, ‖ а мы, ‖ в пространство | врезываясь, в белое, ‖ работу | делали | и делаем». Мы сочли ее за вольный ямб, хотя возможно, что последние два ее стиха следует считать вкраплением «классического» четырехстопного ямба.

В извечном вопросе о тонировании и атонировании ударений мы следовали установившейся в русском стиховедении системе: максимум тонирования на метрически сильных местах, минимум — на метрически слабых. Это позволило в дальнейшем сопоставить наши данные с цифрами Штокмара, Тарановского и Шенгели по классическому стиху. Более подробное обследование тоники в поэме «Ленин» (см. ниже) подтверждает справедливость этого принципа.

3. Соотношение метрики, силлабики и тоники в вольном хорее. Возможен вопрос: имеем ли мы право, исследуя вольный хорей Маяковского, столь уверенно брать за основу категорию метрики — стопность (т. е. периодичность сильных мест)? Ведь в большинстве произведений Маяковского куски, написанные вольным хореем, чередуются с кусками, написанными другими размерами, в частности — дольником и акцентным стихом, где, как известно, гораздо большую роль играет тоника. Естественно было бы заподозрить, что и в вольном хорее Маяковского тонический принцип может иметь особое значение. Чтобы проверить это, необходимо сопоставить силлабику и тонику вольного хорея с силлабикой и тоникой других размеров Маяковского.

В поэме «Владимир Ильич Ленин» чередуются три основных размера: вольный хорей, дольник (т. е. стих, в котором интервалы между сильными местами колеблются от 1 до 2 слогов) и акцентный стих (в котором интервалы колеблются более широко — для поэмы «Ленин» от 0 до 6 слогов). Для сравнения с вольным хореем мы отобрали 38 четверостиший дольника и 38 четверостиший акцентного стиха (все те, в которых не меньше 3 стихов не «вмещалось» в дольниковую схему). Так как картину соотношения тоники может заметно видоизменить различное тонирование ударений в хорее, были выделены строки, допускающие двойственность

подсчета ударений, и подведены итоги отдельно для максимума и для минимума ударности. Поскольку картину соотношения силлабики могут заметно видоизменить стиховые окончания (слоги после ударной константы), были произведены подсчеты по силлабике без учета окончаний («с приведением к константе»); учет окончаний дает в общем ту же картину, только сильно размытую. Результаты следующие:

Таблица 1

Метрика

Число стоп	Число ударений											
	7/6	6	6/5	5	5/4	4	4/3	3	3/2	2	2/1	1
9		1		1	2							
8	1	1		2		3						
7		3	5	9	3	22						
6		2	3	26	13	66	3	19				
5				10	6	53	11	27		1		
4						1		7		5		1
3								1		3		
Всего	1	7	8	48	24	145	14	54		9		1
Максимум	1	15		72		159		54		9		1
Минимум		8		56		169		68		9		1

Таблица 2

Тоника

Число ударений	Акц. стих		Дольник		Хорей (макс.)		Хорей (мин.)	
	число стихов	%	число стихов	%	число стихов	%	число стихов	%
7	—	—	—	—	1	0,3	—	—
6	—	—	—	—	15	4,7	8	2,6
5	3	2,0	5	3,3	72	23,1	56	18,0
4	126	83,0	124	81,6	159	51,2	169	54,5
3	22	14,5	18	11,8	54	17,4	68	21,5
2	1	0,6	4	2,6	9	2,9	9	2,9
1	—	—	1	0,6	1	0,3	1	0,3
Всего	152		152		311		311	

Из таблицы тоники явствует, что дольник и акцентный стих дают необычайно сходное, почти тождественное распределение, между тем как хорей от них заметно отстает, вместо 82—83% четырехударности набирая лишь 51—54%. Из таблицы силлабики в свою очередь явствует значительное сходство между хореем и акцентным стихом: одинаковый максимум на 9—10—11 слогах, не превосходящий 21,7%, тогда как дольник дает целых 44% (следует помнить, что процентные показатели хорея для сравнения с дольником и акцентным стихом следует делить на два, потому что приведенный к константе хорей может иметь лишь нечетное число слогов). Таким образом, среди размеров поэмы «Ленин» ведущую роль играют противостоящие друг другу дольник и хорей, между тем как акцентный стих подравнивается к дольнику по тонике и к хорею по силлабике. Единого определяющего признака для всех трех размеров нет. Поэтому нет основа-

Таблица 3

Силлабика[1]

Число слогов	Акц. стих		Дольник		Хорей	
	число стихов	%	число стихов	%	число стихов	%
17	—	—	—	—	4	1,3
16	1	0,7	—	—	—	—
15	3	2,0	—	—	7	2,25
14	14	9,2	—	—	—	—
13	12	7,9	—	—	42	13,5
12	14	9,2	—	—	—	—
11	26	17,1	37	24,1	132	42,5
10	33	21,7	67	44,1	—	—
9	28	18,4	30	19,7	108	34,8
8	14	9,2	14	9,2	—	—
7	5	2,9	2	1,3	14	4,5
6	1	0,7	1	0,7	—	—
5	1	0,7	—	—	4	1,3
4	—	—	—	—	—	—
3	—	—	1	0,7	—	—
Всего	152		152		311	

[1] В виде графика это распределение представлено (на основе наших данных) в указанной статье А. Н. Колмогорова (стр. 71).

ний приписывать тонике особое положение в системе характеристик вольного хорея.

В дальнейшем при анализе ритмических вариаций хорея можно видеть, что вольный хорей Маяковского не более (а то и менее) четырехударен, чем традиционный равностопный хорей. Но уже сейчас можно привести несколько отдельных стихов, которые могли бы быть прочитаны и с 4 и с 5 ударениями, и в которых сам Маяковский синтаксисом или членением на «ступеньки» диктует не четырехударное, а пятиударное чтение: «Говорили — |мужичок| своей пойдет дорогой» (при порядке слов «пойдет своей дорогой» можно было бы атонировать слово «своей»); «Вам |не скрестишь ручки,| не напялишь тогу»; «Может, |я |один| действительно жалею» и т. п.

4. Метрика.

Таблица 4

Хорей

Число стоп	ПЭ	РК	Юб	К	Л	Ес	ТН	РР	Всего	
									стоп	%
10	—	—	1	—	—	—	—	—	1	0,1
9	1	—	—	—	4	—	—	—	5	0,6
8	2	6	3	1	7	2	2	—	23	2,6
7	5	15	24	2	42	8	2	1	99	11,3
6	33	55	51	17	132	32	18	5	343	39,0
5	43	66	28	22	108	27	16	18	328	37,3
4	5	13	3	2	14	—	1	—	38	4,3
3	2	6	—	—	4	—	—	—	12	1,2
2	1	3	2	—	—	1	—	—	7	0,8
1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	0,2
прочие формы	4	5	4	—	9	1	—	—	23	2,6
Всего	96	169	116	44	320	72	40	24	881	

Таблица 5

Ямб

Число стоп	Пар.	Вор.	Ком.	ВМ	КШ	ГСС	П-р	Вр.	ВВГ	Всего	
										стоп	%
9	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	0,3
8	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	0,9
7	—	1	2	2	3	3	1	1	5	18	5,7
6	12	6	10	13	13	16	26	19	27	142	44,5
5	15	3	4	15	11	11	9	20	38	126	39,5
4	7	2	—	2	5	—	—	3	2	21	6,7
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	0,6
1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3	0,9
прочие формы	2	—	—	—	—	—	—	1	—	3	0,9
Всего	36	12	16	36	34	33	36	44	72	319	

Первое, что бросается в глаза, — это строгое соблюдение метрического порядка: «прочие формы» не превышают 3%, хотя при нашем принципе отбора материала они могли бы давать 25% и выше. Это значит, что хорей был нужен Маяковскому именно как хорей, как традиционный силлабо-тонический размер, не сливающийся, а скорее противопоставляемый по строению остальным чередующимся с ним размерам. Основной формой вольных хореев и ямбов Маяковского являются шестистопные и пятистопные стихи, вместе дающие $^3/_4$ — $^4/_5$ общего количества; остальные резко отстают. Диапазон стопности широк и включает даже 7—10-стопные размеры, в классической силлабо-тонике не употребляемые (это — одна из причин, почему исследователи так долго отказывались признать в этом размере хорей). Если сравнить диапазон стопности ранних и поздних хореев Маяковского, то можно заметить, что он постепенно суживается — от 7-8 до 5-6 форм стопности; последним произведением раннего типа является поэма «Ленин», первым произведением позднего типа — «Киев» (и то и другое относятся к 1924 г.). В ямбе диапазон стопности постояннее и у́же (3-4 формы): выделяются широтой лишь «Венера Милосская» и «Крест и шампанское». Максимум преобладания одной какой-нибудь формы стопности достигает 75% («Разговор на рейде») и 72,2% («Помпадур»). Еще более высокий показатель дало бы стихотворение «Кемп Нит Гедайге», где из 48 стихов 43 шестистопных; но именно поэтому мы его не включили в наш подсчет — оно звучит правильным шестистопным хореем (к тому же безурованным) с единичными отступлениями.

5. Ритмика ударений.

Схема	Примеры	в хор.	в ямб.
	десятистопные		
1, —, 3, —, —, 6, —, 8, 9, 10	Что ж о современниках? Не просчитались бы, за вас полсотни отдав	1	—
	девятистопные		
1, 2, —, 4, 5, —, 7, —, 9	Тяжесть страшная! Самих себя же выволакивали волоком	1	—
—, 2, 3, —, 5, 6, 7, —, 9	До того, что кажется: вот только с этой рифмой развяжись	1	—
1, —, —, 4, 5, —, 7, —, 9	Этого не объяснишь церковными славянскими крюками	1	—

—, 2, 3, 4, —, —, 7, —, 9	Капитал, его величество, некоронованный, невенчанный	1	—
—, 2, —, 4, —, 6, 7, —, 9	У Иванова уже у Вознесенска каменные туши	1	—
—, 2, —, 4, —, 6, —, 8, 9	И возвращаются с потерей самолетов и людей и ног	—	1
	Всего	5	1

восьмистопные

1, 2, 3, 4, 5, 6, —, 8	Это слово крепче клятв солдатом поднятой руки	1	—
1, 2, 3, —, 5, 6, 7, 8	Вот моя рабочая страна одна в огромном мире	1	—
—, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	И она — она зверей любила — тоже вступит в сад	1	—
1, 2, —, 4, 5, 6, —, 8	Нет! Сегодня настоящей болью, сердце, холодей!	1	—
1, 2, —, 4, —, 6, —, 8	Нами лирика в штыки неоднократно атакована	3	—
1, 2, —, 4, —, —, 7, 8	Ста крестьянским миллионам пролетариат водитель	1	—
1, —, 3, 4, —, 6, —, 8	Шуми по небесам крылами краснозвездных эскадрилий	—	1
—, 2, 3, 4, —, 6, —, 8	Улыбаясь, вот такая, как на карточке в столе	1	—
—, 2, 3, —, 5, 6, —, 8	В пароходы, в строчки и в другие долгие дела	1	—
—, 2, 3, —, 5, —, 7, 8	Оглядите памятники: видите героев род вы?	2	—
—, 2, —, 4, 5, 6, —, 8	Для веселия планета наша мало оборудована	2	1
1, —, 3, —, —, 6, —, 8	Барышни их вкалывают из кокетливых причуд	1	—
—, 2, 3, —, —, 6, —, 8	И опять засвистывает электричество и пар	1	—
—, 2, —, 4, 5, —, —, 8	Демонстрируют свое унылейшее ремесло	1	—
—, 2, —, 4, —, 6, —, 8	Нарастают революции за вспышками восстаний	4	1
—, 2, —, —, 5, 6, —, 8	Разворачивался и входил товарищ «Теодор...	1	—
—, —, 3, —, 5, —, 7, 8	Попообещает либерал или эсерик прыткий	1	—
	Всего	23	3

семистопные

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Он и в карты, он и в стих, и так неплох на вид	1	—
1, —, 3,4, 5, 6, 7	Может быть, в глаза без слез увидеть можно больше	2	—
1, 2, —, 4, 5, 6, 7	В качке, будто бы хватил вина и горя лишку	4	1
1, 2, 3, —, 5, 6, 7,	Вся Москва. Промерзшая земля дрожит от гуда	2	—
1, 2, 3, 4, —, 6, 7	Сердце мне вложи! Кровищу — до последних жил	2	—
1, 2, 3, 4, 5, —, 7	Ну, а если только пыль взметешь у колеса?	4	—
—, 2, —, 4, 5, 6, 7	Говорили: мужичок своей пойдет дорогой	3	—
—, 2, 3, —, 5, 6, 7	Не булавка вколота: значком прожгло рубахи	3	—
—, 2, 3, 4, 5, —, 7	От времен, когда лавины рыже разжижели	5	—
1, —, —, 4, 5, 6, 7	Собственною головой прошел он этот путь	1	—
1, —, 3, 4, —, 6, 7	Каждым острием издыбленного в ужас волоса	1	—
1, —, 3, 4, 5, —, 7	Это, Александр Сергеич, много тяжелей	2	2
1, 2, —, 4, —, 6, 7	Ленин фразочки с него пообборвет до нитки	3	1
1, 2, —, 4, 5, —, 7	Разве в этакое время слово «демократ»	6	1
1, 2, 3, —, 5, —, 7	Время, снова ленинские лозунги развихрь	7	1
—, —, 3, 4, 5, —, 7	Пролетариат взрослел и вырос из ребят	1	—
—, 2, —, —, 5, 6, 7	А по-моему, осуществись такая бредь	1	—
—, 2, —, 4, —, 6, 7	Не такой — чернорабочий, ежедневный подвиг	9	—
—, 2, —, 4, 5, — 7	Да насмешливей и тверже губы, чем у нас	7	3
—, 2, 3, —, —, 6, 7	Ничего не выколупишь из таких скорлупок	2	—

—, 2, 3, —, 5, —, 7	И счищаешь водорослей бороду зеленую	14	1
—, 2, 3, 4, —, —, 7	За тобою смыли камеру и замели	1	—
1, —, —, 4, 5, —, 7	Как бы милиционер разыскивать не стал	1	2
1, —, 3, —, 5, —, 7	Даже головой не задевая о косяк	8	2
1, 2, —, —, 5, —, 7	Брат Ульянова, народоволец Александр	3	2
1,2, —, 4, —, —, 7	Клич подвалов поднимается по этажам	1	2
—, 2, —, 4, —, —, 7	Ни на что воображаемое не похожие	2	—
—, 2, —, —, 5, —, 7	Но поэзия — пересволочнейшая штуковина	2	—
—, —, 3, —, 5, —, 7	Да и разговаривать не хочется ни с кем	1	—
	Всего	99	18

шестистопные

1, 2, 3, 4, 5, 6	Маркс! Встает глазам седин портретных рама	23	10
—, 2, 3, 4, 5, 6	И ему и нам одно и то же дорого	28	1
1, —, 3, 4, 5, 6	Ленин и теперь живее всех живых	13	19
1, 2, —, 4, 5, 6	Как же Ленина таким аршином мерить	12	15
1, 2, 3, —, 5, 6	Скажут так — и вышло ни умно, ни глупо	34	2
1, 2, 3,4, —, 6	Смесью классов, вер, сословий и наречий	31	10
—, —, 3, 4, 5, 6	Но не потому, что горя нету более	1	—
—, 2, —, 4,5, 6	Не скажу ни одному: на место сядь!	14	2
—, 2, 3, —, 5, 6	За него дрожу, как за зеницу глаза	28	4
—, 2, 3, 4, —, 6	А потом, пробивши бурю разозленную	19	8
1, —, —, 4, 5, 6	Собинов, перезвените званьем Южина	1	1
1, —, 3, —, 5, 6	Первые про Ленина восходят вести	24	8
1, —, 3, 4, —, 6	Время потому, что резкая тоска	28	11
1, 2, —, —, 5, 6	Режет молниями Ильичевых книжек	3	8
1, 2, —, 4, —, 6	Стала ясною осознанною болью	41	25
1, 2, 3, —, —, 6	Вижу ясно, ясно до галлюцинаций	1	—
1, —, —, 4, —, 6	В улицы и в переулки катафалком	1	4
—, 2, —, —, 5, 6	Подготовщиком цареубийства пойман	2	4
—, 2, —, 4, —, 6	Поклонений установленный статут	24	9
—, —, 3, 4, —, 6	Пролетариат поставил у руля	2	—
—, 2, 3, —, —, 6	И рукой дописывая восковой	7	—
1, —, 3, —, —, 6	Гипсом холодеющего старика	6	—
1, 2, —, —, —, 6	Другие, жалование переслюнив	—	1
	Всего	343	142

пятистопные

1, 2, 3, 4, 5	Маркс повел разить войной классовой	51	29
—, 2, 3, 4, 5	Почему ему такая почесть	51	4
1, —, 3, 4, 5	Нам ли растекаться слезной лужею	28	10
1, 2, —, 4, 5	Нами к золоту пути мостите	46	26
1, 2, 3, —, 5	Землю всю охватывая разом	62	23
—, —, 3, 4, 5	По большевикам прошло рыданье	3	—
—, 2, —, 4, 5	Рассияют головою венчик	20	1
—, 2, 3, —, 5	Настоящий, мудрый, человечий	32	7
1, —, —, 4, 5	Кризисов и забастовок хаос	5	1
1, —, 3, —, 5	Дымы забивают облака	26	21
1, 2, —, —, 5	Шли и медлили у мавзолея	1	3
—, 2, —, —, 5	Выполняют церемониал	2	1
—, —, 3, —, 5	Навуходоносором библейцем	1	—
	Всего	328	126

четырехстопные

1, 2, 3, 4	Хлеба проще, рельс прямей	8	3
—, 2, 3, 4	Ухватить чужой горлец	7	—
1, —, 3, 4	Ленинский огромный лоб	11	7
1, 2, —, 4	Люстр расплывшихся огни	3	10
1, —, —, 4	Ленинскую простоту	5	1
—, 2, —, 4	Кастаньеты костылей	3	1
—, —, —,4	Пролетариатоводец	1	—
	Всего	38	21

трехстопные

1, 2, 3	Плыл Большой театр	5	—
—, 2, 3	По мандату долга	4	—
1, —, 3	Четкие, как выстрел	3	—
	Всего	12	—

двухстопные

1, 2	В жизнь сию	1	1
—, 2	Коопсах	6	1
	Всего	7	2

Для удобства сведем эти данные к двум признакам: числу ударений в стихе и числу ударений на каждой стопе, и сопоставим это с аналогичными данными по классическому хорею. Для сравнения взяты: по четырехстопному хорею — стих сатирических произведений Маяковского 1928 г. («Нагрузка по макушку», «Служака», «Критика самокритики», «Плюшкин», «Подлиза», «Сплетник» — всего 240 стихов) и «Сказка о царе Салтане»; по четырехстопному ямбу — «Евгений Онегин»; по пятистопному хорею — стих Майкова («Бальдур»); по пятистопному ямбу — бесцезурный и вольноцезурный драматический стих второй половины XIX в.; по шестистопному хорею — цезурный и бесцезурный стих Полонского; по шестистопному ямбу — симметрический и асимметрический ямб XIX в.; по семистопному хорею — стих поэмы Брюсова «Конь блед» (48 стихов)[4].

восьмистопный стих

хорей Маяковского

Стихи с 7 уд.	13,0	удар. на 1 ст.	34,8	удар. на 5 ст.	52,3
» с 6 уд.	4,3	» на 2 ст.	91,5	» на 6 ст.	78,3
» с 5 уд.	43,5	» на 3 ст.	43,5	» на 7 ст.	26,1
» с 4 уд.	39,2	» на 4 ст.	65,5	» на 8 ст.	100

семистопный стих

хорей

	Маяк.	Брюс.		Маяк.	Брюс.
Стихи с 7 уд.	1,1	2,0	удар. на 1 ст.	48,5	81,4
» с 6 уд.	14,1	16,6	» на 2 ст.	83,0	73,0
» с 5 уд.	31,3	58,4	» на 3 ст.	56,5	79,3
» с 4 уд.	48,5	23,0	» на 4 ст.	56,5	58,4
» с 3 уд.	5,1	—	» на 5 ст.	78,8	71,0
			» на 6 ст.	34,4	50,0
			» на 7 ст.	100	100

шестистопный стих

	хорей			ямб		
	Маяк.	цез.	б/д.	Маяк.	симм.	ассим.
Стихи с 6 уд.	6,7	6,2	3,6	7,1	12,1	10,1
» с 5 уд.	34,6	33,5	28,5	33,3	41,8	40,2
» с 4 уд.	46,7	56,3	47,2	46,7	43,2	46,5
» с 3 уд.	12,2	4,0	20,7	12,8	2,3	3,2
Удар. на 1 ст.	63,6	54,9	43,7	80,7	90,7	89,6
» на 2 ст.	78,0	70,9	99,7	71,5	64,7	70,3
» на 3 ст.	71,5	100	42,1	51,0	75,5	64,1
» на 4 ст.	69,5	61,7	99,3	81,0	94,1	95,0
» на 5 ст.	53,1	55,2	30,1	52,5	39,8	38,1
» на 6 ст.	100	100	100	100	100	100

[4] Все цифры по стиху XIX в. заимствованы из подсчетов К. Тарановского [см.: К. Т а р а н о в с к и, Руски дводелни ритмови, I—II, Београд, 1953). Все показатели даются в процентах.

пятистопный стих

	хорей			ямб	
	Маяк.	Майк.	Маяк.	б/ц.	в/ц
Стихи с 5 уд.	15,5	16,3	23,0	20,9	21,8
» с 4 уд.	57,1	53,9	50,0	53,2	50,3
» с 3 уд.	26,5	29,6	26,2	25,7	27,8
» с 2 уд.	0,9	0,2	0,8	0,2	—
Удар. на 1 ст.	69,5	47,3	89,8	82,8	83,8
» на 2 ст.	80,9	96,9	74,5	73,7	68,4
» на 3 ст.	77,5	80,8	74,5	84,6	89,8
» на 4 ст.	62,3	61,5	56,4	53,8	51,9
» на 5 ст.	100	100	100	100	100

четырехстопный стих

	хорей			ямб	
	Маяк.	Сат.	ЦСС	Маяк.	Е. О.
Стихи с 4 уд.	21,0	29,2	21,7	14,3	26,8
» с 3 уд.	55,3	51,3	55,4	81,0	63,7
» с 2 уд.	21,0	19,5	22,9	4,7	9,4
» с 1 уд.	2,6	—	—	—	—
Удар. на 1 ст.	71,0	61,7	56,9	100	84,4
» на 2 ст.	55,3	95,5	96,7	62,0	89,9
» на 3 ст.	68,5	52,5	45,2	47,7	43,1
» на 4 ст.	100	100	100	100	100

Данные о числе ударений в стихе показывают, что вольный хорей Маяковского ни в коей мере не находится под влиянием четырехударного тонизма дольника и акцентного стиха: четырехударных стихов в хореях Маяковского не больше, чем в классических хореях. Таким образом, тонический подбор является не причиной, а следствием метрического подбора стихов. (Для сравнения напомним картину, которую дают пятистопные хореи «Песен западных славян», где тоническая тенденция к трехударности, вызванная смежными анапестическими стихами, не подлежит сомнению: в то время как отношение пятиударных, четырехударных и трехударных стихов в классическом пятистопном хорее XIX в. равняется 10 : 46 : 43, в «Песнях западных славян» оно равняется 3 : 39 : 55.[5]) Тенденция к четырехударности не возникает в хорее Маяковского даже локально: при 50% четырехударных строк должно получаться $\left(\frac{1}{2}\right)^4 =$ = 6,2% четырехударных четверостиший; и, действительно, на 70 четверостиший поэмы «Ленин» таких четверостиший оказывается только 5, что не превышает рассчитанной вероятности.

Данные о расположении ударений по стопам интереснее. Здесь следует различить две группы ритмов: во-первых, четырехстопные, пятистопные и шестистопные, для которых возможно сравнение с классическим хореем, и во-вторых, семи- и восьмистопные, создаваемые Маяковским впервые.

В группах четырех-, пяти- и шестистопных ритмов обращает внимание сильная сглаженность ритмической кривой: все сильные стопы ослаблены, все слабые стопы усилены по сравнению с классическими аналогами. В шестистопном хорее, где классический стих допускает в одном размере две противоположные (и в одном стихотворении не совместимых) ритмические инерции, Маяковский их совмещает, и его ритм оказывается как бы средним между наложенными друг на друга ритмами цезурованного и бесцезурного хорея. В шестистопном ямбе стих Маяковского дает небывалое в XIX в. понижение ударности на третьей стопе, как бы продолжая ритмическую тенденцию асимметрического ямба, прервавшуюся в середине XIX в. (как это показано Тарановским). (Впрочем шести-

[5] Цифры приводятся по работе: С. П. Бобров, Опыт изучения вольного стиха пушкинских «Песен западных славян», «Теория вероятностей и ее применение», 1964, IX, 2, стр. 264.

стопный ямб в вольном стихе Есенина показывает здесь еще меньшую ударность — 45,3%, по М. П. Штокмару.) В четырехстопных строках вольного хорея нивеллировка сильных и слабых стоп достигает предела: вторая стопа оказывается не сильнее, а даже слабее смежных стоп (между тем, как четырехстопный хорей сатирических стихотворений в точности имитирует традиционный диподийный ритм классического размера). В четырехстопных строках вольного ямба явление почти то же, но здесь трудно его оценить из-за слишком малого числа стихов.

Это сглаживание ритмической кривой приводит к тому, что вторичный ритм стиха (чередование сильных и слабых стоп) теряется и остается только первичный ритм (чередование сильных и слабых слогов). И так как именно вторичный ритм различает, а именно первичный ритм роднит хореические формы разной стопности,— то это сглаживание ритма отлично объединяет у Маяковского разностопные хореи в ритмически единую массу, где трудно даже уловить на слух, какой стих пятистопный и какой семистопный. Любопытно сравнить в этом отношении вольный стих Маяковского с вольным ямбом начала XIX в. (разобранным М. П. Штокмаром), который строился, наоборот, на четком противопоставлении и различении составляющих его размеров (отсюда — и печатание с различными левыми отступами, отсюда — и стремление избежать пятистопный ямб, позволявшее ощутимее противопоставить шестистопник и четырехстопник): там ритмические кривые отдельных размеров в вольном стихе не сглаживаются и порой даже заостряются, усиливаются, хотя и не очень резко (см. приводимые М. П. Штокмаром цифры по Крылову и Батюшкову). Можно предполагать, что в вольном ямбе более позднего времени, где пятистопный ямб постепенно усиливается, сращивая собой шестистопный и четырехстопный ямб,— например, у Лермонтова и особенно у Есенина,— происходит то же сглаживание ритмической кривой, что у Маяковского; но соответственный материал еще не исследован.

Что касается семистопных и восьмистопных стихов, то здесь положение иное. Эти размеры были новыми, впервые вводимыми, в их длинных строках слуху было легче заблудиться, и поэты закономерно искали опоры во вторичном ритме. Так поступил Маяковский в восьмистопном хорее, где даже в нашем ограниченном материале отчетливо различимо чередование сильных (четных) и слабых (нечетных) стоп: особенно это относится к началу и к концу стиха, повышение на четвертой стопе почти не существенно. Так поступил Брюсов в семистопном хорее, где 1, 3 и 5-я стопы принимают ударение чаще, чем 2, 4 и 6-я (правда, здесь кривая не столь рельефна: Брюсов явно стремился ставить как можно больше ударений на все стопы, чтобы сделать отчетливее непривычный размер). Маяковский в своем семистопном хорее также использует вторичный ритм, но иначе, чем Брюсов. Он исходил, по-видимому, из ритма шестистопного бесцезурного хорея с сильными местами на 2, 4 и 6-й стопе, слабыми на 1, 3 и 5-й стопе; в этот трехвершинный стих он вдвинул седьмую стопу, поместив ее на второе слабое место: получился как бы шестистопный стих, затянутый наращением в цезуре,— ср. типично звучащие стихи «Поклонений установленный статут» (шестистопник) и «Конопащемуся у писателей в усах» (семистопник). Можно даже предположить, почему Маяковский выбрал этот ритм, а не более простой брюсовский: он избегал сильного места на первой стопе (вообще избегаемого русским хореем), которое резко выделило бы семистопник из ряда шестистопных, пятистопных и прочих хореев с их слабыми началами и этим разрушило бы ритмически единый массив вольного хорея.

6. Ритмика словоразделов детальному обследованию не подвергалась: как известно, в русском стихе обычно ритмическим импульсом

определяется лишь строй ударений, а расположение словоразделов следует естественным закономерностям языка. То же, по-видимому, происходит и в вольном хорее. Вот сопоставление частоты различных словоразделов в поэме «Ленин» (пятистопные, шестистопные и семистопные стихи), в «Маленьких трагедиях» Пушкина (статистика Г. Шенгели[6], обобщенная), в прозе Чехова («Дама с собачкой», подсчет С. П. Боброва) и в цифрах, вычисленных теоретически по ритмическому составу словаря советской прозы (наш подсчет по прозе 10 авторов[7]):

	Словоразделы:	Маяк.	Пушк.	Чех.	Теоретический расчет
В 1-сложных интервалах:	муж.	56,0	59,1	58,2	53,8
	жен.	44,0	40,9	47,8	46,2
В 3-сложных интервалах:	муж.	13,5	15,4	10,5	7,4
	жен.	43,6	37,3	49,0	50,7
	дакт.	36,2	43,2	38,2	36,3
	гипердакт.	6,7	4,1	2,4	5,6
В 5-сложных интервалах:	жен.	8,3	8,7	22,6	7,4
	дакт.	58,3	91,3	47,2	41,8
	гипердакт.	33,3	—	24,5	48,5

Интереснее вопрос, насколько сохраняются в вольном стихе цезуры равностопного стиха. Из стихов ямба и хорея твердую цезуру для современного слуха имеют лишь шестистопный ямб и симметрический шестистопный хорей. В вольном стихе Маяковского доля шестистопников с серединным словоразделом (после 3-й стопы) такова:

в хорее	с ударной 3-й стопой	30,7%
	с безударной 3-й стопой	2,7%
в ямбе	с ударной 3-й стопой	78,0%
	с безударной 3-й стопой	69,5%

Таким образом, наследие цезуры классических шестистопников при переходе в вольный стих держится тверже в ямбах, чем в хореях (что и понятно, так как за ямбами более давняя и крепкая традиция) и тверже при ударных словоразделах, чем при безударных (что также понятно, ибо именно ударность 3-й стопы создает ту ритмическую симметрию полустиший, которая более всего требует цезуры).

7. «Л е с е н к а». Известный обычай Маяковского печатать свои стихи «лесенкой» заставляет обратить внимание на разбивку строки между ступеньками «лесенки». Самый скромный подсчет показывает, что раз-

Таблица 6

3-ударные стихи		4-ударные стихи				5-ударные стихи	
число слов в ступен.	число стих.	число слов в ступеньках	число стихов			число слов в ступен.	число стихов
			хорей	акц. ст.	дольн.		
1—1—1	10	1—1—1—1	3	4	3	1—1—1—2	14
1—2	40	1—1—2	84	73	53	1—1—2—1	1
2—1	1	1—2—1	8	4	1	2—1—1—1	1
3	3	2—1—1	9	8	4	1—1—3	15
всего	54	1—3	7	8	15	1—2—2	5
		2—2	33	29	45	2—1—2	10
		3—1	—	—	3	2—3	1
		4	1	—	—	3—2	1
		всего	145	126	124	всего	48

[6] См.: Г. Ш е н г е л и, Трактат о русском стихе, М.— Пг., 1923.

[7] См.: М. Л. Г а с п а р о в, Статистическое обследование русского трехударного дольника, «Теория вероятностей и ее применения», 1963, VIII, 1, стр. 103.

бивка эта не случайна. В табл. 6 типы «лесенки» для стихов с 3, 4 и 5 ударениями в поэме «Ленин», в вольном хорее; взяты цифры по четырехударному дольнику и акцентному стиху из разобранного материала.

Таким образом, для «лесенки» поэмы «Ленин» отчетливо характерны два признака: во-первых, трехступенчатость (70% для четырехударного стиха, 62,5% для пятиударного) и, во-вторых, увеличение числа слов в «ступеньке» к концу стиха (63—74%, между тем как стихи с противоположной тенденцией — с уменьшением числа слов в «ступеньке» к концу стиха — составляют лишь 2—6%). Две ступеньки по одному слову и третья ступенька в два и более слова — таков преобладающий тип «лесенки» Маяковского; этот тип, как показывает сопоставление, не ограничивается вольным хореем, а объемлет и оба других размера поэмы, служа, таким образом, важным средством ее интонационного единства. Отрывистое начало и плавное окончание — это устойчивый интонационный тип так важен для Маяковского, что в угоду ему он не раз делит строку на «ступеньки» вопреки логическим и синтаксическим связям. Примеры: «Изо всех | прошедших | по земле людей» (синтаксически правильнее было бы. «Изо всех | прошедших по земле | людей»); «Мнущая | тебя, | подергивая вожжи» (естественнее бы звучало: «Мнущая тебя, | подергивая вожжи»); «Поколениям | и толпам поперек»; «Так | его | машина размахалась»; «Кризисов | и забастовок хаос»; «Золотого | до быка | дорослего тельца».

В отдельных произведениях этот интонационный тип звучит то сильнее, то слабее: он еще незаметен в хорее «Про это», но уже явен в «Рабочих Курска», он слаб в ямбе «Во весь голос», но отчетлив в ямбе «Вредителя». Более подробный его разбор здесь неуместен: он должен составить часть анализа «лесенки» Маяковского в целом, который сулит будущему исследователю много интересных находок.

Попутно отметим еще одну частность, имеющую отношение к «лесенке»: Маяковский нередко выделяет в отдельные ступеньки слова, несущие сверхсхемное ударение, но делает это только в ямбе и почти никогда — в хорее. В пяти последних строфах ямбического стихотворения «Париж» такие «сверхсхемные ступеньки» встречаются пять раз — на словах «вы» (дважды), «мы», «я», «пусть».

8. Исторический экскурс. Отдельные попытки сочетать в вольный стих хорей и пользоваться стихами длиннее 6 стоп делались и до Маяковского: о некоторых из них стоит упомянуть.

Свободное сочетание пяти- и шестистопного хорея впервые встречается, как кажется, у Мея («Городок» из Г. Надо — 36 стихов шестистопных и 12 стихов пятистопных), затем у Случевского («Старый божок» — 7 стихов шестистопных и 9 стихов пятистопных) и В. Соловьева («О, что значат все слова и речи...» — 4 стиха шестистопных и 8 стихов пятистопных); это — несомненный отголосок того смешения пяти- и шестистопных стихов, которое получило массовое распространение в ямбе элегий того времени. В начале XX в. эксперименты с вольным хореем редки, но интересны: к ним принадлежит «Мушкет» Бунина, «Шаги командора» Блока (в основе стихотворения — хореическая строфа 5454, но с вариациями: 5464, 5554 и пр.), «Венецейской жизни мрачной и бесплодной...» Мандельштама; в этом последнем стихотворении уже появляется стих длиннее 6 стоп: «Тяжелее платины сатурново кольцо...» (им отмечена середина стихотворения). Наконец, вполне свободное использование вольного хорея и ямба (до 9 стоп) мы находим у Эренбурга в стихах 1921—1922 гг. (Хорей:

«Есть величье в беге звезд и истин.
На восток великий караван идет.
И один отставший, вспомнив прежних рощ приют тенистый,
На минуту медлит, а потом идет вперед . . .»

Ямб: «Средь мишуры былой и слов убогих
Средь летописи давних смут
Увидит человека, умирающего на пороге,
С лицом, повернутым к нему».)

По части ямба непосредственным предшественником Маяковского, рядом с Эренбургом, должен быть назван Пастернак:

«Мой друг, мой нежный, о, точь в точь, как ночью
в перелете с Бергена на полюс
Палящим снегом с ног гагар сносимый жаркий пух,
Клянусь, о нежный мой, клянусь, я не неволюсь,
Когда я говорю тебе: забудь, усни, мой друг . . .»

У самого Маяковского первые две строфы, написанные вольным хореем (1—7 стоп), относятся к 1913 г.— в стихотворении «Несколько слов о моей маме» («И когда мой лоб, венчáнный шляпой фетровой, ‖ окровавит гаснущая рама...»); первое стихотворение, в котором этот размер выдержан с начала до конца,— марш «Третий Интернационал» (1920)[8].

После Маяковского вольный хорей и ямб не получили развития в советской поэзии. Единичные стихотворения подобного вольного ямба есть у Луговского, у его ученика Луконина, но они лишь изредка выходят за пределы традиционных 6 стоп. Интереснее вольный ямб Н. Олейникова (журн. «30 дней», 1934, 10), где гипертрофированно-длинные строки (до 13 стоп) мотивированы общим ироническим содержанием:

Хвала тому, кто первый начал называть котов и кошек
человеческими именами,
Кто дал жукам названия точильщиков, могильщиков и дровосеков,
Кто ложки чайные украсил буквами и вензелями,
Кто греков разделил на древних и на просто греков . . .

В целом, сейчас этот стих не употребителен, и находится, по удачному выражению А. П. Квятковского, «в запасниках русской поэзии».

9. Краткие выводы. а) Исследуемые размеры Маяковского действительно являются хореем и ямбом: метрический принцип (стопность, т. е. правильная периодичность сильных мест) здесь господствует, силлабизм и тоника ему подчинены.

б) Их отличие от классических размеров состоит лишь в том, что они используют более длинные строки, чем это принято в традиции (до 10 стоп), и сочетают в вольный стих не только ямб, но и хорей.

в) Внутреннее единство строк разной стопности достигается сглаживанием вторичного ритма, свойственного этим строкам в равностопных размерах.

г) Внешнее единство вольного хорея и ямба с другими размерами (дольником и акцентным стихом) в рамках одного произведения достигается сближением их силлабических и тонических признаков, а также общей для всех трех размеров стиховой интонацией, обрывистой в начале, плавной в конце стиха (графически выражается «лесенкой»)[9].

---

[8] Об интонационной и тематической традиции, предшествующей этому стихотворению, см. интересную статью: К. Тарановский, О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики, «American contributions to the V-th International congress of slavists». I — Linguistic contributions, The Hague, 1963, стр. 310—315.

[9] Автор приносит глубокую благодарность акад. А. Н. Колмогорову за ценнейшие советы и замечания при работе автора над этой статьей.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1965

Т. П. ЛОМТЕВ

ОБ ОДНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИСТОЛКОВАНИЯ ФОНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Каждый сигнальный объект должен иметь по меньшей мере двоичный характер, чтобы выполнять свою различительную функцию. Выстрел на старте состязания имеет функцию начала действия постольку, поскольку его отсутствие является знаком изготовки. В языке в качестве сигнальных объектов могут выступать звуки речи (фонемы): ср. в русском *а* (союз), *и* (союз), *к* (предлог), *с* (предлог) и т. д.

Число фонем в каждом языке ограничено. Для того чтобы иметь достаточное количество сигнальных объектов в речи, необходимо использовать сочетание фонем. Отдельные фонемы или их сочетания с определенным семантическим содержанием обычно функционируют в качестве слов. В современных языках в наиболее общей и частотной сфере функционирования число используемых слов достигает 100 000. Язык может располагать таким количеством слов только в том случае, если в нем будут использоваться многофонемные построения.

Любые различия членов любых пар языковых сигнальных объектов лежит в основе их поляризации. Существует два вида поляризации сигнальных объектов:

1. Поляризация фонологических объектов, например: *б — п*, *б — п'*, *б — в*, *б — в'*, *б — д*, *б — д'*, *б — т*, *б — т'* и т. д., ср. *дом — том*, *дом — сом*, *дом — ром* и т. д.

2. Поляризация цепочек фонем по числу и расположению фонем в отдельных цепочках, например: *сада — ада*, *ада — да*, *да — а* и т. д. или *от — то* и т. д.

Слово *сада* отличается от слова *ада* наличием одной лишней позиции, которая занята фонемой *с*, а от сигнального объекта *да* наличием двух лишних позиций, занятых двумя фонемами *с* и *а*. Слово *от* отличается от слова *то* расположением фонем в цепи.

Первый вид поляризации будем называть внутрифонемной поляризацией, второй вид — линейной поляризацией.

Поляризация согласных фонем осуществляется с помощью дифференциальных элементов. В современном русском языке можно выделить следующие четыре группы (подмножества) дифференциальных элементов:

I
1 — твердость
2 — мягкость

II
1 — звонкость
2 — глухость
3 — сонорность

III
1 — смычность
2 — щелинность
3 — неоднородность

IV
1 — лабиальность
2 — дентальность
3 — небность
4 — заднеязычность

Отдельные подмножества дифференциальных элементов являются отдельными разбиениями согласных фонем по свойствам соответствующих дифференциальных элементов. В соответствии с четырьмя подмножествами дифференциальных элементов существует четыре разбиения общего множества согласных фонем. Каждая согласная фонема задается набором четырех дифференциальных элементов, например: *б* — 1111, т. е. твердость, звонкость, смычность, лабиальность, *в* — 1121, т. е. твердость, звонкость, щелинность, лабиальность и т. д.

Две согласных фонемы могут поляризоваться по свойствам дифференциальных элементов одного разбиения; например (твердость — мягкость): *б* 1111 — *б'* 2111, ср. *был — бил*; (звонкость — глухость): *б* 1111 — *п* 1211, ср. *был — пыл*; (звонкость — сонорность): *б* 1111 — *м* 1311, ср. *был — мыл* и т. д. Две согласных фонемы могут поляризоваться по свойствам дифференциальных элементов двух разбиений, например первого и второго (твердость, звонкость — мягкость, глухость): *б* 1111 — *п'* 2211, ср. *был — пил*, или первого и третьего (твердость, смычность — мягкость, щелинность): *б* 1111 — *в'* 2121, ср. *был — вил* и т. д. Две фонемы могут поляризоваться по свойствам дифференциальных элементов всех четырех разбиений, ср. *б* 1111 — *с'* 2222 (твердость, звонкость, смычность, лабиальность — мягкость, глухость, щелинность, дентальность), ср. *был — сил*.

Поляризация цепочек фонем базируется, как сказано, на различиях в числе позиций, занимаемых фонемами, или на различиях их расположения в цепи.

Внутрифонемная поляризация противопоставлена линейной уже по одному тому, что они находятся как бы на разных уровнях. Фонемы языка строятся путем комбинаций дифференциальных элементов. Цепочки фонем (слова, морфемы) строятся путем комбинации фонем. Гипотетически можно предположить, что между внутрифонемной и линейной поляризацией существует некоторая зависимость.

В исследованиях по фонологии языка фактически отражаются (причем в неполной мере) только явления внутрифонемной поляризации, в исследованиях по морфонологии — преимущественно линейной, хотя морфонологии не чужды представления о том, что комбинирование фонем в морфемах и словах находится в связи с внутренней поляризацией.

Мы попытаемся здесь поставить в общем виде связи между внутренней и линейной поляризацией, т. е. связи фонологического и морфонологического уровней, и проиллюстрировать эту постановку вопроса на данных истории русского языка. При этом будет использован аппарат математической комбинаторики.

*

Допустим, что язык должен иметь немногим более 1000 слов для удовлетворения потребностей общения. Допустим, что в языке имеется 10 фонем, что никаких ограничений в сочетаемости этих фонем не существует. Для того чтобы получить около 1000 слов при 10 фонемах без ограничения в их сочетаемости, язык должен иметь слова, состоящие из одной, двух, трех фонем. Теоретически возможно слов: 10 — однофонемных, $10^2=100$ двухфонемных, $10^3=1000$ трехфонемных; таким образом, при использовании трех позиций возможно образовать 1110 слов.

Допустим теперь, что язык имеет не 10 фонем, а только 2. Сколько же потребуется позиций, чтобы образовать примерно 1000 слов? Теоретически возможно слов: 2 однофонемных, $2^2 = 4$ двухфонемных, $2^3 = 8$ трехфонемных, $2^4 = 32$ четырехфонемных, $2^5 = 64$ пятифонемных, $2^6 = 128$ шестифонемных, $2^7 = 256$ семифонемных, $2^8 = 512$ восьмифонемных.

Таким образом, для того чтобы иметь около 900 слов, язык должен пользоваться словами длиною в 8 позиций, т. е. фонем.

Как видим, зависимость между составом фонем в языке и составом фонем в слове имеет обратно пропорциональный характер: чем больше в языке фонем, тем меньше теоретически может быть многопозиционных слов. И наоборот: чем меньше фонем в языке, тем больше может быть многопозиционных слов.

Линейная поляризация слов по числу фонем в слове является наиболее неэкономной, так как при возрастании числа слов она требует высокого возрастания длины отдельных слов, т. е. возрастания количества фонем в составе одного слова. Внутрифонемная поляризация слов является наиболее экономной, так как возрастание числа слов не вызывает высокого возрастания длины слова. Жизненной потребностью языка является развитие его дифференциальных возможностей. Естественно предположить, что в развитии языков должна возрастать роль наиболее экономной поляризации — внутрифонемной поляризации, а роль линейной поляризации по числу фонем должна ограничиваться или даже сокращаться в исконных многовековых наиболее частотных словах. Однако не существует сколько-нибудь ясной модели, с помощью которой можно было бы доказать, что количество фонем в языке находится в связи с количеством фонем в слове или морфеме.

В пользу указанной выше зависимости говорят данные современной лингвистической статистики. Так, по подсчетам Р. М. Фрумкиной, слова в текстах А. С. Пушкина с абсолютной частотой свыше 1000 на 544 777 словоупотреблений содержат, как правило, по три фонемы, слова с абсолютной частотой менее 30 содержат от 5 до 12 фонем. Если частоту слова обозначить символом x, а число фонем в слове символом y, то зависимость между абсолютной частотой слова и его позиционностью можно выразить следующим образом:

$$\text{Если } x > 1000, \text{ то } 1 \leqslant y \leqslant 3 \qquad \text{I}$$

$$\text{Если } x < 30, \text{ то } 5 \leqslant y \leqslant 12 \qquad \text{II}$$

Малой позиционностью обладают личные местоимения, предлоги и некоторые союзы[1].

По словарю Э. А. Штейнфельдт[2] слова с частотой более 1800 имеют число фонем от 1 до 3, а слова с частотой менее 16 — от 4 до 12. Зависимость между абсолютной частотой слова и его позиционностью, по данным словаря Э. А. Штейнфельдт, можно выразить следующим образом:

$$\text{Если } x > 1800, \text{ то } 1 \leqslant y \leqslant 3 \qquad \text{I}$$

$$\text{Если } x < 16, \text{ то } 4 \leqslant y \leqslant 12 \qquad \text{II}$$

Как видим, частотные словари, сделанные на основании различных источников, показывают более или менее сходное соотношение между частотой слова и его позиционностью.

*

Соображения о зависимости между числом фонем в системе языка и числом фонем в отдельных словах могут оказаться полезными для интерпретации связи между фонологией и морфонологией. Но для этого необходимо более строго определить разные формы таких зависимостей и

[1] См.: «Материалы к частотному словарю языка Пушкина («Проспект»), М., 1963.

[2] Э. А. Штейнфельдт, Частотный словарь современного русского литературного языка, Таллин, 1963.

найти им математическое выражение. Строгую зависимость, существующую между числом фонем в системе языка и числом их дифференциальных функций, можно выразить математически. Каждый фонологический объект имеет столько дифференциальных функций, сколько фонологических объектов имеет система в целом.

Одну дифференциальную функцию одной отдельной фонемы выразим в форме уравнения $a_1 = f_1(a_2)$, где a_1 и a_2 — разные фонемы, а f_1 — функция a_1 от a_2, например *б* $= f_1$(*б'*), ср. *был — бил*, *б* $= f_2$ (*п*), ср. *был — пыл*, *б* $= f_3$ (*п'*), ср. *был — пил*, *б* $= f_4$ (*в*), ср. *был — выл* и т. д. Уравнение $a_1 = f_1$ (a_2) будем называть формулой отдельной дифференциальной функции отдельной фонемы.

Множество дифференциальных функций одной фонемы равняется множеству всех фонем языка, так как каждая отдельная фонема имеет столько сопоставлений с другими фонемами (в том числе с собой), сколько имеется фонем в системе языка.

Множество всех дифференциальных функций одной фонемы будем называть дифференциальной мощностью одной фонемы в данной системе и обозначать символом f_a: зависимость между дифференциальной мощностью одной фонемы и множеством фонем можно выразить уравнением $f_a = n$, где f_a — символ дифференциальной мощности одной фонемы, а n — ее числовое значение, равное множеству всех фонем. Уравнение $f_a = n$ будем называть формулой дифференциальной мощности одной фонемы.

Так как число всех дифференциальных функций одной фонемы равняется числу фонем, то множество всех дифференциальных функций всех фонем системы равняется квадрату числа фонем. Множество всех дифференциальных функций всех фонем системы будем называть дифференциальной мощностью системы фонем и обозначать символом α.

Зависимость между дифференциальной мощностью всех фонем системы α и множеством фонем системы n можно выразить уравнением $\alpha = n^2$, где α — символ дифференциальной мощности всех фонем системы, n — число фонем системы, а n^2 — числовое значение дифференциальной мощности всех фонем системы. Назовем уравнение $\alpha = n^2$ формулой дифференциальной мощности системы фонем [3].

С возрастанием числа фонем в системе языка возрастает и дифференциальная мощность всех фонем. Если число исходных фонем обозначить буквой n, а число фонем, на которое возросла исходная система фонем, буквой a, то формула дифференциальной мощности возросшей системы фонем получит следующий вид:

$$\alpha + \Delta\alpha = (n + a)^2 = n^2 + 2na + a^2,$$

где $\alpha + \Delta\alpha$ — символ дифференциальной мощности возросшей системы фонем, а $n^2 + 2\ na + a^2$ — ее числовое значение.

Назовем уравнение $\alpha + \Delta\alpha = n^2 + 2na + a^2$ формулой возросшей дифференциальной мощности согласных фонем. Если исходная дифференциальная мощность равна n^2, а возросшая равна $n^2 + 2na + a^2$, то разность между ними $\Delta\alpha$ представляет число, на которое возросшая мощность больше исходной мощности:

$$(n^2 + 2na + a^2) - n^2 = \Delta\alpha.$$

Отсюда: $\Delta\alpha = 2na + a^2$.

---

[3] Имеется в виду теоритически возможная, а не фактически наличная дифференциальная мощность.

Назовем уравнение $\Delta\alpha = 2na + a^2$ формулой возрастания исходной дифференциальной мощности согласных фонем. Дифференциальную мощность фонем, выражаемую числом n^2, будем называть исходной мощностью, а дифференциальную мощность, выраженную числом $2na + a^2$ — добавочной частью возросшей дифференциальной мощности системы фонологических объектов.

Добавочная часть возросшей дифференциальной мощности согласных фонем равна удвоенному произведению исходного числа фонем n и вновь возникших фонем a плюс квадрат числа вновь возникших фонем a $(= 2na + a^2)$ и выражает собою уровень возрастания исходной дифференциальной мощности согласных фонем.

Указанная выше формула позволяет установить коэффициент возрастания исходной дифференциальной мощности. Если мы разделим число $n^2 + 2na + a^2$ на число n^2, мы получим коэффициент возрастания исходной мощности дифференциальных функций: $\frac{n^2 + 2na + a^2}{n^2} = x$, где x представляет собою искомый коэффициент. Уравнение $\frac{n^2 + 2na + a^2}{n^2} = x$ будем называть формулой коэффициента возрастания исходной дифференциальной мощности согласных фонем.

*

В общеславянском языке на его ранней ступени развития, как известно, не было оппозиции твердых и мягких согласных фонем. Исходя из этого, примем число согласных фонем в общеславянском языке до возникновения противопоставления по твердости и мягкости равным 15: *б*, *п*, *м*, *в*, *д*, *т*, *з*, *с*, *н*, *л*, *р*, *j*, *г*, *к*, *х*. Дифференциальная мощность согласных фонем была равна $15^2 = 225$.

Если считать, что в современном русском языке имеется 37 фонем, то следует признать, что число фонем в современном русском языке больше числа фонем в общеславянском языке на 22 единицы. Возросшая дифференциальная мощность фонем современного русского языка выражается формулой:

$$15^2 + 2.15.22 + 22^2 = 1369.$$

Эти расчеты подтверждают тот факт, что в истории русского языка имел место значительный рост дифференциальной мощности согласных фонем.

Уровень возрастания в современном русском языке исходной дифференциальной мощности, имевшей место в общеславянском языке, выражается формулой:

$$(15^2 + 2.15.22 + 22^2) - 15^2 = 2.15.22 + 22^2 = 1144.$$

Это значит, что дифференциальная мощность согласных фонем в современном русском языке больше дифференциальной мощности согласных фонем в общеславянском языке на 1144 дифференциальные функции. Коэффициент возрастания исходной дифференциальной мощности согласных фонем в современном русском языке выражается формулой:

$$\frac{15^2 + 2.15.22 + 22^2}{15^2} > 5 < 6.$$

Это значит, что дифференциальная мощность согласных фонем современного русского языка по сравнению с дифференциальной мощностью согласных фонем общеславянского языка возросла более чем в пять раз.

Таковы размеры возрастания дифференциальной мощности согласных фонем в истории русского языка, начиная с эпохи общеславянского языка.

Мы не можем привести примеры всех различительных функций согласных фонем в современном русском языке и всех различительных функций согласных фонем в общеславянском языке. Это потребовало бы много места. Рассмотрим только некоторые характерные случаи.

Фонема *б* в общеславянском языке имела следующие 15 дифференциальных функций: $б = f_1$ (*б*) — нулевая функция, $б = f_2$ (*п*), $б = f_3$ (*м*), $б = f_4$ (*в*), $б = f_5$ (*д*), $б = f_6$ (*т*), $б = f_7$ (*з*), $б = f_8$ (*с*), $б = f_9$ (*н*), $б = f_{10}$ (*л*), $б = f_{11}$ (*р*), $б = f_{12}$ (*j*), $б = f_{13}$ (*г*), $б = f_{14}$ (*к*), $б = f_{15}$ (*х*).

В современном русском языке имеются и такие дифференциальные функции фонемы *б*, которых не было в общеславянском языке, например: $б = f_1 (б^1)$, ср. *был — бил*, $б = f_2 (п^1)$, ср. *был — пил*, $б = f_3 (в^1)$, ср. *был — выл*, $б = f_4 (м^1)$, ср. *был — мил*, $б = f_5 (ф)$, ср. *бар — фар*, $б = f_6 (ф^1)$, ср. *был — фил* в *филфак*, $б = f_7 (т^1)$, ср. *быль — Тиль*, $б = f_8 (с^1)$, ср. *был — сил*, $б = f_9 (р^1)$, ср. *баски — ряски*, $б = f_{10} (н^1)$, ср. *быть — нить*, $б = f_{11} (л^1)$, ср. *быть — лить*, $б = f_{12} (ж)$, ср. *был — жил*, $б = f_{13} (ш)$, ср. *быть — шить*, $б = f_{14} (ч)$, ср. *бык — чик*, $б = f_{15} (ц)$, ср. *боб — цоб*, $б = f_{16} (ш')$, ср. *бука — щука*, $б = f_{17} (к^1)$, ср. *быль — киль*, $б = f_{18} (х')$, ср. *был — хил* и др.

Фонема *б* в общеславянском языке не могла иметь таких дифференциальных функций, так как тогда не было мягких согласных фонем, не было фонем *ф* и *ф'*, звуки *ж*, *ш*, *ч*, *ц*, *ж:'* *ш:'* еще не были фонемами.

Кроме дифференциальных функций отдельных согласных фонем и их общей дифференциальной мощности, необходимо выделить для анализа поляризационные пары. Зависимость между количеством согласных фонем в системе языка и количеством поляризационных пар можно выразить следующим уравнением:

$$n + \frac{n^2 - n}{2} = y,$$

где y — количество поляризаций, а n — количество согласных фонем. Назовем это уравнение формулой поляризационной мощности системы фонологических объектов.

Если число согласных фонем общеславянского языка обозначить буквой n, а число фонем, на которое возросло число согласных в современном русском языке, обозначить буквой a, то формула возросшей поляризационной мощности согласных фонем получит следующий вид:

$$(n + a) + \frac{(n + a)^2 - (n + a)}{2} = y_1,$$

где y_1 есть число, выражающее возросшую поляризационную мощность системы согласных фонем, n — число исходных фонологических объектов и a — число вновь возникших фонологических объектов. Назовем это формулой возросшей поляризационной мощности системы согласных фонем. Эта формула позволяет установить уровень и коэффициент возрастания или обогащения исходной поляризационной мощности согласных фонем.

Разность между возросшей поляризационной мощностью согласных фонем и исходной поляризационной мощностью выражает собою уровень возрастания исходной поляризационной мощности.

$$\left[(n + a) + \frac{(n + a)^2 - (n + a)}{2}\right] - \left[n + \frac{n^2 - n}{2}\right] = x,$$

где x представляет собой указанную разность. Производя соответствующие преобразования, получим уравнение

$$na + \frac{a + a^2}{2} = x,$$

которое назовем формулой уровня возрастания поляризационной мощности системы согласных фонем.

Частное от деления числа $(n + a) + \frac{(n+a)^2 - (n+a)}{2}$, выражающего возросшую поляризационную мощность согласных фонем, на число $n + \frac{n^2 - n}{2}$, выражающее исходную поляризационную мощность согласных фонем, представляет собою коэффициент возрастания исходной поляризационной мощности согласных фонем:

$$\frac{(n + a) + \frac{(n+a)^2 - (n+a)}{2}}{n + \frac{n^2 - n}{2}} = x,$$

где x представляет собой указанный коэффициент. Произведя соответствующие преобразования, получим уравнение

$$\frac{n + a + n^2 + 2na + a^2}{n + n^2} = x,$$

которое назовем формулой коэффициента возрастания поляризационной мощности системы согласных фонем.

Как было принято выше, в общеславянском языке было 15 согласных фонем, в современном русском языке число согласных фонем возросло на 22 единицы. Поляризационную мощность согласных фонем в общеславянском языке можно вычислить по формуле

$$15 + \frac{15^2 - 15}{2} = 120.$$

Поляризационную мощность согласных фонем в современном русском языке можно вычислить по формуле

$$(15 + 22) + \frac{(15^2 + 2.15.22) - (15 + 22)}{2} = 703.$$

Уровень возрастания в современном русском языке исходной поляризационной мощности, имевшей место в общеславянском языке, исчисляется по формуле

$$22 + \frac{2.15.22 + 22^2 - 22}{2} = 583.$$

Это значит, что исходная поляризационная мощность согласных фонем возросла в современном русском языке на 583 поляризационных пары.

Коэффициент возрастания в современном русском языке исходной поляризационной мощности исчисляется по формуле:

$$\frac{15 + 22 + 15^2 + 2.15.22 + 22^2}{15 + 15^2} > 5 < 6.$$

Это значит, что исходная поляризационная мощность согласных, имевшая место в общеславянском языке, возросла в современном русском языке более чем в пять раз. Все поляризационные пары, которые были в общеславянском языке, сохраняются и в современном русском языке; к ним добавляются такие, которых не было в общеславянском языке.

Возникает необходимость установить зависимость между типами поляризации, их количеством и числом разбиений, на основе которых выделяются дифференциальные элементы.

Типы поляризаций и их количество устанавливаются с помощью уравнения $0 + C_a^1 + C_a^2 + C_a^3 \ldots C_a^a = z$, где z — общее количество типов поляризации, 0 — один тип нулевой поляризации, C_a^1 — типы поляризации согласных фонем по характеру дифференциальных элементов одиночных разбиений, C_a^2 — типы поляризации согласных фонем по характеру дифференциальных элементов двух разбиений из общего их количества, C_a^3 — типы поляризации по характеру дифференциальных элементов трех разбиений из того же их количества и т. д.

Назовем уравнение $0 + C_a^1 + C_a^2 + C_a^3 \ldots C_a^a = z$ формулой типов поляризации и их количества. В общеславянском языке согласные фонемы имели три разбиения:

II[4]
1 — звонкость
2 — глухость
3 — сонорность

III
1 — смычность
2 — щелинность
3 — неоднородность

IV
1 — лабиальность
2 — дентальность
3 — небность
4 — заднеязычность

В общеславянском языке 15 согласных фонем имели следующие дифференциальные элементы:

б — 111: звонкость, смычность, лабиальность,
п — 211: глухость, смычность, лабиальность,
м — 311: сонорность, смычность, лабиальность,
в — 121: звонкость, щелинность, лабиальность,
д — 112: звонкость, смычность, дентальность,
т — 212: глухость, смычность, дентальность,
з — 122: звонкость, щелинность, дентальность,
с — 222: глухость, щелинность, дентальность,
н — 312: сонорность, смычность, дентальность,
л — 322: сонорность, щелинность, дентальность,
р — 332: сонорность, неоднородность, дентальность,
j — 313: сонорность, щелинность, небность,
г — 114: звонкость, смычность, заднеязычность,
к — 214: глухость, смычность, заднеязычность,
х — 224: глухость, щелинность, заднеязычность.

На основе указанного уравнения мы получаем: четыре типа поляризаций по характеру дифференциальных элементов одиночных разбиений, в том числе и нулевую поляризацию: 0, 2, 3, 4; три типа поляризаций по характеру дифференциальных элементов двух разбиений: 23, 24, 34; один тип поляризации по характеру дифференциальных элементов трех разбиений 234; всех типов поляризаций в общеславянском языке было $0 + C_3^1 + C_3^2 + C_3^3 = 1 + 3 + 3 + 1 = 8$.

Все эти типы поляризаций сохранились и в современном русском языке. Современный русский язык унаследовал три типа поляризации по свойствам дифференциальных элементов одиночных разбиений: 1) тип поляризации по свойствам дифференциальных элементов второго разбиения, например звонкость — глухость: *б* — *п*, *д* — *т*, *з* — *с*, *г* — *к* и др.;

[4] В общеславянском языке не было дифференциальных элементов, которые в современном русском языке составляют одно подмножество (твердость — мягкость).

2) тип поляризации по свойствам дифференциальных элементов третьего разбиения, например, смычность — щелинность: *б — в*, *д — з*, *т — с*, *к — х* и др.; 3) тип поляризации по свойствам дифференциальных элементов четвертого разбиения, например, лабиальность — дентальность: *б — д*, *м — н*, *п — т*, *в — з*.

Современный русский язык унаследовал три типа поляризации согласных фонем по свойствам дифференциальных элементов двух разбиений: 1) тип поляризации по свойствам дифференциальных элементов второго и третьего разбиений, например, звонкость, смычность — глухость, щелинность, ср. *д — з*, *т — с* и др.; 2) тип поляризации по свойствам дифференциальных элементов второго и четвертого разбиений, например, звонкость, лабиальность — глухость, дентальность, ср. *б — т*; 3) тип поляризации по свойствам дифференциальных элементов третьего и четвертого разбиений, например, смычность, лабиальность — щелинность, дентальность, ср. *б — з*.

Современный русский язык унаследовал один тип поляризации по свойствам дифференциальных элементов трех разбиений, т. е. второго, третьего и четвертого разбиений, например, звонкость, смычность, лабиальность — глухость, щелинность, дентальность, ср. *б — с*.

В современном русском языке согласные фонемы имеют четыре разбиения. На основе приведенного уравнения получаем пять типов поляризаций по характеру дифференциальных элементов одиночных разбиений, в том числе одну нулевую поляризацию: 0, 1, 2, 3, 4; шесть типов поляризации по характеру дифференциальных элементов двух разбиений: 12, 13, 14, 23, 24, 34; четыре типа поляризации по характеру дифференциальных элементов трех разбиений 123, 124, 134, 234; один тип поляризации по характеру дифференциальных элементов четырех разбиений. Всех типов поляризации в современном языке имеется $0 + C_4^1 + C_4^2 + C_4^3 + C_4^4 = 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16$.

Возникает необходимость нахождения зависимости между увеличением числа разбиений на одну единицу и уровнем возрастания типов поляризации и их количества. Эта задача разрешается с помощью использования уравнения $C_{a+1}^k = C_a^k + C_a^{k-1}$. Выражение C_a^k представляет собой запись числа комбинации из a элементов по k элементов, например, числа комбинаций из 3 по 2: $C_3^2 = 3$ (ср. 12, 13, 23). Выражение C_{a+1}^k представляет запись числа комбинаций по k элементов из $a + 1$ элементов. Уравнение $C_{a+1}^k = C_a^k + C_a^{k-1}$ устанавливает, что число комбинаций по k элементов из $a + 1$ элементов равняется числу комбинаций по k элементов из a элементов (C_a^k) плюс число комбинаций по $k - 1$ элементов из a элементов (C_a^{k-1}). Следовательно, увеличение числа элементов a на 1 ($a + 1$), из которого образуются комбинации из k элементов, увеличивает число этих комбинаций на число, равное C_a^{k-1}.

Полученную нами прежде формулу типов поляризации необходимо изменить так, чтобы число a элементов, из которых образуются комбинации элементов по 1, по 2, по 3 и т. д., было увеличено на 1; тогда число элементов, из которых образуются указанные выше комбинации, будет равно $a + 1$.

Формула типов поляризаций и их количества получит следующий вид:

$$1 + C_{a+1}^1 + C_{a+1}^2 + C_{a+1}^3 \ldots C_{a+1}^{a+1} = z$$

Слагаемые первой части формулы C_{a+1}^1, C_{a+1}^2 и др. должны быть преобразованы по требованию уравнения

$$C_{a+1}^k = C_a^k + C_a^{k-1}$$

Тогда наша формула примет следующий вид:

$$1 + (C_a^1 + C_a^{1-1}) + (C_a^2 + C_a^{2-1}) + (C_a^3 + C_a^{3-1}) \ldots (C_a^a + C_a^{a-1}) + C_{a+1}^{a+1} = z_n$$

Так как в общеславянском языке было три разбиения согласных и типы поляризации возникали на основе различных комбинаций трех разбиений, то в полученном уравнении можно символ a заменить числом 3; тогда уравнение получит следующий вид:

$$1 + (C_3^1 + C_3^{1-1}) + (C_3^2 + C_3^{2-1}) + (C_3^3 + C_3^{3-1}) + C_{3+1}^{3+1} = 16$$

Слагаемые в левой части уравнения, взятые в скобки, содержат первую и вторую часть. Первые части выражают типы поляризации и их количество, имевшие место в общеславянском языке и унаследованные современным русским языком. Вторые части этих слагаемых выражают типы поляризации, которые развились в истории русского языка и имеют место в настоящее время.

Произведя выборку первых частей слагаемых и присоединив к ним 0 (нулевую поляризацию), мы получим уже известную нам формулу типов поляризации в общеславянском языке: $0 + C_3^1 + C_3^2 + C_3^3 = 8$. Произведя выборку вторых частей слагаемых, мы получим формулу уровня возрастания типов поляризации и их количества, которая выражает то новое, чем отличается современный русский язык от общеславянского.

Формула уровня возрастания типов поляризации имеет следующий вид:

$$C_3^{1-1} + C_3^{2-1} + C_3^{3-1} + C_{3+1}^{3+1} = 8$$

В этой формуле первое слагаемое левой части уравнения имеет вид C_3^{1-1}. При раскрытии его числового значения оно получает вид $C_3^{1-1} = 1$. Это равенство обозначает наличие одной поляризации по свойствам дифференциальных элементов одного нового разбиения. И действительно, в истории русского языка развился еще один тип поляризации по твердости и мягкости, т. е. по свойствам дифференциальных элементов первого разбиения.

Второе слагаемое имеет вид C_3^{2-1}. При раскрытии его числового значения оно получает вид $C_3^{2-1} = 3$. Это равенство обозначает наличие трех типов поляризации согласных фонем по свойствам дифференциальных элементов двух разбиений. И действительно, в истории русского языка возникли новых три типа поляризации по свойствам дифференциальных элементов твердости и мягкости в комбинации с дифференциальными элементами других трех разбиений. Согласно формуле их может быть только три — 12 (*был — пил*), 13 (*был — вил*), 14 (*пуль — тюль*).

Третье слагаемое имеет вид C_3^{3-1}. При раскрытии его численного значения оно получает вид $C_3^{3-1} = 3$. Это равенство обозначает наличие новых трех типов поляризаций фонем по свойствам дифференциальных элементов трех разбиений. И действительно, в истории русского языка возникли новых три типа поляризации по свойствам дифференциальных элементов твердости и мягкости в комбинации с парными сочетаниями дифференциальных элементов других трех разбиений. Согласно формуле их может быть только три: 123 (*был — фил* в слове *филфак*), 124 (*быль — Тиль*), 134 (*был — Зил*).

Четвертое слагаемое имеет вид C_{3+1}^{3+1}. При раскрытии его числового значения оно получает вид $C_{3+1}^{3+1} = 1$. Это равенство обозначает наличие одного типа поляризации по свойствам дифференциальных элементов всех четырех разбиений. В истории русского языка действительно развился

один тип поляризации по свойствам дифференциальных элементов всех четырех разбиений — т. е. 1, 2, 3 и 4 — например, твердость, звонкость, смычность, лабиальность — мягкость, глухость, щелинность, дентальность (*был — сил*).

Поляризационные типы имеют варианты. Количество вариантов поляризационных типов зависит от числа дифференциальных элементов в одном разбиении. Варианты поляризации по свойствам дифференциальных элементов одного разбиения определяются с помощью уравнения $C_n^2 = q$, где q — число вариантов одного типа поляризации, n — число дифференциальных элементов в одном разбиении. Назовем уравнение $C_n^2 = q$ формулой вариантов поляризационных типов по свойствам дифференциальных элементов одиночных разбиений.

Если в разбиении имеется три дифференциальных элемента, то $C_3^2 = 3$, т. е. возможны три варианта одного типа поляризации, например, 12, 13, 23. Если в разбиении имеется четыре дифференциальных элемента, то возможно $C_4^2 = 6$ вариантов одного типа поляризации, например: 12, 13, 14, 23, 24, 34.

Если в разбиении имеется два дифференциальных признака, то тип поляризации и его вариант совпадают, т. е. $C_2^2 = 1$.

В общеславянском языке были следующие варианты поляризационных типов по свойствам дифференциальных элементов одиночных разбиений.

В поляризационном типе по свойствам дифференциальных элементов второго разбиения имелось $C_3^2 = 3$ варианта, например: 1^2—2^2 (звонкость — глухость): *б — п*, *д — т*, *з — с*, *г — к*; 1^2—3^2 (звонкость — сонорность): *б — м*, *д — н*, *з — л*; 2^2—3^2 (глухость — сонорность): *п — м*, *т — н*, *с — л*. Все эти варианты сохранились в русском языке, но, кроме того, в нем развились новые поляризационные пары, которых не было в общеславянском языке: *б' — п'*, *в' — ф'*, *д' — т'*, *з' — с'*, *г' — к'*, *б' — м'*, *д' — н'*, *з' — л'*, *п' — м'*, *м' — н'*, *с' — л'*.

Поляризационный тип по свойствам дифференциальных элементов третьего разбиения имел $C_3^2 = 3$ варианта, например: 1^3—2^3 (смычность — щелинность): *б — в*, *д — з*, *т — с*, *н — л*, *к — х*; 1^3—3^3 (смычность — неоднородность): *н — р*; 2^3—3^3 (щелинность — неоднородность): *л — р*. Все эти варианты сохранились и в русском языке, но, кроме того, в нем развились новые поляризационные пары, которых не было в общеславянском языке: *б' — в'*, *д' — з'*, *т' — с'*, *п' — л'*, *к' — х'*, *н' — г'*, *л' — р'*, *т' — ц*, *с' — ц*.

Поляризационный тип по свойствам дифференциальных элементов четвертого разбиения теоретически мог иметь $C_4^2 = 6$ вариантов, фактически их было четыре, например 1^4—2^4 (лабиальность — дентальность): *б — д*, *п — т*, *в — з*; вариант 1^4—3^4 отсутствовал; 1^4—4^4 (лабиальность — заднеязычность): *б — г*, *п — к*; 2^4—3^4 (дентальность — небность): *л — j*; 2^2—4^4 (дентальность — заднеязычность): *д — г*, *т — к*, *с — х*; вариант 3^4—4^4 (небность — заднеязычность) отсутствовал. Все эти общеславянские варианты сохранились и в русском языке; но, кроме того, в нем развились новые варианты поляризаций и новые поляризационные пары в унаследованных вариантах данного поляризационного типа. Новые варианты данного типа поляризации: 1^4—3^4 (лабиальность — небность): *в — ж*, *ф — ш*; 3^4—4^4 (небность — заднеязычность): *ш — х*. Новые поляризационные пары унаследованных вариантов данного поляризационного типа: *б' — д'*, *п' — т'*, *в' — з'*, *ф — с*, *ф' — с'*, *б' — г'*, *п' — к'*, *с' — х'*, *д' — г'*, *м' — к'*, *ф — х*, *ф' — х'*, *д' — г'*, *т' — к'*, *с' — х'*.

Варианты поляризационных типов по свойствам дифференциальных элементов нескольких разбиений устанавливаются с помощью уравнения $C^2_{a^1}.C^2_{a^2}\ldots C^2_{a^n} = q$, где q — количество вариантов данного поляризационного типа, а a^1, a^2 ... a^n — количество вариантов поляризационных типов по свойствам дифференциальных элементов отдельных разбиений. Назовем уравнение $C^2_{a^1}.C^2_{a^2}\ldots C^2_{a^n} = q$ формулой вариантов поляризационных типов по свойствам дифференциальных элементов нескольких разбиений.

Поясним смысл этой формулы на примере. В наших таблицах второе и третье разбиения имеют по три дифференциальных признака. Поляризационные свойства по типам дифференциальных элементов второго и третьего разбиений имеют, согласно формуле $C^2_3 = 3$, по три варианта.

Количество вариантов поляризационного типа по свойствам дифференциальных элементов второго и третьего разбиений равно произведению числа вариантов поляризационного типа по свойствам дифференциальных элементов второго разбиения на число вариантов поляризационного типа по свойствам дифференциальных элементов третьего разбиения. Так как в каждом из этих поляризационных типов имеется по $C^2_3 = 3$ варианта, то их приведение равно: $C^2_3(=3).C^2_3\ (=3) = 9$. Следовательно, количество вариантов поляризационного типа по свойствам второго и третьего разбиений равно 9.

В общеславянском языке были следующие варианты поляризационных типов по свойствам дифференциальных элементов двух разбиений. Поляризационный тип по свойствам дифференциальных элементов второго и третьего разбиений $C^2_3.C^2_3 = 9$ вариантов, например: $1^{2}1^{3}$—$2^{2}2^{3}$ (звонкость, смычность — глухость, щелинность): *д — с*, *г — х*; $1^{2}1^{3}$—$3^{2}2^{3}$ (звонкость, смычность — сонорность, щелинность): *д — л*; $2^{2}1^{3}$—$3^{2}2^{3}$ (глухость, смычность — сонорность, щелинность): *т — л*; $1^{2}1^{3}$—$2^{2}3^{3}$ (звонкость, смычность — глухость, неоднородность; этот вариант поляризации отсутствовал); $1^{2}1^{3}$—$3^{2}2^{3}$ (звонкость, смычность — сонорность, щелинность): *д — л*; $2^{2}1^{3}$—$3^{2}3^{3}$ (глухость, смычность — сонорность, неоднородность): *т — р*; $1^{2}2^{3}$—$2^{2}3^{3}$ (звонкость, щелинность — глухость, неоднородность; этот вариант поляризации отсутствовал); $1^{2}2^{3}$—$3^{2}3^{3}$ (звонкость, щелинность — сонорность, неоднородность): *з — р*; $2^{2}2^{3}$—$3^{2}3^{3}$ (глухость, щелинность — сонорность, неоднородность): *с — р*.

Все эти варианты данного поляризационного типа сохранились и в русском языке, но, кроме того, в нем развились новые варианты поляризации, например: $1^{2}2^{3}$—$2^{2}3^{2}$ (звонкость, щелинность — глухость, неоднородность): *д — ц*, а также новые поляризационные пары унаследованных вариантов поляризации, например: *д' — с'*, *г' — х'*, *д' — л'*, *т' — л'*, *д' — н'*, *т' — р'*, *з' — р'*, *с' — р'*.

Поляризационный тип по свойствам дифференциальных элементов второго и четвертого разбиений теоретически мог иметь 18 вариантов, т. е. $C^2_3.C^2_4 = 18$. Но так как поляризационный тип по свойствам дифференциальных элементов четвертого разбиения фактически имел только четыре варианта, то вариантов поляризационного типа по свойствам дифференциальных элементов второго и четвертого разбиений могло быть только $C^2_3\,(=3)\cdot C^2_4\,(=6-2) = 12$. Приведем эти варианты рассматриваемого поляризационного типа: $1^{2}1^{4}$—$2^{2}2^{4}$ (звонкость, лабиальность — глухость, дентальность): *б — т*, *в — с*; $1^{2}1^{4}$—$3^{2}2^{4}$ (звонкость, лабиальность — сонорность, дентальность): *б — н*, *в — л*; $2^{2}1^{4}$—$3^{2}2^{4}$ (глухость, лабиальность — сонорность, дентальность): *п — н*; $1^{2}1^{4}$—$2^{2}3^{4}$ (звонкость, лабиальность — глухость, небность; этот вариант поляризации отсутство-

вал); $1^{2}1^{4}$—$3^{2}3^{4}$ (звонкость, лабиальность — сонорность, небность): *в* — *j*; $2^{2}1^{4}$—$3^{3}3^{4}$ (глухость, лабиальность — сонорность, небность, этот вариант поляризации отсутствовал); $1^{2}1^{4}$—$2^{2}4^{4}$ (звонкость, лабиальность — глухость, заднеязычность): *б* — *к*, *в* — *х*; $1^{2}2^{4}$—$2^{2}3^{4}$ (звонкость, дентальность — глухость, небность, этот вариант поляризации отсутствовал); $1^{2}2^{4}$—$3^{2}3^{4}$ (звонкость, дентальность — сонорность, небность): *з* — *j*; $2^{2}2^{4}$—$3^{2}3^{4}$ (глухость, дентальность — сонорность, небность): *с* — *j*; $1^{2}2^{4}$—$2^{2}4^{4}$ (звонкость, дентальность — глухость, заднеязычность): *д* — *к*; $1^{2}3^{4}$—$2^{2}4^{4}$ (звонкость, небность — глухость, заднеязычность; этот вариант поляризации отсутствовал).

Все варианты данного поляризационного типа, имевшие место в общеславянском языке, сохранились и в русском языке. Но, кроме того, в нем развились новые варианты поляризации рассматриваемого типа и новые поляризационные пары унаследованных вариантов поляризаций. Новые варианты данного поляризационного типа: $1^{2}1^{4}$—$2^{2}3^{4}$ (звонкость, лабиальность — глухость, небность): *в* — *ш*; $2^{2}1^{4}$—$3^{2}3^{4}$ (глухость, лабиальность — сонорность, небность): *ф* — *j*; $1^{2}2^{4}$—$2^{2}3^{4}$ (звонкость, дентальность — глухость, небность): *з* — *ш*; $1^{2}3^{4}$ (звонкость, небность — глухость, заднеязычность): *ж* — *х*. Новые поляризационные пары унаследованных вариантов данного типа поляризации: *б'* — *п'*, *в'* — *с'*, *б'* — *н'*, *в'* — *л'*, *п'* — *н'*, *ф* — *л*, *ф'* — *л'*, *б'* — *к'*, *в'* — *х'* и др.

Поляризационный тип по свойствам поляризационных элементов третьего и четвертого разбиений также имел 12 вариантов, т. е. $C_3^2(=3)\cdot C_4^2(=6-2)=12$. Мы не будем приводить варианты этого типа поляризации. Укажем только на то, что и этот тип поляризации получил дальнейшее обогащение в истории русского языка. Как указано было выше, в истории русского языка развились и три других типа поляризации по свойствам дифференциальных элементов двух различений: 12, 13, 14; каждый из них имеет по нескольку вариантов.

*

Изложенные здесь законы возрастания дифференциальной и поляризационной мощности системы согласных фонем в истории русского языка позволяют высказать в порядке предположения ряд общих соображений.

1. Число слов в обозримый период истории русского языка сильно возросло и постоянно возрастает. Возникали и возникают слова многофонемного состава. Это естественно приводило и приводит к возрастанию наименее экономной и наиболее невыгодной поляризации — линейной поляризации по количеству фонем в слове.

2. Естественно возникает необходимость ограничения роли наиболее неэкономной поляризации и развития наиболее экономной поляризации — поляризации внутрифонемного характера. Как было показано, вся история консонантизма русского языка есть история возрастания дифференциальной и поляризационной мощности согласных фонем, возрастания поляризационных типов и их вариантов.

3. На основе изложенных соображений можно высказать предположение о зависимости между дифференциальной и поляризационной мощностью системы фонем языка и длиной фонемного состава слов в этом языке: высокий уровень возрастания дифференциальной мощности внутрифонемного характера делает возможным постоянный и неуклонный рост словаря без значительного увеличения числа фонем в составе слова и, следовательно, без значительного увеличения роли линейной поляризации.

Думается, что сформулированные здесь закономерности могут быть прослежены для языков разных типов.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1965

Е. А. ЗЕМСКАЯ

ЗАМЕТКИ ПО СОВРЕМЕННОМУ РУССКОМУ СЛОВООБРАЗОВАНИЮ

В современном словообразовании наблюдается интересное явление, не привлекавшее еще к себе внимания исследователей. Его можно назвать использованием при словопроизводстве готовых структур, семантически не связанных с производным словом.

Для словообразования характерна двойная связь производного слова с производящим: с т р у к т у р н а я (производная основа представляет собой производящую основу, осложненную каким-либо аффиксом) и с е м а н т и ч е с к а я (значение производного слова мотивировано значением слова производящего). Примеры общеизвестны: *дом — дом-ик*; *белый — бел-еть*; *асфальт — асфальт-ов-ый*, *хулиганить — ис-хулиганить-ся*. В этих и им подобных случаях производное слово связано с производящим и структурно (включает его основу в свой состав), и семантически (его значение мотивируется значением производящего слова).

Однако имеются и отступления от такого рода зависимости. Так, уже в XIX в. находим целый класс слов, структурно связанный с одними производящими основами, но семантически на них не опирающийся или опирающийся лишь частично. Это прилагательные с суффиксом *-н-*, производимые от имен лиц, но обозначающие отношение не к лицу, а к роду деятельности, выполняемой этим лицом. Ср. *слеса́рный* и *сле́сарский*, *инженерный* и *инженерский*, *токарный* и *то́карев*. Первые встречаются в сочетаниях типа: *слесарная мастерская*, *инженерное сооружение*, *инженерное дело*, *токарный станок*, вторые — в таких, как: *слесарский сын*, *инженерская жена*, *инженерская фуражка* и под. Характерны толкования, даваемые таким прилагательным в словарях: *инженерный* «технический, относящийся к деятельности инженера»; *инженерский* «относящийся к инженеру, принадлежащий ему»; *слеса́рный* «относящийся к ручной обработке металла, сборке машин и оборудования и т. п.» (показательно, что в толковании слово *слесарь* вообще отсутствует), *сле́сарский* «относящийся к слесарю, свойственный ему»; *ретроградный* «враждебный прогрессу, всему передовому; реакционный», *ретроградский* «относящийся к ретрограду и ретроградству, свойственный ретрограду»[1]. Аналогичные семантические различия наблюдаются и между другими однокоренными прилагательными с суффиксами *-н-*, с одной стороны, и *-ск-*, *-ов-*, с другой, производимыми от имен лиц.

Особую группу среди имен прилагательных с суффиксом *-н-* составляют образования, формально соотносимые с именами лиц — сложными

[1] Вот несколько примеров употребления прилагательных на *-ный* «Юный камер-юнкер высказывал мнения весьма *ретроградные* ...» (Тург., Новь, I); «— Ну, это глупости,— оборвала Мария Ивановна разговор с *ретроградной* Калисой Никифоровной» (М. Пришвин, Юность Алпатова); «... на подходе к *стригальному* пункту находилось более 11 тысяч [овец]» («Молодой целинник», 17 VI 1963): «Задача высшей технической школы — привить студенту навыки *инженерной* ориентации...» (Изв., 3 II 1964).

существительными, а семантически — с глагольно-именными сочетаниями. Ср. *рыболовные снасти* «снасти для ловли рыбы», а не «снасти рыболова», *рыбоводный пруд* «пруд, в котором (раз)водят рыбу», а не «пруд рыбовода» и т. п. [2]. Любопытно, что при подавляющем большинстве сложных прилагательных на *-ный* имеются соотносительные сложные существительные — имена лиц (ср. соотношения *пешеход — пешеходный*, *китолов — китоловный*, *трубочист — трубочистный* и под.). Случаи, когда такие существительные отсутствуют, немногочисленны: наличие существительного, которое может быть использовано как готовый строительный материал, облегчает процесс словопроизводства.

Таким образом, у рассмотренных прилагательных наблюдается иной вид соотношений с производящими, чем в случаях типа *белый — белить*, *дом — домик*. Включая в свой состав имена лиц (ср. *инженер-н-ый*, *рыболов-н-ый*), т. е. будучи структурно соотнесенными с именами лиц, они не обозначают отношения к лицу. Эти прилагательные лишены значений принадлежности лицу или типической свойственности роду лиц, т. е. тех значений, которые имеют производимые от основ имен лиц прилагательные с суффиксами *-ск-*, *-ов-*, *-j-*.

Использование в качестве производящих основ структур, семантически не соотносительных с производными, в современном русском языке активизируется и проникает еще в некоторые разряды производных слов.

1. Прежде всего это прилагательные, образованные с помощью приставок предложного происхождения (*над-*, *под-*, *меж-*, *около-*, *при-*, *вне-*, *внутри-*, *после-* и др.). Ранее прилагательные с этими приставками образовывались на основе сочетаний существительных с предлогами преимущественно по модели: «предлог, преобразованный в приставку + основа существительного + суффикс *-н-* (в редких случаях *-ов-*, *-ск-*) + аффикс прилагательного». Ср.: *на столе — настольный* (но *столовый*), *за гробом — загробный* (но *гробовой*), *под Москвой — подмосковный* (но *московский*), *за городом — загородный* (но *городской*). В современном языке все чаще прилагательные с отпредложными приставками образуются не по этой модели, а иным способом — в них целиком включается основа отсубстантивного прилагательного, существующего в языке, т. е. используется уже готовый строительный материал; семантически же префиксальное прилагательное остается связанным с сочетанием имени существительного с предлогом [3]. Ср.: *внутрисекторальный*, *межконтинентальный*, *заатлантический*, *предреволюционный*, *послерабочий*, *внерабочий* (связаны с сочетаниями *после работы*, *вне работы*, но включают готовое прилагательное *рабочий*). Особенно интересны случаи, когда суффикс, имеющий в бесприставочном прилагательном специфическое значение, не сохраняет его в префиксальном. Так, прилагательное, образованное от сочетания *меж ворсинками*, должно было бы иметь форму *межворсинковый*, *межворсиночный* или *межворсинный*; в действительности же имеется *межворсинчатый*, образованное присоединением приставки *меж-* к готовому слову *ворсинчатый*. Показательно, что суффикс *-(ч)ат-*, имеющий в слове *ворсинчатый* специфическое значение «наделенный в большом количестве чем-либо» (ср. *створчатый*, *зубчатый*, *пузырчатый* и др.), в префиксальном образо-

[2] Например: «У судоходных каналов и оросительных систем, *рыбоводных* прудов, водохранилищ есть жестокий враг. Этот враг — водные растения...» (Лит. газ., 30 I 1964); «... *хлеборобные* районы пяти областей Украины» (Пром.-эконом. газ., 6 III 1957); *землекопный* снаряд (из совр. газет); *хлебовозная* машина (Правда, 13 X 1964) См. подробнее о таких прилагательных в книге: «Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного. Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в.», М., 1964, стр. 350—353.

[3] Это явление начало развиваться уже в языке XIX в. См.: «Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного», стр. 554—555.

вании этого значения не имеет. Это еще ярче подчеркивает отсутствие семантических связей между префиксальным и бесприставочным образованиями.

Еще более резкое различие между семантической и структурной соотносительностью производного и производящего имеем в тех случаях, когда прилагательное семантически связано с конструкцией «предлог + существительное с определяющим прилагательным», а фактически произведено присоединением приставки к прилагательному, определяющему существительное. Такие прилагательные свойственны преимущественно терминологической речи. Например, *околощитовидный* связано с сочетанием *около щитовидной железы*, а произведено: *около* + *щитовидный*; *подслизистый* связано с сочетанием *под слизистой оболочкой*, а произведено: *под* + *слизистый*[4].

Охарактеризованная тенденция словопроизводства встречает противодействие со стороны продуктивного префиксально-суффиксального способа образования прилагательных. В результате этого возникают тождественные по значению образования, произведенные разными способами. Ср. прилагательные *приполярный*, *околополярный*, образованные префиксацией от готового слова *полярный*, и слова, произведенные префиксально-суффиксальным способом по модели *при- ... -ный*, *около- ...-ный* на основе сочетаний *при полюсе*, *около полюса*: *приполюсный*, *околополюсный*.

2. Затем можно отметить некоторые разряды наречий. Среди наречий на *-о*, *-и*, *-ому* нередко встречаются такие, в которых суффикс наречия присоединяется к основе отсубстантивного прилагательного, однако семантически наречие соотносительно не с прилагательным, а с существительным, от которого произведено прилагательное. Как уже отмечалось[5], наречия типа *по-цирковому*, *по-дачному*, *крапивно*, *струнно*, *водопадно*, *молнийно* и под. связаны семантически со словами *цирк*, *дача*, *крапива*, *струна*, *водопад*, *молния*, а не с соответствующими прилагательными. Они обозначают: *по-цирковому* «как принято в цирке», *по-дачному* «как на даче», *струнно* «подобно струне», *крапивно* «подобно крапиве», *молнийно* «как молния», *водопадно* «как водопад»[6].

Еще интереснее в рассматриваемом отношении наречия типа *исполнительски*. Это слово семантически связано не с прилагательным *исполнительский* и не с существительным *исполнитель*, а с существительным *исполнение*. Ср., например, в таком контексте: «Спектакль *исполнительски* очень хорош» (т. е. «по исполнению», а не «в отношении исполнителей»)[7].

---

[4] Такие образования можно интерпретировать также как произведенные от употребляемых в профессиональной речи субстантивированных прилагательных *слизистая*, *щитовидная*. Однако и в этом случае действует префиксальный, а не комбинированный префиксально-суффиксальный способ словообразования: приставка присоединяется к готовому слову.

[5] См.: О. П. Ермакова, О некоторых изменениях в системе аффиксов и производящих основ качественных наречий, сб. «Развитие грамматики и лексики современного русского языка», М., 1964, стр. 146.

[6] Вот несколько примеров функционирования наречий, семантически связанных с существительными: «Я почувствовал, что действительно превращаюсь в собаку, которая, ласково ворча... просто, *по-дворняжески* кладет свою кудластую псиную душу за бедное человеческое счастье» (И. Эренбург, Лето 1925 года); «На Галилеях эпигоны медленно, *полипно*, *кораллово* строят свое: путь эволюции» («Писатели об искусстве и о себе», М.— Л., 1924, стр. 68); «Только *пантомимно* творящий актер достоин экрана» (С. Радлов, Статьи о театре); «*Пистолетно* захлопал ремнем Джим, пытаясь повернуть собак обратно» (У. Фолкнер, Медведь, перевод с англ.); «... и шел этот поезд с той же *игрушечно* бешеной быстротой» (там же, стр. 128); «Кипят снега над степью /*Зубасто* встали надолбы...» (Р. Рождественский, Стихи о моем имени); «День и ночь/ в ушах звенят желонки/ /Монотонно, /*железно*,/ тонко» (Габиль, Мой огненный город, Комс. пр., 29 V 1964).

[7] См.: О. П. Ермакова, указ. соч., стр. 193.

Как пишет О. П. Ермакова, «при соединении конструктивных элементов наречия (производящая основа + аффикс) говорящий может опираться на прежний опыт в области аналогичного формообразования. Самой „словообразовательной энергии" затрачивается при этом меньше, чем при образовании других частей речи — существительного от глагола, глагола от имен и т. п.»[8]. Любопытным подтверждением этого факта служит то обстоятельство, что при отсутствии соответствующих прилагательных образование наречий настолько затрудняется, что обычно его не происходит. Так, при общей продуктивности наречий, связанных с именами лиц (типа *по-шекспировски*, *по-гагарински*, *по-пушкински* и под.), от имен типа *Золя*, *Кювье*, *Кюри* наречия (так же, как и прилагательные) обычно не производятся[9].

Правда, крайний вывод о том, что в системе наречий формируются новые производные суффиксы *-ски*, *-овски*, *-ински*, *по-... ному* (ср. старый *по- ...ому*), *-ному*, *-иному*[10], едва ли правомерен. Рассмотрение подобных образований в связи с аналогичными явлениями в словообразовании других частей речи показывает, что при создании наречия здесь скорее можно видеть использование готового строительного материала — основы имеющегося в языке прилагательного. Показательно, что, по наблюдениям самой О. П. Ермаковой, «разграничение суффиксов *-ски* и *-овски* совершенно тождественно разграничению суффиксов прилагательных *-ский*, *-овский*»[11], т. е. при образовании наречий, семантически связанных с существительными, используется основа того прилагательного, которое произведено от этого существительного.

О. П. Ермакова обосновывает свое мнение о формировании новых суффиксов утверждением, что при многих производных наречиях соответствующее прилагательное может отсутствовать[12]. Однако поскольку во всех случаях имеются в виду продуктивные типы словообразования прилагательных, отсутствие того или иного слова в словаре не может быть свидетельством невозможности его образования по модели и его «несуществования» в речи. Ведь наречия, о которых пишет О. П. Ермакова, в своей основной массе — факт речи, а не языка; именно поэтому и наречия, и соответствующие прилагательные в словари, как правило, не включаются[13].

3. Несколько иной характер приобретает изучаемое явление в словообразовании существительных. Здесь оно обнаруживается при образовании имен действия на *-ние*, включающих основу предметного существительного, но структурно соотносимых с основами глаголов на *-ировать*, *-изировать*, *-изовать*. Эти глаголы могут в языке отсутствовать[14] или являться вторичными по отношению к соответствующим именем на *-ние*,

---

[8] О. П. Ермакова, О некоторых общих вопросах словообразования наречий (в печати).

[9] См.: О. П. Ермакова, О некоторых изменениях..., стр. 139.

[10] См.: О. П. Ермакова, О некоторых изменениях....

[11] Там же, стр. 142.

[12] Там же, стр. 144.

[13] Ср. с приводимыми О. П. Ермаковой наречиями такие прилагательные, как «*девчоночья* ссора» (Комс. пр., 19 II 1964), «*русалочий* озноб» (Б. Ахмадуллина), «дух *бродяжий*» (С. Есенин), «*ткачья* молодость» (Б. Пильняк), «*чертячий* рог» (Ф. Гладков), «*зверючьи* тропинки» (В. Шишков), «*бобрячьи* воротники» (В. Шишков), «*жавороночья* песня» (Солоухин), «*щеглячий* напев» (А. Белый), «*червячья* кровь» (В. Краковский); «сила *самумья*» (И. Филипченко); «*океаний* грохот» (М. Горький), «*берложий* потолок» (А. Малышкин), «*бутылочьи* горлышки» (В. Маяковский). Список легко можно было бы увеличить.

[14] См.: В. П. Даниленко, О словообразовании в области производственно-технической терминологии, сб. «Вопросы культуры речи», II, М., стр. 33.

так что происходит как бы декорреляция[15] словообразовательной модели. Ср.: *брикет* [*брике-тирова-(ть)*] → *брикет-ирова-ние*, *дождь* [*дожд-ева-(ть)*] → *дожд-ева-ние*, *шкалы* [*шкал-ова-(ть)*] → *шкал-ова-ние*[16]. При производстве существительных этого типа наблюдается использование готовых строительных элементов — основы отыменных глаголов при семантической соотнесенности имен действия на *-ние* непосредственно с предметным существительным. Своеобразие этого строительного материала состоит в том, что он заключен в потенции в словообразовательной системе языка и реально мог себя еще не обнаружить. Выделять в таких случаях сложные суффиксы *-ирование*, *-изование* и под., видимо, нет оснований. Мы имеем здесь не новый производный суффикс, а асемантическую прокладку — интерфикс[17], помогающий соединить основу предметного существительного и суффикс имен действия *-ние*, характерное свойство которого — соединение лишь с глагольными основами.

4. Использование готовых структур обнаруживается и при образовании сложных слов. Наиболее характерно оно, по-видимому, для сложных существительных, относящихся к терминологической или околотерминологической речи. При производстве лексики такого рода наблюдается наибольшее стремление к стандартизации словопроизводства, к построению аналогичных по структуре образований. Вследствие этого многие новые сложные существительные образуются по модели давно существующих слов, хотя семантически они соотносятся с сочетаниями, включающими другие лексемы. Можно рассмотреть для примера ряд слов с элементом *-строение* во второй части, активно пополняющийся в наши дни в результате бурного развития промышленности: *кораблестроение*, *машиностроение*, *самолетостроение*, *тракторостроение*, *комбайностроение*, *станкостроение*, *ракетостроение* и др. под. Такие существительные произведены по модели: «основа существительного, называющего объект действия + *строение*». Однако семантически они соотносятся с сочетаниями, включающими слово *строительство*, а не *строение*, так как последнее в современном языке не обозначает действия по глаголу *строить*[18], а имеет предметное значение «здание, постройка» и «структура, внутреннее устройство чего нибудь»[19].

Такое же расщепление семантической и структурной соотносительности наблюдаем и у других разрядов сложных слов со вторым глагольным компонентом. Многие сложные существительные семантически соотносятся с сочетаниями, включающими префиксальный глагол, но содержат в своем составе бесприставочный элемент. Ср. *овощевод*, *рыбовод*, *льновод*, *просовод*, *оленевод* и мн. др., но *разводить овощи*, *рыбу* и т. д.[20]. Ср. также *овощеводство*, *рыбоводство* и под., но *разведение* (не *водство* или *разводство*) *овощей*, *рыбы* и т. п.

[15] См.: Н. М. Шанский, Очерки по русскому словообразованию и лексикологии, М., 1959, стр. 130.

[16] Т. Л. Канделаки, отмечая этот факт, высказывает интересную мысль об особом характере соотнесенности существительных с глаголами и в этом случае. См.: Т. Л. Канделаки, О некоторых суффиксальных моделях технических терминов, ФН, 1962, 1, стр. 44.

[17] О понятии интерфикса см.: Е. А. Земская, Интерфиксация в современном русском словообразовании, сб. «Развитие грамматики и лексики современного русского языка».

[18] В четырнадцатитомном «Словаре современного русского литературного языка» (М.— Л., 1963) процессуальное значение слова *строение* («действие по 1—3 знач. глаг. строить») снабжено пометой *устар.*

[19] В названном словаре элемент ... *строение* охарактеризован так: «Вторая часть сложных слов, вносящая значение: строительство (разрядка моя.— *Е. З.*) того, что указано в первой части сложения» (стр. 1059).

[20] См. материалы, характеризующие это явление, в ст.: В. П. Григорьев, О границах между словосложением и аффиксацией, ВЯ, 1956, 4.

Мне кажется, что наличие двойной соотносительности у сложного слова не дает основания говорить о превращении вторых компонентов таких слов в суффигированные элементы[21], полуаффиксы или нечто подобное. Прав В. П. Григорьев, пишущий: «...факт соотносительности слов типа *животновод*, *полевод*, *хмелевод* и под. с приставочным глаголом *разводить*, вместо бесприставочного *водить*, сам по себе еще не свидетельствует об отрыве указанных слов от системы словосложения»[22]. Ведь подобная несоотносительность между сложным словом и словосочетанием может касаться и первой части сложения, что, однако, не дает оснований видеть в таких частях префиксы или полупрефиксы. Интересны иллюстрации этого явления, приводимые В. П. Григорьевым: в слове *полевод*, например, элемент *поле-* семантически соотносится с сочетанием слов: *полевые сельскохозяйственные растения*[23].

Мы видим, таким образом, что при образовании сложных слов, семантически связанных со словосочетаниями, или префиксально-суффиксальных слов, семантически связанных с предложно-падежными конструкциями, в состав производного могут включаться не те элементы, которые входят в семантически мотивирующие их конструкции. Это может быть связано с изменением способа производства слов определенных словообразовательных типов (как у рассмотренных выше прилагательных с приставками предложного происхождения *около* + *полярный*, *меж* + *щитовидный*, произведенных не комбинированным префиксально-суффиксальным способом, а чистой префиксацией). При образовании слов *овощевод*, *ракетостроение* и под. в качестве стройматериалов не используются сочетания, с которыми они соотнесены семантически. Эти слова производятся по модели ранее образованных слов (*кораблестроение* → *ракетостроение*). Однако этот факт не исключает такие слова из ряда сложных слов. Об этом свидетельствует их строение — наличие в их составе двух корневых морфем и соединительной гласной — характерных показателей сложных слов в русском языке[24].

В художественной литературе и в научно-технической терминологии наблюдается, хотя и не очень широко, использование готовых структур и при производстве сложных прилагательных: первый элемент сложного слова прибавляется к готовому, уже существующему в языке прилагательному, независимо от того, соответствует ли значение суффикса, входящего в это прилагательное, общему значению сложного слова. Например, у Л. Леонова: «...так скачет порой на пойме *вислобрюхатая* крестьянская кляча...» («Соть»; ср. *вислобрюхая*); «Он все хохотал, исподлобья присматриваясь к девушке выцветшим от алкоголя *треугольчатым* зрачком» («Дорога на океан»; ср. *треугольный*). В стихотворении Г. Горбовского

---

[21] См., например: Н. Д. Андреев, Термины типа *лесоводство*, *лесоведение*, «Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», VI, 1954, стр. 29—30.

[22] В. П. Григорьев, указ. соч., стр. 50.

[23] См. там же.

[24] Не могу согласиться с мнением В. П. Григорьева, который считает образование слов по модели других слов основным признаком аффиксальных слов, отличающим их от сложных слов, которые «возникают обычно на базе синтаксического сочетания знаменательных слов» (указ. соч., стр. 52; см. также стр. 44). В русском языке сложные слова могут производиться двумя способами: конденсацией словосочетаний и по модели других сложных слов. Показательно, что сам В. П. Григорьев косвенным образом признает это, отмечая «материальное» расхождение между словосочетанием и сложным словом (например, приставочный глагол в словосочетаниях *разводить свеклу* и под. и отсутствие приставки в сложных словах *свекловод*, *овощевод* и под.). Каким образом могли образоваться в современном русском языке многочисленные термины со второй частью *-строение* (*ракето-*, *комбайно-*, *станкостроение* и др.), если не по модели других, более старых слов, произведенных в то время, когда существительное *строение* обозначало действие по глаголу *строить*.

«Поиски тепла»: «Хотелось вздохнуть *мелкозвездчатый* иней, /содрать с себя кепку, надеть на забор!» (ср. *мелкозвездный*).

Появление образований этого рода в разных периодических изданиях, у разных авторов свидетельствует о живом характере изучаемого явления: постоянно возникает противоречие между возможностью образовать сложное слово по модели и возможностью присоединить первый элемент сложения к готовому слову (ср. *вислобрюхий* и *висло* + *брюхатый*, *редкометалльный* и *редко* + *металлический*, *треугольный* и *тре* + *угольчатый*, *многоступенный* и *много* + *ступенчатый*, *высокошерстный* и *высоко* + *шерстистый*)[25]. Эти разные возможности могут реализоваться в совершенно аналогичных условиях: «Сейчас... в Дагестане имеется: 300 начальных школ, 5 средних, 100 *политпросветительных* учреждений...» («Жизнь национальностей», III—IV, М., 1923); «Только в середине июня 1922 г. несколько оживилась *политпросветская* работа...» (там же).

Другой случай представляют следующие примеры, в которых прилагательные, семантически соотносительные со сложными существительными, включают в качестве второго компонента готовые слова, являющиеся производными от иных лексем, близких в звуковом отношении второй части этого сложного существительного. Такие образования возникают тогда, когда образование производного от данного сложного слова по каким-либо причинам затруднено и язык ищет «запасной выход». Например: «...т. Троцкому осталось только одно морализирование и *политграмматические* идеи» («Красная Новь», 1925, 1, стр. 332).

Несомненно, что мы имеем здесь не сложное прилагательное, а производное от слова *политграмота*, которое закономерно должно было быть образовано присоединением суффикса *-н-* к основе: *политграмотный*. Однако в данном контексте лучше было бы употребить род. падеж определяющего существительного (*идеи политграмоты*), а не прилагательное (*политграмотные идеи*), так как прилагательное *грамотный* имеет лексикализованное словарное значение («умеющий читать и писать», перен.; «образованный») и возникающее в этом случае сочетание *грамотные идеи* получило бы каламбурное звучание. Поэтому пишущий избрал имеющееся в языке образование *грамматический* (связанное с существительным *грамматика*, а не *грамота*), которое и включил в сложное слово.

Неорганический характер этого соединения ощущается интуитивно — ведь используется готовый элемент близкой, но иной лексемы. Однако он не всегда выступает столь отчетливо. Так, в современной речи употребительно прилагательное *общежитейский*, соотносимое с существительным *общежитие*. Например: «Дело в том, что по тропинке, слегка прихрамывая, шел Сашуня. Московский институтский, *общежитейский* Сашуня на фоне деревенского пейзажа» (В. Солоухин, Характер); «Однако к утру мы все зябли под своими *общежитейскими* одеялишками» (В. Солоухин, Каравай заварного хлеба); «Но *общежитейская* идиллия своеобразна...» (Моск. комс., 10 X 1963); «...нас четверо жило в *общежитейской* комнате» (Лит. газ, 1 VI 1963). В этом прилагательном в качестве второй части использовано готовое слово иной семантики: *житейский*. Показательно,

[25] Показательно, что в разных терминологических системах производные от одних и тех же основ могут образовываться разными способами. Так, в «Терминологии зубчатых механизмов» (VIII, 1951, стр. 15) находим термины: «*прямозубое* колесо», «*косозубое* колесо» (при «*зубчатое* колесо»), в биологической терминологии: «*четырехзубчатое* жало», «*десятизубчатое* жало». Например, в книге И. Халифмана «Пчелы»: «Разве *десятизубчатое* жало не превратилось в орудие защиты всей семьи?»; «... яйцеклад — кривое *четырехзубчатое* жало...». Эти два способа терминообразования могут вытеснять друг друга в пределах одной терминологической системы. Так, в «Терминологии оборудования для сварки металлов» (XXXV, 1940, стр. 34) рекомендуется термин «*одноступенчатый* редуктор» заменить термином «*одноступенный* редуктор».

что другие производные от слова *общежитие* (*общежитский*, *общежитенский*) не являются более частыми и более «законными».

5. Рассматриваемое явление свойственно и словообразованию глаголов, однако тоже в небольшой степени и тоже преимущественно наблюдается как факт речи. Вот показательный пример: «[Яков Львович]... сипло *смычкастит* себе что-то по струнам в дырке городского оркестра...» (М. Шагинян, Перемена)[26]. Глагол *смычкастить* семантически соотнесен с существительным *смычок*, но для его построения использована основа прилагательного *смычкастый*, так как глагольный суффикс *-ить* не присоединяется к основам на *-к*.

Тенденция к использованию готовых строительных элементов в значительной мере определяет функционирование интерфиксов в современном словообразовании. В тех случаях, когда возможен выбор одного интерфикса из многих, преимущество получает тот, который является частью основы в словах другого класса, соотносимых с производным по корневому или аффиксальному элементу. Ср., например, с этой точки зрения следующие пары слов: *лермонтов-ск-(ий)* и *шекспир-ов-ск-(ий)*; *некрасов-ск-(ий)* и *мольер-ов-ск-(ий)*; *фруктов-(ый)* и *фрукт-ов-ниц(а)*, но *сахарниц(а)*.

При функционировании интерфиксов наблюдается и другая тенденция — использование в однокоренных словах разных словообразовательных типов одних и тех же интерфиксов. Ср.: *ялт-ин-ск-(ий)* — *ялт-ин-ец*; *фрукт-ов-щик* — *фрукт-ов-ниц(а)*; *местком-ов-ец* — *местком-ов-ск-(ий)*; *америк-ач-ец* — *америк-ан-ск-(ий)*; *кино-ш-ник* — *кино-ш-к(а)* — *кино-ш-н-(ый)*; *кофе-j-н(ый)* — *кофе-j-ник* — *кофе-j-ниц(а)*.

Все это способствует росту единообразия «строительных материалов» современного словообразования.

*

Несомненно, что изучаемое явление в бóльшей степени характеризует словопроизводство живой речи, чем законы словообразования языка. Однако во многих случаях оно уже вошло в нормы языка, узаконилось[27] (ср. производство прилагательных типа *инженерный* и *межворсинчатый*, терминологических существительных типа *фрезерование*, *брикетирование*, *ракетостроение*, *оленеводство*). Любопытно, что рассматриваемая тенденция преимущественно действует в двух — по многим признакам контрастных — функциональных стилях: терминологии и разговорной речи. Можно думать, объясняется это тем, что при многочисленных различиях эти стили близки одним: традиционностью, устойчивостью, стремлением (сознательным — в терминологии, бессознательным — в разговорной речи) использовать имеющееся, готовое, сложившееся в языке, определяющимся в конечном счете извечной тенденцией языка к экономии энергии, в данном случае словообразовательной[28].

Собственно словообразовательные причины рассмотренного явления у слов разных типов различны. У прилагательных типа *околополярный*,

[26] Пример взят из статьи Р. В. Бахтуриной «Значение и образование отыменных глаголов на ø//*-ить* в современном русском языке» в сб. «Развитие словообразования современного русского языка» (в печати).

[27] О соотношении понятий «система языка» — «речь» — «норма» см.: Э. Косериу, Синхрония, диахрония и история, «Новое в лингвистике», III, М., 1963.

[28] Интересно, что экономия словообразовательной энергии может сопровождаться неэкономным использованием энергии произносительной, так как в ряде случаев включаемые в производное готовые структуры имеют более сложный фонемный состав, чем соответствующие образования, произведенные по модели (ср. *треугольчатый* и *треугольный*, *многоступенчатый* и *многоступенный*, *вислобрюхатый* и *вислобрюхий*). Ср. замечания А. Мартине по поводу экономии энергии синтагматической и парадигматической (А. Мартине, Основы общей лингвистики, «Новое в лингвистике», III, стр. 533—534).

межворсинчатый это явление объясняется общей продуктивностью приставок предложного происхождения в словообразовании прилагательных, их активизацией, приведшей к изменению способа производства прилагательных (они производятся теперь и комбинированным префиксально-суффиксальным способом, и чистой префиксацией) при сохранении ими семантической соотносительности с предложно-падежным сочетанием. У наречий такими причинами является изменение семантики: они начинают семантически соотноситься не только с прилагательными, но и с существительными, однако по-прежнему «вынуждены» использовать основу прилагательного: возможности присоединить суффиксы наречия *-о*, *-и* или *по-... -ому* непосредственно к основе существительного в языке нет. Изменением семантических соотношений, декорреляцией, но не связанной с изменением семантики производных, объясняется рассмотренное явление в словообразовании терминов типа *брикетирование*.

Таким образом, разные процессы современного словообразования приводят к интересным изменениям в соотношении производной и производящих основ. Традиционно признаваемый единственным тип соотношений разрушается: семантическая и структурная соотнесенность производной основы с производящими может быть различной. Это позволяет говорить о «семантически производящих основах» и «структурно производящих основах». Несомненно, что этот новый тип соотношений отвечает другой общей тенденции языка — росту агглютинативности[29]: формирующий производную основу словообразовательный элемент как бы «приклеивается» к готовой, существующей в языке структуре.

Этот тип соотношений обнаруживается в тех случаях, когда: 1) семантически производящая основа не может по структурным основаниям сочетаться с аффиксом, формирующим производное слово («брикет + ние» — невозможно, имеем: *брикет-ирова-ние*); 2) в языке отсутствует традиция образования производных от основ данного типа; 3) образование производных от данной основы затруднено в силу каких-либо специфических особенностей данного слова (например, омонимических совпадений между производными от данного слова и от других слов).

Показательно, что производные слова, включающие готовые структуры, с которыми они не связаны семантически, могут содержать в своем составе морфемы, дублирующие значение друг друга[30], или морфемы, противоположные по значению, например, одну — обозначающую наличие чего-либо в большом количестве, другую — отрицающую наличие названного в основе признака[31].

[29] В понятие агглютинативности здесь вкладывается то содержание, которое обычно имеют в виду, когда говорят об агглютинативных чертах в строе флективных языков: отсутствие модификации, взаимоприспособления значимых элементов при объединении их в слове. См., например: Дж. Гринберг, Квантитативный подход к морфологической типологии языков, «Новое в лингвистике», III, стр. 74—75. Другая важная черта агглютинативности — однозначность, стандартность значения — при использовании в словообразовании готовых структур может нарушаться.

[30] Ср. *высокошерстистый*, *многовильчатый*: *много-* и суффикс *-чат-*, *высоко-* и *-ист-* несут одну и ту же информацию.

[31] Ср. *бесступенчатый*, *безазотистый*, *малоуглеродистый*: «*бесступенчатое* передвижение рамы по фундаментной плите в поперечном направлении» («Инструменты и приспособления по металлообработке для строительно-монтажных работ», М., 1956, стр. 8); «... бобовые культуры снабжают бактерии *безазотистыми* органическими веществами... а те, в свою очередь, усваивают газообразный азот воздуха, значительная часть которого служит азотистой пищей для растений» («Наука и жизнь», 1954, 10, стр. 10); «Детали из магнитно-мягких материалов (*малоуглеродистых* или отожженных легированных)...» («Авиация и космонавтика», 1964, 9, стр. 73).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 8 1965

В. А. РЕДЬКИН

ОБ АКЦЕНТНЫХ СООТНОШЕНИЯХ ИМЕНИ И ГЛАГОЛА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

Успехи в историческом и сравнительно-историческом изучении славянской акцентологии, достигнутые за последние годы [1], дают надежное основание для сопоставления акцентологии имени и глагола как в диахроническом, так и в синхроническом плане. Развивая идеи Н. Ван-Вейка, Хр. Станг убедительно показал, что акцентные кривые [2] имен с неподвижным ударением на окончании (русск. *жена́*, *-ы́*, м. др.-русск. *жены́*, *-а́м* мн. число > *же̑ны*, *-ам*; *суд*, *суда́* и др.) и глаголов с рецессивным ударением (*женю́*, *же̑нишь*, *сужу́*, *су́дишь*) принадлежат к одной и той же акцентной парадигме [3], обозначенной автором литерой *B*, тогда как имена с подвижной акцентной кривой и глаголы с маргинальной акцентной кривой (русск. *род*, *-а*, *в роду́*, мн. число *роды́*, *-о́в*: *рожу́*, *роди́шь*, др.-русск. *родитѣ* > *роди́те*) относится к другой акцентной парадигме, обозначенной автором литерой *C* [4]. Работы же В. А. Дыбо и В. М. Иллича-Свитыча неопровержимо доказывают тождество славянской акцентной парадигмы *B* (по Хр. Стангу) в имени и глаголе с индоевропейской баритонированной акцентной парадигмой, а славянской парадигмы *C* (по Хр. Стангу) в имени и глаголе с индоевропейской окситонированной акцентной парадигмой [5].

Тождество праславянских акцентных парадигм имен существительных и прилагательных [6], с одной стороны, и глаголов — с другой, дает возможность предположить функциональное соответствие акцентных парадигм имени и глагола в современном русском языке.

Сопоставляя акцентные кривые имени и глагола, мы попытаемся ниже установить, в какие акцентные парадигмы объединяются акцентные кривые имен и глаголов, связанных словообразовательными отношениями, как соотносятся акцентные парадигмы имени и глагола, когда глаголы с презентными *и*-основами образуются от имени существительного и имени прилагательного, а также когда имена существительные образуются от глаголов с презентными *и*-основами. Не исследуются глаголы, основы

---

[1] См.: Chr. S. Stang, Slavonic accentuation, Oslo, 1957; В. А. Дыбо, В. М. Иллич-Свитыч, К истории славянской системы акцентуационных парадигм, сб. «Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов (София, сентябрь, 1963)», М., 1963.

[2] Под термином «акцентная кривая» имеется в виду класс правил, определяющих сохраняемость или несохраняемость ударения на морфе в данном типе словоформ. Акцентная кривая — член противопоставления. Это значит, что в данном типе словоформ есть по крайней мере еще одна кривая, отличающаяся от данной по крайней мере одним правилом, ср. *рак*, *ра́ка* и т. д., но *зу́б*, *зу́ба*, мн. число *зу́бы*, *зубо́в*, *зуба́м* и т. д.

[3] Термин «акцентная парадигма» подразумевает класс акцентных кривых, являющийся морфонологической характеристикой данного типа слов. Акцентная парадигма является членом противопоставления. Поэтому в данном типе слов должна быть по крайней мере еще одна акцентная парадигма, отличающаяся от данной по крайней мере одной акцентной кривой. Ср.: В. А. Редькин, Именное ударение в современном русском языке, сб. «Вопросы культуры речи», 5, 1964.

[4] См.: Chr. S. Stang, указ. соч., стр. 112 и сл.; N. van Wijk, Zur Betonung der Verba mit stammbildendem *-i*, AfslPh, 37, 1918 (1920), стр. 15.

[5] Ср.: В. А. Дыбо, [рец. на кн.:] Chr. S. Stang, Slavonic accentuation, Oslo, 1957, сб. «Структурно-типологические исследования», М., 1962, стр. 220 и сл.; В. М. Иллич-Свитыч, Именная акцентуация в балтийском и славянском, М., 1963.

[6] См. подробнее о тождестве акцентных парадигм имен существительных и производных имен прилагательных в праславянском и русском языках в наших статьях «К ударению имен прилагательных с суффиксом *-н*» (сб. «Славянская филология», V, М., 1963) и «К акцентологическому закону Хартмана» («Краткие сообщения Ин-та славяноведения АН СССР», 41 Вопросы славянского языкознания, 1964).

которых распространены приставками. Материал приводится по словарю С. И. Ожегова [7].

I. Продуктивные отношения акцентных парадигм отыменных глаголов к акцентным парадигмам производящих имен существительных и прилагательных в современном русском литературном языке.

1. Если глаголы с презентными *и*-основами (*партиза́ню, -ишь, зло́блюсь, -ишься*) образованы от имен существительных и производящие имена существительные характеризуются акцентными кривыми с неподвижным ударением на одном из морфов основы (*партиза́н, -а, зло́ба, -ы*), производные глаголы имеют акцентную кривую на том же морфе производящей основы.

Производные от имен существительных муж. рода с нулевой флексией в им. падеже ед. числа: *морбжу, -ишь* (*морбз, -а*), *крахма́лю, -ишь* (*крахма́л, -а*), *кара́улю, -ишь* (*кара́ул, -а*), *партиза́ню, -ишь* (*партиза́н, -а*), *навбжу, -ишь* (*навба, -а*), *острослбвлю, -ишь* (*острослбв, -а*) и др. Производные глаголы образуют незамкнутый ряд.

Производные от имен существительных муж. и жен. рода с флексией *-а* в им. падеже ед. числа: *бхрю, -ишь* (*бхра, -ы*), *охбчусь, -ишься* (*охбта, -ы*), *му́чу, -ишь* (*му́ка, -и*), *мотыжу, -ишь* (*мотыга, -и*) и др. Производные глаголы образуют незамкнутый ряд.

Производные от имен существительных ср. рода: *мы́лю, -ишь* (*мы́ло, -а*), *моча́лю, моча́лишь* (*моча́ло, -а*), *жа́лю, -ишь* (*жа́ло, -а*), *чу́дится* (*чу́до, -а*), *су́слю, -ишь* (*су́сло, -а*), *са́лю, -ишь* (*са́ло, -а*), *ма́слю, -ишь* (*ма́сло, -а*). Эти производные глаголы образуют незамкнутый ряд при ограниченности класса производящих слов.

Производные от имен существительных жен. рода с нулевой флексией в им. падеже ед. числа: *мы́слю, -ишь* (*мы́сль, -и*), *мозблю, мозблишь, (мозбль, -и), канифблю, -ишь* (*канифбль, -и*), *канитёлюсь, -ишься* (*канитёль, -и*), *цёлю, -ишь* (*цель, цёли*), *свечущусь, -ишься* (*свечусть, -и*), *пакощу, пакостишь* (*пакость, -и*), *печа́лю, -ишь* (*печа́ль, -и*). Как и в предыдущем случае, производные глаголы образуют незамкнутый ряд при ограниченности класса производящих слов.

Если глаголы образованы от имен прилагательных и производящие имена прилага́тельные характеризуются акцентной кривой с неподвижным ударением на основе, то при наличии кратких форм устанавливается соответствие акцентных кривых производных глаголов с акцентными кривыми кратких форм. Если краткие формы имеют неподвижное ударение на основе, то производный глагол с презентной *и*-основой имеет акцентную кривую на том же морфе, что и краткие формы прилагательног : *ла́комлюсь, -ишься* (*ла́комый, ла́ком, -а, -о, -ы*), *знакбмлюсь, -ишься* (*знакбмый, знакбм, -а, -о, -ы*), *готбвлю, -ишь* (*готбвый, готбв, -а, -о, -ы*), *румя́ню, -ишь*, (*румя́ный, -а, -о, -ы*), *косма́чу, косма́тишь* (*косма́тый, -а, -о, -ы*), *лохма́чу, лохма́тишь* (*лохма́тый, -а, -о, -ы*), *лука́влю, лука́вишь* (*лука́вый, -а, -о, -ы*), *кудря́влю, кудря́вишь* (*кудря́вый, -а, -о, -ы*), *крова́влю, крова́вишь* (*крова́вый, -а, -о, -ы*), *гнуса́влю, гнуса́вишь* (*гнуса́вый, -а, -о, -ы*), *шершавлю, шершавишь* (*шершавый, шершав, -а, -о, -ы*), *слюня́влю, слюня́вишь* (*слюня́вый, слюня́в, -а, -о, -ы*), *дыря́влю, дыря́вишь* (*дыря́вый, дыря́в, -а, -о, -ы*), *фальши́влю, фальши́вишь* (*фальши́вый, фальши́в, -а, -о, -ы*), *паршивлю, (паршивишь* (*паршивый, паршив, -а, -о, -ы*), *пога́ню, пога́нишь, пога́ный, пога́н, -а, -о, -ы*), *мнбжу, мнбжишь* (*мнбгие, мнбги*). Ряд производных незамкнут.

Связанные правилом выбора ударения, акцентные кривые производящих и производных, описанные выше, образуют акцентную парадигму, которую принято называть баритонированной [8]. Баритонированной акцентной парадигмой называется класс акцентных кривых с ударением на морфах (субморфах), образующих основу словоформ. Существенным признаком баритонированной акцентной парадигмы является неподвижность ударения; акцентные кривые производных тождественны акцентным кривым производящих, т. е. в производном ударение падает на тот же морф основы, что и в производящем. В классе производящих баритонированная акцентная парадигма представлена акцентными кривыми с ударением на морфах, входящих в состав производящей основы, ср. *морбжу, -ишь* (*морбз, -а*), *лука́влю, -ишь* (*лука́вый, -а, -о, -ы*) и др.

2. Рассмотрим теперь случаи соответствия акцентных кривых производящих имен и производных глаголов, относящихся к акцентной парадигме, которую называют подвижно-окситонированной. Подвижно-окситонированная акцентная парадигма — это класс акцентных кривых, являющийся отрицанием баритонированной акцентной парадигмы. Акцентные кривые производных, относящиеся к подвижно-окситонированной акцентной парадигме, отличаются от акцентных кривых производящих, т. е. имеет место словообразовательная подвижность ударения. Так, в случае *рулю́, -и́шь*, (*руль, -я́*) в производном ударение находится на флексии (окситонированное), акцентная кривая вообще не представлена в производящем; в случае же *рыбачу, -ишь* (*рыба́к, -а́*) представлена акцентная кривая производного с неподвижным ударением на основе, но отличная т акцентной кривой производящего, имеющего неподв-

[7] С. И. Ожегов, Словарь русского языка, 4-е изд., М., 1960.
[8] См.: В. А. Редькин, указ. соч.

нижное ударение на флексии. В классе производящих подвижно-окситонированная акцентная парадигма представлена неподвижным ударением на окончании (окситонированная акцентная кривая), ср. *царь, -я́*, и различными разновидностями подвижного ударения (именах — схемы *b, c, d, e, f, d′, f′*, по А. А. Зализняку) [9].

Подвижно-окситонированная акцентная парадигма выражается акцентными кривыми, связанными следующими правилами выбора:

1. а) Производящие имена существительные муж. рода с нулевой флексией в им. падеже ед. числа. Акцентная кривая производящего имени — ударение на флексии в формах ед. и мн. числа. В формах с нулевой флексией — условное флексионное ударение [10] (схема *b*, по А. А. Зализняку): *стыд, -а́* и др. Акцентная кривая производных глаголов характеризуется ударением на флексии в 1-м лице ед. числа и в 3-м лице мн. числа и ударением на тематическом гласном *-и-* в остальных презентных формах, ср. *стыжу́, стыди́шь, стыди́т* и др. В качестве примеров ниже приводятся формы 3-го лица ед. числа, так как ударение на тематическом *-и-* в 3-м лице ед. числа свойственно только рассматриваемой кривой: *цари́т* (*царь, царя́*), *петуши́тся* (*пету́х, петуха́*), *холми́тся* (*холм, холма́*), *кусти́тся* (*куст, куста́*), *дожди́т* (*дождь, дождя́*), *гвозди́т* (*гвоздь, гвоздя́*), *ерши́тся* (*ерш, ерша́*) и др. Акцентные кривые производящих и производных присущи незамкнутому ряду слов, ср. производные от недавних заимствований *руль, руля́ — рули́т* и под.

б) Производящие имена существительные жен. рода. Акцентная кривая производящего —ударение на флексии в формах ед. числа, ударение на основе или на флексии в формах мн. числа, ср. *слеза́, -ы́*, мн. число *слезы, слеза́ми, толпа́, толпы́, толпу́*, мн. *то́лпы, то́лпам*. Сюда же относим имена, не имеющие форм мн. числа, ср. *сурьма́, -ы́* и под. Акцентная кривая производного глагола такая же, как и в подклассе *а*) ср. *слеви́тся*. К рассматриваемому подклассу относятся: *толпи́тся* (*толпа́, толпы́*, мн. число *то́лпы, то́лпами*), *сурьми́т* (*сурьма́, сурьмы́*), *суети́тся* (*суета́, суеты́*), *струи́т* (*струя́, струй*, мн. число *стру́и, стру́ям*), *смоли́т* (*смола́, смо́лы*), *копни́т* (*копна́, копны́*, мн. число *ко́пны, ко́пнам*) и др. Акцентные кривые производящих и производных принадлежат к незамкнутому ряду слов.

в) Производящие имена существительные ср. рода. Акцентная кривая имен существительных — ударение на флексии в формах ед. числа и на основе в формах мн. числа. Сюда же относятся имена, не имеющие формы мн. числа: *тавро́, тавра́, колесо́, колеса́*, мн. число *колёса, колесам* и др. Производные глаголы с ударением на тематическом *-и-* (на флексии) в презентных формах, как в предыдущих двух подклассах: *таври́т* (*тавро́, тавра́*), *колеси́т* (*колесо́, колеса́*), *клейми́т* (*клеймо́, клейма́*), *сели́т* (*село́, села́*, мн. число *сёла, -ам*), *гнезди́тся* (*гнездо́, гнезда́*) и др. Акцентные кривые производящих и производных принадлежат незамкнутым рядам слов.

Рассматриваемые ниже акцентные кривые принадлежат замкнутому ряду слов либо в классе производящих, либо в классе производных. Акцентные кривые производящих имен и производных глаголов принадлежат к подвижно-окситонированной акцентной парадигме.

г) Производящие имена существительные муж. рода с нулевой флексией в им. падеже. Акцентная кривая имен существительных — ударение на основе в формах ед. числа и на окончании в формах мн. числа. В местн. падеже ед. числа ударение на спорадически отмечаемой флексии *-у*, ср. *род, ро́да* или *ро́ду, от роду*, местн. *в роду́*, мн. ч. *роды́, -о́в*; в им. падеже мн. числа может быть ударение на основе, ср. *гром, гро́ма*, мн. ч. *гро́мы, громо́в*. Акцентная кривая производных глаголов — ударение на тематическом гласном *-и-* (на флексии), ср. *рожу́, роди́ть, роди́т... родя́т: чади́т* (*чад, -а* или *ча́ду*, местн. пад. *в чаду́*), *цвети́т* (*цвет, -а*, местн. пад. *в цвету́*), *холоди́т* (*хо́лод, -а* или *хо́лоду*, мн. число *холода́, -о́в*), *хмели́т* (*хмель, хме́ля* или *хме́лю*, местн. пад. *в хмелю́*), *следи́т* (*след, -а*, местн. пад. *на следу́, следы́, -о́в*), *роится* (*рой, -я, в рою́*, мн. число *рои́, роёв*), *роди́т* (*род, -а, в роду́*, мн. число *роды́, -о́в*), *пуши́т* (*пух, -а, в пуху́*), *когти́т* (*ко́готь*, **-я**, мн. число *ко́гти, -е́й*), *дуби́т* (*дуб, -а, на дубу́*, мн. число *дубы́, -о́в*), *снежи́т* (*снег, -а, в снегу́*, мн. число *снега́, -о́в*) и др.

Акцентные кривые производящих имен существительных принадлежат к замкнутому ряду слов. Это существительные схем *c, e* по А. А. Зализняку. В словаре С. И. Ожегова мы отметили лишь следующие глаголы, образованные от имен существительных с флексией *-а* в им. падеже мн. числа с названной акцентовкой: *холоди́т, тормози́т, потроши́т, голоси́т, сторожи́т, снежи́т*.

д) Производящие имена существительные жен. рода с флексией *-а* в им. падеже ед. числа. Акцентная кривая имени — ударение на флексии в формах ед. числа, кроме вин. падежа, где ударение на основе, во мн. числе ударение на флексии, кроме им.-вин. падежа мн. числа с ударением на основе, или — ударение на основе во всех формах

[9] См.: А. А. Зализняк, Ударение в современном русском склонении, «Р. яз. в нац. шк.», 1963, , стр. 14—15.

[10] Ср.: А. А. Зализняк, «Условное ударение» в русском словоизменении, ВЯ, 1964, 1, стр. 16; Р. И. Аванесов, Ударение в современном русском литературном языке, 2-е изд., М., 1958, стр. 21 и сл.

мн. числа: *борона́, -ы́, бо́рону*, мн. число *бо́роны, боро́н, борона́м*; *цена́, -ы́, це́ну*, мн. число *це́ны, це́нам* (схемы *f′*, *d′* по А. А. Зализняку). Акцентная кривая производного глагола — ударение на тематическом гласном *-и-* (на флексии): *борони́т* (*борона́, -ы́, бо́рону*, мн. число *бо́роны, боро́н, -а́м*), *ценя́т* (*цена́, цены́, це́ну*, мн. число *це́ны, це́нам*), *воли́т* (*зола́, золы́, зо́лу*). В словаре С. И. Ожегова приводятся только перечисленные глаголы. Акцентная кривая производящих имен существительных охватывает замкнутый ряд слов [11].

е) Производящие имена существительные жен. рода с нулевой флексией. Акцентная кривая имени — ударение на основе в формах ед. числа (спорадически ударение на флексии в местн. падеже ед. числа), в формах мн. числа ударение на основе в им. -вин. падеже и на флексии в остальных формах, ср. *честь, -и, в чести́*; *сна́сть, -и*, мн. *сна́сти, -е́й* (схема *е*, по А. А. Зализняку). Акцентная кривая производного глагола — ударение на тематическом *-и-* (на флексии) в презентных формах, ср. *честя́т*: *шерстя́т* (*шерсть, -и*, мн. число *ше́рсти, -е́й*), *снастя́т* (*снасть, -и*, мн. число *сна́сти, -е́й*), *сластя́т* (*сласть, -и*, мн. *сла́сти, -е́й*), *рыся́т* (*рысь, -и, на рыся́х*), *пыля́т* (*пыль, -и, в пыли́*), *меля́т* (*мель, -и, на мели́*) [12], *ветвя́тся* (*ветвь, -и*, мн. число *ве́тви, -е́й*), *соля́т* (*соль, -и*, мн. число *со́ли, соле́й*). Акцентная кривая производящих имен существительных охватывает замкнутый ряд слов [13].

Из производных от имен существительных среднего рода в словаре С. И. Ожегова отмечены: *чуди́т* (*чудо, -а*, мн. число *чудеса́, чуде́с, чудеса́м*), *семени́тся* (*се́мя, се́мени*, мн. число *семена́, семя́н, семена́м*), *времени́т* (*вре́мя, вре́мени*, мн. число *времена́, времён, времена́м*). Акцентная кривая производящих относится к схеме *с*, по А. А. Зализняку, и охватывает замкнутый ряд слов (все производящие слова — гетероклитики).

В отадъективных глаголах подвижно-окситонированная акцентная парадигма производных, выражаемая акцентной кривой с ударением на тематическом *-и-* (на флексии), ср. *леденю́, леденя́шь, целю́, целя́шь*, соответствует подвижно-окситонированной парадигме прилагательных, выражаемой ударением на флексии в полных формах, ср. *ледяно́й, -бго*, или ударением на основе в полных формах и подвижным ударением или неподвижным ударением на флексии в кратких формах, ср. *це́лый, -ого, -цел, цела́, це́ло, це́лы*; *тяжёлый, -ого, тяжёл, тяжела́, тяжело́, тяжелы́*.

а) Акцентная кривая полных форм производящих прилагательных — ударение на флексии, акцентная кривая производных глаголов — ударение на тематическом *-и-* (на флексии): *леденя́т* (*ледяно́й, -бго*), *кровеня́т* (*кровяно́й, -бго*), *родня́т* (*родно́й, -бго*), *худя́т* (*худо́й, -бго*), *холостя́т* (*холосто́й, -бго*), *скупя́тся* (*скупо́й, -бго*) и др. Акцентная кривая производящих прилагательных охватывает замкнутый ряд слов [14]. Акцентная кривая производных относится к незамкнутому ряду слов.

б) Акцентная кривая полных форм производящих прилагательных — ударение на основе, в кратких формах — подвижное ударение; акцентная кривая производного глагола — ударение на тематическом *-и-* (на флексии) в презентных формах: *сложня́т* (*сло́жный, -ого, сло́жен, сложна́, сло́жно, сло́жны*), *тучня́т* (*ту́чный, -ого, ту́чен, тучна́, ту́чно, ту́чны*), *тягча́т* (*тя́жкий, -ого, тя́жек, тяжка́, тя́жко, тя́жки*), *тесня́т* (*те́сный, -ого, те́сен, тесна́, те́сно, те́сны*), *толстя́т* (*то́лстый, -ого, толст, толста́, то́лсто, то́лсты*), *целя́т* (*це́лый, -ого, цел, цела́, це́ло, це́лы*) и др.

в) Акцентная кривая полных форм производящих имен прилагательных — ударение на основе, в кратких — неподвижное ударение на флексии; акцентная кривая производного глагола — ударение на тематическом *-и-* (на флексии): *тяжеля́т* (*тяжёлый, -ого, тяжёл, -а́, -о́, -ы́*), *черня́т* (*чёрный, -ого, чёрен, черна́, черно́, черны́*), *темня́т* (*тёмный, -ого, тёмен, темна́, темно́, темны́*), *свежи́т* (*све́жий, -его, свеж, свежа́, свежо́, свежи́*), *пестря́т* (*пёстрый, -ого, пёстр, пестра́, пестро́, пестры́*), *мертви́т* (*мёртвый, -ого, мёрте, мертва́, мертво́, мертвы́*).

2. От подвижно-окситонированных имен существительных образуется небольшое число глаголов с акцентной кривой, образуемой ударением на флексии в 1-м лице ед. числа и ударением на корне в остальных формах настоящего времени («рецессивное» ударение, по терминологии Хр. Станга) [15]: *шучу́, шу́тишь* (*шут, шута́*), *хвалю́, хва́лишь* (*хвала́, хвалы́, хвалу́*), *служу́, слу́жишь* (*слуга́, слуги́, слугу́*, мн. число *слу́ги, слу́гам*), *женю́, же́нишь*, (*жена́, жены́, жену́*, мн. число *жёны, жёнам*), *черчу́, че́ртишь* (*черта́, черты́, черту́*, мн. число *черты́, черта́м*), *ужу́, у́дишь* (*уда́, уды́, уду́*, мн. число *уды́, уда́м*), *тружу́сь, тру́дишься* (*труд, труда́*), *пилю́, пи́лишь* (*пила́, пилы́*,

---

[11] См.: А. А. З а л и з н я к, Ударение в современном русском склонении, стр. 11.

[12] Приводимые в словаре-справочнике «Русское литературное произношение и ударение» (М., 1959) формы мн. числа *ме́ли, -ей* противоречат показаниям ед. числа.

[13] Ср.: А. А. З а л и з н я к, указ. соч., стр. 17—18.

[14] См. нашу статью «К акцентологическому закону Хартмана», стр. 69, а также рецензию на кн. В. Кипарского «Der Wortakzent der russischen Schriftsprache», ВЯ, 1963, 3.

[15] Chr. S. S t a n g, указ соч., стр. 108.

пилу́, мн. число *пи́лы*, *пи́лам*), *крещу́*, *кре́стишь* (*крест*, *креста́*). В классе производящих ударение относится к схемам *b*, *d* (по А. А. Зализняку), которое восходит к неподвижному ударению на тематическом гласном в праславянском языке (парадигма *B*, по Хр. Стангу) [16]. В списке приведены все примеры, которые отмечены в словаре С. И. Ожегова. Следовательно, правило определяет выбор непродуктивного варианта подвижно-окситонированной акцентной парадигмы. Семантическая соотносительность производящих и производных в значительной степени утрачена.

«Рецессивная» акцентная кривая принадлежит замкнутому ряду глаголов в русском языке. По подсчету В. Кипарского, названная акцентная кривая наблюдается в русском языке в 151 глаголе [17]. На этом основании можно заключить, что рецессивное ударение глагола непродуктивно. Как указывает В. Кипарский, из 151 глагола по крайней мере для 118 в русских текстах отмечены параллельные формы с ударением на тематическом *-и-* (на флексии) [18]. Однако предположение В. Кипарского и некоторых авторов о том, что эти параллельные формы отражают переход от ударения на тематическом гласном к рецессивному [19], нельзя признать обоснованным для многих примеров, так как оно опирается на посылку о действии закона Фортунатова—де Соссюра в славянских языках, ныне опровергнутую [20]. Эти параллельные формы могут свидетельствовать и о переходе от рецессивного ударения, отмеченного в указанном списке глаголов, к акцентной кривой с ударением на тематическом гласном, восходящей к маргинальному ударению (тип *C*, по Хр. Стангу), Ср. серб. *бра̑здим*, словен. *brázdim*, чеш. *brázditi*, словац. *brázdit'*, польск. *bróździc'* (*bruździc'*), верх.-луж. *brózdźic'*, но русск. *боронди́т*, где новый акут корневого гласного в сербском, словенском и западнославянских языках предполагает рецессивное ударение [21], откуда можно заключить, что русское ударение в глаголе *боронди́т* — новообразование. Следовательно, существование параллельных форм с ударением на тематическом гласном при глаголах с рецессивным ударением само по себе не опровергает высказанного выше соображения о непродуктивности акцентной кривой глаголов с рецессивным ударением.

3. Подвижно-окситонированной акцентной парадигме производящего имени (*рыба́к*, *рыбака́*) соответствует «словообразовательное подвижное ударение» [22] на слоге перед тематическим *-и-* в производных глаголах (*рыба́чу*, *рыба́чишь*), ср. *бурла́чу*, *бурла́чишь* (*бурла́к*, *бурлака́*), *дура́чу*, *дура́чишь* (*дура́к*, *дурака́*), *маячу*, *маячишь* (*маяк*, *-а́*), *маклачу*, *-ишь* (*маклак*, *-а́*), *бура́влю*, *-ишь* (*бура́в*, *-а́*), *утю́жу*, *-ишь* (*утю́г*, *-а́*), *пузы́рю*, *-ишь* (*пузы́рь*, *-я́*) и др.

---

[16] Там же, стр. 59—61, 69—72, 108.

[17] См.: V. Kiparski, Der Wortakzent der russischen Schriftsprache, Heidelberg, 1962, стр. 316.

[18] Там же.

[19] Там же; см. также В. Л. Воронцова, О нормах ударения глаголов на *-ить* в современном русском языке, сб. «Вопросы культуры речи», 2, М., 1959, стр. 145.

[20] Chr. S. Stang, указ. соч., стр. 15 и сл.

[21] Там же, стр. 108 и сл.

[22] При словообразовании в производном слове ударение может падать на слог, безударный в производящем слоге. Это изменение в акцентировании является дополнительным средством при образовании слов и называется словообразовательной подвижностью ударения (ср.: Р. И. Аванесов, указ. соч., стр. 33). Если в производном ударный слог соответствует на морфологическом уровне словообразующему суффиксу или флексии, определение акцентной кривой не вызывает затруднений. Однако при словообразовательной подвижности ударения в производном может быть акцентирован слог, находящийся непосредственно перед словообразующим суффиксом в двухсложной основе. Производящее слово имеет при этом ударение на первом слоге (*пу́стошь*, *-и*, ср. *пустынный*) или на морфе, не вошедшем в производящую основу (*рыба́к*, *рыбаки́* — *рыба́чу*, *рыба́чишь*). В этом случае для определения акцентной кривой приходится допустить, что производящая основа состоит из двух морфонологических единиц —начальной и финальной. Последнюю можно назвать «финаль». Ударение на втором слоге основы производного в таком случае будет трактоваться как изменение акцентной кривой при словообразовании. В случае *пу́стошь*, *пу́стоши* — *пустынный* нужно будет говорить о замене инициальной (начальной) акцентной кривой финальной наосновной акцентной кривой. В случае *рыба́к*, *рыбака́* — *рыба́чу*, *рыба́чишь* речь идет о замене флексионной акцентной кривой производящего слова финальной наосновной акцентной кривой производного. Таким образом, морфонологическая двучленность основы выражается словообразовательной подвижностью ударения. На морфологическом уровне «финали» основы соответствует суффикс, однако бывают случаи, когда с точки зрения современного русского языка средствами словообразовательного анализа невозможно выделить суффикс, который соответствовал бы финали, ср. *утю́г*, *утюга́* — *утю́жу*, *утю́жишь*.

Акцентная кривая производящего слова — неподвижное ударение на флексии (схема *b*, по А. А. Зализняку), продуктивная. Акцентная кривая производных глаголов — неподвижное ударение на основе (схема *a*, по А. А. Зализняку), продуктивная. Принадлежность неподвижного ударения на «финали» основы к подвижно-окситонированной акцентной парадигме определяется словообразовательной подвижностью ударения, которое в отличие от акцентных кривых баритонированной акцентной парадигмы нетождественно акцентной кривой производящего, ср. *бура́влю, -ишь, (бура́в, -а́)* — подвижно-окситонированная акцентная парадигма, но *лука́влю, -ишь (лука́вый, -ого, лука́в, -а, -о, -ы)* — баритонированная акцентная парадигма.

Ряд производных с финальным наосновным ударением незамкнут.

4. В следующих отыменных глаголах наблюдается неподвижное ударение на основе, соотносимое с неподвижным ударением на флексии или с подвижным ударением в производящих именах: *ежусь, -ишься (еж, -а́), е́жу, -дишь (езда́, -ы́), жу́чу, -ишь (жук, -а́), чи́слю, -ишь (число́, -а́*, мн. число *чи́сла, чи́сел), хо́хлю, -ишь (хохо́л, -а́), кры́чу, -ишь (крюк, -а́), гбрблю, -ишь (горб, -а́), ла́жу, -дишь (лад, -а, в ладу́*, мн. число *лады́, -о́в), коро́блю, -ишь (кброб, -а*, мн. число *короба́, -о́в), ква́шу, -ишь (квас, -а*, мн. число *квасы́, квасо́в), зы́блюсь, -ишься (зыбь, -и, мн.* число *зы́би, -е́й), бре́жу, -дишь (бред, -а, в бреду́)*.

Выбор неподвижного ударения на основе в перечисленных отсубстантивных глаголах не мотивируется «финалью» производящей основы и ограничен приведенным списком. Акцентная кривая производных нетождественна акцентным кривым производящих и должна рассматриваться как непродуктивный вариант подвижно-окситонированной акцентной парадигмы отыменных глаголов.

К рассматриваемому варианту подвижно-окситонированной акцентной парадигмы относится также акцентная кривая отадъективных глаголов с неподвижным ударением на основе, ограниченных следующим списком: *хму́рю, -ишь (хму́рый, -ого, хмур, хмура́, хму́ро, хму́ры), ча́щу, -ишь (ча́стый, -ого, чист, чиста́, ча́сто, ча́сты), сла́блю, -бишь (сла́бый, -ого, слаб, слаба́, сла́бо, сла́бы), по́лню, -ишь (по́лный, -ого, по́лон, полна́, по́лно, по́лны), пра́влю, -ишь (пра́вый, -ого, прав, права́, пра́во, пра́вы), гла́жу, -дишь (гла́дкий, -ого, гла́док, гладка́, гла́дко, гла́дки), бли́жу, -зишь (бли́зкий, -ого, бли́зок, близка́, бли́зко, бли́зки), у́жу, -зишь (у́зкий, -ого, у́зок, у́зка́, у́зко, у́зки)*. Акцентная кривая прилагательных — подвижное ударение в кратких формах. В полных формах неподвижное ударение на основе.

5. Непродуктивным вариантом подвижно-окситонированной акцентной парадигмы отыменных глаголов является акцентная кривая с ударением на тематическом гласном *-и-* (на флексии), соотносимая с неподвижным ударением на основе производящего имени. Выбор указанной акцентной кривой обнаруживается в приводимом ниже списке отыменных глаголов. Существенно, что отыменные производные прилагательные или существительные, образованные от тех же производящих, характеризуются окситонией или словообразовательной подвижностью ударения (см. выше). В словаре С. И. Ожегова отмечены следующие примеры: *пустоши́т (пу́стошь, -и; пустбшка, пустбшный, -ого), бури́т (бур, -а; буровбй, -бго), пепели́т (пепели́ще, пепелистый)*. В слове *пе́пельный,-ого* словообразовательная подвижность ударения нейтрализуется благодаря беглому гласному в корне производящего: *пе́пел, пепели́т (пе́пел, пе́пла), дури́т (дурь, -и*, мн. числа нет; *дурнбй, -бго, ду́рен, дурна́, ду́рно, ду́рны), норови́т (но́ров, -а*, мн. числа нет, *норови́стый, норовни́к, -а́, норовни́к, -а́), смеши́т (смех, -а (-у)*, мн. числа нет; *смешли́вый, -ого, смешнб, смешнбй, -бго, смешбн, смешна́, смешнб, смешны́), срами́т (срам, -а*, мн. числа нет; *срамни́к, -а́, срамнбй, -бго), страши́т (страх, -а (-у)*, мн. числа нет; *стра́шный, -ого, стра́шен, страшна́, стра́шно, стра́шны), гневи́т (гнев, -а; гнёвный, -ого, гнёвен, гневна́, гнёвно, гнёвны)*. Сюда же относятся *казни́т (казнь, -и), язви́т (я́зва, -ы), члени́т (член, -а)* — производные от славянизмов, а также *копти́т (кбпоть, -и)* и *дави́т (да́во, -а)*.

II. Отношения по ударению отглагольных имен к производящим *и*-глаголам.

1. Продуктивные акцентологические отношения отглагольных имен к производящим: а) В производном имени существительном ударение на финальной части основы, в производящих глаголах ударение на тематическом *-и-* (на флексии): *пал, -а, паль, -и (пали́т), побе́да, -ы (победи́т), крап, -а (крапи́т), доса́да, -ы (досади́т), занбза, -ы (занози́т), бут, -а (бути́т)* и др. Класс производных с названной акцентовкой незамкнут. б) В производящих глаголах — рецессивное ударение, в производных именах — неподвижное ударение на финальной части основы: *мес, -а (мешу́, ме́сишь), лов, -а, (ловлю́, ло́вишь), лом, -а (ломлю́, ло́мишь), леп, -а (леплю́, ле́пишь), брод, -а (брожу́, бро́дишь), хват, -а (хвачу́, хва́тишь), пла́та, -ы (плачу́, пла́тишь), оборо́т, -а (оборочу́, оборо́тишь)*. Отглагольные имена обнаруживают словообразовательную подвижность как категориальный признак словообразовательной конструкции. Ряд производных незамкнут.

2. Непродуктивные акцентологические отношения отглагольных имен к производящим. Акцентная кривая производящего — рецессивное ударение, акцентная кривая отглагольного имени — подвижное ударение: *ход, -а (-у), на ходу́*, мн. число *ходы́, ходо́в (хожу́, хо́дишь), кус, -а*, мн. число *кусы́, -о́в (кушу́, ку́сишь), дар, -а*, мн.

число *дары́, -бв (дарю́, да́ришь), корм, -а (-у), на корму́*, мн. число *корма́, -бв (кормлю́, ко́ришь), воз, -а(-у), на возу́*, мн. число *возы́, -бв (вожу́, во́зишь), свет, -а (-у), на свету́ (свечу́, све́тишь)*. Ряд производных ограничен приведенным списком.

*

Отыменные глаголы и отглагольные имена в современном русском языке противопоставлены по соотношению акцентных кривых производящих и производных.

1. Отыменные *и*-глаголы характеризует парадигматическое ударение. В производных глаголах наблюдается баритонированная акцентная парадигма в соответствии с баритонированным ударением производящих. Акцентные кривые отыменных глаголов, характеризуемых баритонированной акцентной парадигмой, тождественны акцентным кривым производящих, т. е. в производных ударение падает на тот же морф, что и в производящем, ср. *партиза́ню, -ишь (партиза́н, -а), лука́влю, -ишь (лука́вый, -ого, лука́в, -а, -о, -ы)*. Баритонированной акцентной парадигме противопоставлена подвижно-окситонированная акцентная парадигма. Подвижно-окситонированная акцентная парадигма отсубстантивных глаголов выражается двумя дополнительно распределенными продуктивными вариантами: акцентной кривой с ударением на тематическом *-и-* (на флексии), ср. *бороздйт, царйт*, соотносимой с неподвижным ударением на окончании или подвижным ударением производящего имени существительного, ср. *царь, -я́, борозда́, -ы, -у*, мн. число *бо́розды, борозд, борозда́м*, и акцентной кривой с неподвижным ударением на финали основы, ср. *рыба́чу, -ишь, бура́влю, -ишь*, соотносимых с неподвижным ударением на окончании имени существительного (*рыба́к, -а́, бура́в, -а́*). Признаком, по которому дополнительно распределены указанные варианты, является наличие (отсутствие) в производящей основе имени существительного финалей *-ав, -ак-, -ук-, -ырь-*. Продуктивный вариант подвижно-окситонированной акцентной парадигмы отадъективных глаголов — ударение на тематическом *-и-* (на флексии), ср. *леденйт, тяжелйт*, соотносимое с ударением на флексии в полных формах прилагательных (*ледяной*) или ударением на основе в полных формах и подвижным ударением или неподвижным ударением на флексии в кратких формах прилагательных (*тяжелый, -ого, тяжел, -а́, -о́, -ы́*). Непродуктивными вариантами подвижно-окситонированной акцентной парадигмы отыменных глаголов являются: а) рецессивное ударение, ср. *женю́, же́нишь, тружу́сь, тру́дишься*, соотносимое с неподвижным ударением на окончании (*труд, -а́*) или подвижным ударением (*жена́, -ы́, -у́*, мн. число *жены, -ам*) в производящих именах существительных: б) акцентная кривая с неподвижным ударением на основе, ср. *гбрблю, -бишь, бре́жу, -дишь*, соотносимая с неподвижным ударением на окончании или подвижным ударением производящих, если в производящей основе не выделяются перечисленные выше финали (*горб, -а́, бред, -а, в бреду́*); в) акцентная кривая с ударением на тематическом гласном (на флексии), ср. *гневйт*, соотносимая с неподвижным ударением на основе производящего (*гнев, -а*).

2. Отглагольные имена характеризуются категориальным ударением, т. е. отсутствием оппозиции акцентных парадигм. Продуктивной является соотнесенность неподвижного ударения на финальной части основы отглагольных имен, ср. *занбза, -ы (зановйт,) оборбт, -а (оборочу́, оборбтишь)* с ударением на тематическом *-и-* (на флексии) или с рецессивным ударением глаголов. Непродуктивной — соотнесенность подвижного ударения отглагольного имени (ср. *дар, -а*, мн. число *дары́, -бв*) с рецессивным ударением производящих глаголов (*дарю́, да́ришь*).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1965

Е. А. КРЕЙНОВИЧ

О ПРЕРЫВНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ ОСНОВАХ В КЕТСКОМ ЯЗЫКЕ

Посвящается памяти
НОЭМИ ГРИГОРЬЕВНЫ ШПРИНЦИН

Глаголы кетского языка имеют связанные, свободные и прерывные основы. Все связанные основы являются непроизводными. Так, в глаголе *дивит* «я-это-подвину»[1] выделяется связанная основа *-ит*, которая не выступает в языке в качестве отдельного слова без аффиксов. Свободные основы делятся на непроизводные и производные. Последние в свою очередь подразделяются на простые и сложные производные основы. Так, в глаголах *дивр'аң* «я-это-мну», *д'эл'тиjæвæт* «я-собираю-ягоду», *с'энгиjæвæт* «еду (езжу) на оленях» выделяются основы *-р'аң*, *-эл'тиj-* и *-с'энгиj-*. Непроизводная основа *-р'аң* ~ *-даң* внешне совпадает с непроизводным глагольным именем *даң* «мять». Производная основа *-эл'тиj-* внешне совпадает с производным глагольным именем *эл'тиj* «собирать ягоду», образованным из одной корневой морфемы *эл'-* «ягода» и двух деривационных морфем *-т*, *-иj*. Сложная основа *-с'энгиj-* внешне совпадает со сложным глагольным именем *с'энгиj* «ездить на оленях», которое образовано из двух корневых морфем: словоформы *с'эн* «олени» (ср.: *с'эл'* «олень») и *кДj* «ходить; ходить на охоту». Указанные глагольные имена, внешне совпадающие с рассмотренными основами глаголов, функционируют в языке в качестве отдельных слов. Все прерывные основы производны и делятся на простые прерывные основы, образованные из одной корневой и одной (простой или сложной) деривационной морфем, и сложные прерывные основы, образованные из двух или трех корневых морфем. Свободные производные основы типа *-эл'тиj-*, *-с'энгиj-* и др. отличаются от прерывных производных основ тем, что основы первого типа остаются целостными при словоизменении и словообразовании, а вторые раздвигаются на границе образующих их морфем. Несмотря на это, прерывные основы связываются сознанием с такими же целостными представлениями и понятиями, что и непрерывные основы. Так как прерывность сложных глагольных основ может быть показана наиболее наглядно, начнем с описания образования этих основ.

В кетском языке имеется глагольное имя переходного значения *тад'а* (туруханский говор), *тар'* (суломайский говор)[2] со значением «бить; толочь». Конечные компоненты этого слова *-д'а*/*-р'* представляют собой именной суффикс; ср. *ҳуд'а* (туруханский говор), *ҳур'* (суломайский говор) «щука», но *ҳукң* «щуки» (в обоих говорах). Таким образом, в рассматриваемом глагольном имени выделяется корневая морфема *та-*. В глагольных формах в отличие от форм именных к корневой морфеме *та-* присоединяется глаголообразующий аффикс *-т*, в котором вскрывается стершееся значение «делать». Связанная глагольная основа *-тат* ~ *-тæт* ~ *-тит* «бить; толочь; ударять» встречается, например, в следующем глаголе с основой в конце слова.

Однократный вид

Настоящее-будущее время	Прошедшее завершенное время
ду-т-тæт «он-меня-бьет»	*д-и-н'-тæт* «он-меня-бил»
ду : (у)-тæт «он-тебя-бьет»	*д-и-н'-гу-тæт* «он-тебя-бил»
ду-ɣ-æ-тæт «он-его-бьет»	*д-о-н'-тæт* «он-его-бил»
ду : -тæт «он-ее-бьет»	*д-ир-у-н'-тæт* «он-ее-бил»
ду-в-тæт «он-это-толчет»	*б-и-н'-тæт* «это-толок»
ду-р'æң-тæт «он-нас-бьет»	*д-и-н'-дæң-тæт* «он-нас-бил»
ду-ɣæң-тæт «он-вас-бьет»	*д-и-н'-гæң-тæт* «он-вас-бил»
д-аң-а-тæт «он-их-бьет»	*д-оң-о-н'-тæт* «он-их-бил»[3]

[1] Дефис указывает на то, что значения слов, соединенных в переводе при его помощи, выражены в кетском в составе одного слова.

[2] Материалы к статье собраны в пос. Суломай (Подкаменная Тунгуска) от Т. Г. Толстых (1889 г. р.), О. В. Тыгановой (1917 г. р.) и др. Слова с суффиксом *-д'а* (*тад'а* «бить» и др.) записаны от Ф. Е. Пеших (1897 г. р.), родом из Туруханска.

[3] Глаголы, образованные с участием основы *-тæт* «бить», впервые отмечены в кетском языке К. Боуда (см.: K. B o u d a, Die Sprache der Jenissejer. Genealogische und morphologische Untersuchungen, «Anthropos», LII, 1—2, 1957, стр. 67 и сл.).

В приведенном глаголе основа *-mæt* в совокупности с предшествующими ей субъектно-объектными и видо-временными аффиксами представляет собой полнозначное слово.

Помимо вышеприведенных словоформ, образованных от основы *-mæt* «бить», при помощи этой основы создана также целая группа сложных глагольных имен и сложных глаголов, либо непосредственно связанных с действием «бить» [4], либо отдаленно напоминающих его, как, например, действие «толкнуть». Во всех этих случаях основа *-mæt* «бить» занимает в слове конечное положение, а к ней препозиционно присоединяются некоторые именные, глагольные, наречные и другие основы, образуя при этом различные сложные глагольные имена:

а) именные основы + *-mæt* образуют глагольные имена со значением действия, производимого орудием, которое обозначено именной основой: *дон'mæt* «колоть-ножом» (дословно: «ножом-бить», *дон'* «нож»); *дин'mæt* «колоть-иглой» (дословно: «иглой-бить», *ин'* «игла»); *қоңmæt* «бодать» (дословно: «рогами-бить», *қо* «рог»); *купæmæt* «жалить» (о змее; дословно «губой-бить», *куп'* «губа»); *ко:mæt* «бить-кулаком» (*коқ*, *ко:* «кулак»), *қДлmæt* «щипать» (дословно: «большим-пальцем-бить», *қДл* «большой палец руки»);

б) именные основы + *-mæt* образуют глагольные имена со значением действия, которое совершается для того, чтобы добыть или произвести предмет, обозначенный именной основой: *имmæt* «заготавливать (колотить) кедровые орехи» (*имдис'* «кедровый орех», *имæл'm* «кедровая шишка»); *ын'mæt* «заготавливать (сбивать) полозья» (материал для полозьев *ын'*, по местному «крень», сбивают с нижней стороны растущих наклонно кедров); *тиктæmæt* «заготавливать (драть, сбивать) планки для нарты» (*т'э* «планка для нарты», *т'экң* «планки для нарты»); *д'эjmæt* «ковать» (дословно: «железо-бить», *е* «железо») и др., а также *эс'mæt* «сколачивать челнок деревянными гвоздями» (дословно: «гвозди бить», *ис'* «гвоздь», *эс'иң* «гвозди»);

в) связанные глагольные основы + *-mæt*: *тотæmæt* «хватать» (основа *то-* «хватать»); *кыл'mæt* «колотить» (по кедру, лыже и т. д.; основа *кыл'-* «колотить»); *т'э* : *лmæt* «толкать» (основа *т'э:л-* «толкать»); *соломтæmæt* «толкать» (основа *сом-* «толкать»); *кул'æс'mæt* «толкать» (основа *кул'æс'-* «толкать») и др.;

г) наречные основы + *-mæt* : *хатæmæt* «тыкать; колоть» (дословно: «прямо-бить», *ха* «прямо»);

д) основы неясного значения + *-mæt* : *хатæmæt* «переломать-поперек; поперечная трещина» (основа *ха-*); *ус'mæt* «раскалывать вдоль» (предполагаемый корень *у-* «длина», ср. *утæmæt* «продольная трещина», *угд'* «длинный», *-с-* — показатель многократности).

Основа *-mæt* «бить» в составе сложного слова в ряде случаев выступает уже не в своем прямом, полновесном значении, а в значении переосмысленном, стертом, как, например, в глагольном имени *тотæmæt* «хватать», *т'э:лmæt* «толкать» и др. В подобных случаях можно усматривать явление начавшейся грамматизации основы *-mæt* и превращения ее в основу служебного типа, либо в полусуффикс.

Сложные глагольные имена, оканчивающиеся на *-mæt*, выступают в качестве целостных слов и основ только в именных формах и в значении инфинитивов: *тотæрис'аң диттус'* «схватить я-собираюсь», *тотæтс* «хватающий; тот, кто хватает», *тотæmæt бън' нара* «хватать не надо».

Образование глаголов от сложных глагольных имен типа *тотæmæt* происходит весьма своеобычным способом. Сложное глагольное имя в этом случае утрачивает свою монолитность. Корневые морфемы, образующие его, раздвигаются, и между ними, как в рамке, помещаются различные словоизменительные — субъектные, объектные, временные и, по-видимому, единичные видовые, а иногда и деривационные аффиксы, свойственные словам глагольного типа. Проиллюстрируем сказанное парадигмами глагола, образованного от сложного глагольного имени *дон'mæt* «колоть ножом»:

Однократный вид

Будущее время	Прошедшее завершенное время
бу а-т[5] *дон'-б-а-mæt*	*бу а-т дон'-ба-у-л'-mæt*
«он меня кольнет-ножом»	«он меня кольнул-ножом»

[4] Ср. в испанском языке особую морфологическую группу имен существительных, выражающих значение удара.

[5] Аффикс *-т*, следующий за местоименными дополнениями *а-т* «меня», *у-т* «тебя», *бу-т* «его; ее», является показателем субъекта действия 3-го лица ед. числа. В потоке речи этот показатель фонетически примыкает не к глаголу, имеющему начальный согласный, а к гласному звуку дополнения. Если в роли подлежащего окажется личное местоимение 2-го лица ед. числа *ук* «ты», то за местоименными дополнениями

бу у-т дон'-г-а-тӕт	*бу у-т дон'-г-у-л'-тӕт*
«он тебя кольнет-ножом»	«он тебя кольнул-ножом»
бу бу-т дон'-ӕ-тӕт	*бу бу-т дон'-ӕ-у-л'-тӕт*
«он его кольнет-ножом»	«он его кольнул-ножом»
бу бу-т дон'-и-ɣ-ӕ-тӕт	*бу бу-т дон'-и-у-л'-тӕт*
«он ее кольнет-ножом»	«он ее кольнул-ножом»
бу каспул'[6] *дон'-ӕ-тӕт*	*бу каспул' дон'-у-л'-тӕт*
«он пузырь кольнет-ножом»	«он пузырь кольнул-ножом»
бу ът'н дон'-дӕӈ-ӕ-тӕт	*бу ът'н дон'-дӕӈ-у-л'-тӕт*
«он нас кольнет-ножом»	«он нас кольнул-ножом»
бу ъкӈ дон'-гӕӈ-ӕ-тӕт	*бу ъкӈ дон'-гӕӈ-у-л'-тӕт*
«он вас кольнет ножом»	«он вас кольнул-ножом»
бу буӈ дон'-аӈ-ӕ-тӕт	*бу буӈ дон'-ӕӈ-у-л'-тӕт*
«он их кольнет-ножом»	«он их кольнул-ножом»

Многократный вид

Настояще-будущее время	Прошедшее завершенное время
бу а-т дон-ан-ба-т-ӕ-ро	*бу а-т дон-ан-ба-т-о-л'-до*
«он меня колет-ножом»	«он меня колол (калывал)-ножом»
бу у-т дон-ан-ку-т-ӕ-ро	*бу у-т дон-ан-ку-т-о-л'-до*
«он тебя колет-ножом»	«он тебя колол-ножом»
бу бу-т дон-ан-а-т-ӕ-ро	*бу бу-т дон-ан-а-т-о-л'-до*
«он его колет-ножом»	«он его колол-ножом»
бу бу-т дон-ан-и-т-ӕ-ро	*бу бу-т дон-ан-и-т-о-л'-до*
«он ее колет-ножом»	«он ее колол-ножом»
бу каспул'иӈ дон-ан-т-а-в-ро	*бу каспул'иӈ дон-ан-т-о-в-и-л'-до*
«он пузыри колет-ножом»	«он пузыри колол-ножом»
бу ът'н дон-ан-дӕӈ-т-ӕ-ро	*бу ът'н дон-ан-дӕӈ-т-о-л'-до*
«он нас колет-ножом»	«он нас колол-ножом»
бу ъкӈ дон-ан-кӕӈ-т-ӕ-ро	*бу ъкӈ дон-ан-кӕӈ-т-о-л'-до*
«он вас колет-ножом»	«он вас колол-ножом»
бу буӈ дон-ан-аӈ-т-ӕ-ро	*бу буӈ дон-ан-аӈ-т-о л'-до*
«он их колет-ножом»	«он их колол-ножом»

Рассмотрим приведенные парадигмы.

В глагольных словоформах однократного вида непосредственно за основой *дон'* «нож» располагаются показатели лица объекта действия *-б-*, *-ба-* «меня», *-г-* «тебя», *-ӕ-* «его», *-и-* «ее», *-дӕӈ-* «нас», *-кӕӈ* «нас», *-аӈ-* «их», затем видо-временные показатели *-а-*, *-у-л'-* и, наконец, вторая основа *-тӕт* «бить». В глагольных же словоформах многократного вида за основой *дон'* «нож» следует показатель *-ан-* [7], сопоставляющийся с показателем мн. числа *-н*, потом показатели лица объекта действия, затем вместо компонента *-тӕт* — новый компонент *-тӕро/-тол'до*, *-тавро/-товил'до*, в котором выделяется основа *-до* «тесать», внешне совпадающая с глагольным именем *до* «тесать» (например, *ын' до наро* «полоз тесать надо»). От этого глагольного имени образуются следующие глагольные словоформы с основой *-до* в конце слова: *ат' тавро* (*товил'до*) *л'ам* «я обтесываю (обтесывал) лыжу», *ат' дуныj атӕро* (*атол'до*) *ус'* «я счищаю (счищал) верхние слои с листа бересты» [8], *а дуныj аӈтӕро* (*аӈтол'до*) *ус'иӈ* «я счищаю (счищал) верхние слои с листов бересты». Нетрудно заметить, что в глагольных словоформах 3-го лица ед. и мн. чисел — *донанатӕро* и *донанатол'до*, *донантавро* и *донантовил'до*, *донанаӈтӕро* и *донанаӈтол'до* — все вторые компоненты, следующие за основой многократного вида *донан-*, фонетически совпадают с указанными словоформами глаголов со значением «тесать»; «счищать (слои бересты)». Из вышеизложенного можно сделать вывод, что для выражения значения однократного

в аналогичных условиях расположится показатель субъекта действия 2-го лица ед. числа: *у а-ɣ дон'батӕт* «ты меня кольнешь ножом» и т. д.

[6] *Каспул'* — высушенный мочевой пузырь сохатого, используемый для хранения жира.

[7] Такой же показатель множественности или повторяемости действия встречается и в других глаголах. Так, от глагольного имени *са:л* «ночевать» образуются глаголы однократного вида: *баɣиссал* «я-переночую», *баɣинсал* «я-переночевал»; многократного вида: *са:лынбаɣӕр'ӕ* «я-ночую», *са:лынбаɣол'дӕ* «я-ночевал» и т. д. Для выражения многократного вида также используется сложный глагол: *са:лынӕвӕт* «ночую», *са:лынол'вӕт* «ночевал».

[8] Из больших листов бересты кеты изготовляют покрышки для чумов. Предварительно очищают нижнюю и верхнюю сторону бересты, с которой снимают легко отделяющиеся пласты (*дуныj*), затем бересту варят и сшивают. Название больших листов бересты относится к мужскому классу (показатель *-а-*, *-аӈ-*), а наименование маленьких кусков бересты — к классу вещей (показатель *-в-*).

действия в глаголе со значением «колоть ножом» была избрана основа *-тæт*, посредством которой может быть обозначено не только многократное действие «бить», но и мгновенное действие «ударить» (*дуjвæγаетæт* «он-ударит-меня»); для выражения же многократного действия используется глагольная основа *-до* со значением равномерно повторяющегося длительного действия «тесать». Необходимо указать, что наряду с глагольным именем *дон'тæт* «кольнуть ножом» в кетском языке имеется глагольное имя *донандо* «колоть ножом». Если теперь извлечь из рассмотренных глагольных словоформ все словоизменительные аффиксы, то в глагольных словоформах однократного вида в качестве основы останутся дистантно расположенные корневые морфемы *дон'-* — *-тæт*, а в глагольных словоформах многократного вида в качестве основы останутся дистантно расположенные корневые морфемы *донан-* — *-до*. Примечательно, что для выражения грамматических значений однократности и многократности в кетском языке в данном случае используются полнозначные слова, а не суффиксы. В других же случаях для выражения подобных значений употребляются грамматические средства. Так, например, от глагольного имени *тотæт* «хватать» образуются следующие глагольные словоформы:

Однократный вид

Будущее время	Прошедшее завершенное время
то-ба-γ-æ-тæт «схватит-меня» и т. д.	*то-ба-у-л'-тæт* «схватил-меня»
то-дæӊ-æ-тæт «схватит-нас» и т. д.	*то-дæӊ-у-л'-тæт* «схватил-нас» и т. д.

Многократный вид

Настояще-будущее время	Прошедшее завершенное время
то-ӊ-ба-тæп-тæт «хватает-меня» и т. д.	*то-ӊ-ба-тæв-и-л'-тæт* «хватал-меня» и т. д.
то-ӊ-дæӊ-тæп-тæт «хватает-нас» и т. д.	*то-ӊ-дæӊ-тæв-и-л'-тæт* «хватал-нас»

В данном случае будущее время однократного вида осложнилось согласным -γ-, значение которого подлежит еще выяснению (не ясно, возник ли -γ- в результате эпентезы или это морфема). В многократном же виде к основе *то-* присоединился суффикс мн. числа *-ӊ-* (в других аналогичных случаях *-н-*), и, кроме того, в состав глагольных словоформ включены еще дополнительные показатели *-т-æп-/-т-æв-*. Однако как однократность, так и многократность действия в данном случае выражены в пределах одной и той же лексической рамки *то-* — *-тæт*, без замены конечной вспомогательной основы другой основой [9].

Если теперь обратить внимание на структуру компонентов, следующих за основами однократного и многократного видов *дон'-* и *донан-*, *то-* и *тоӊ-*, то без особого труда можно обнаружить, что они начинаются личными показателями группы «б» [10]. Этими же показателями начинается значительное число переходных и непереходных глаголов с основой в конце слова. Приведем парадигму одного такого глагола, образованного, по-видимому, от фонетически модифицированной основы глагольного имени *соӄӊ* «толкать» (*соӄ-* > *-с'ук*) посредством префигирования к ней глаголообразующего аффикса *т(и)-* и личных показателей группы «б»: *ав с'ул' с'Λγæм*, *батс'ук* «моя нарта тяжелая, подтолкни мне (точнее: меня-подтолкни)». (Глаголом этим обозначается подталкивание нагруженной нарты, когда производителю действия трудно самому втащить ее на склон горы, поэтому вин. падеж, приводимый в переводе, обозначает подталкивание нарты, которую везет человек, а не самого человека.)

Однократный вид

Будущее время	Прошедшее завершенное время
ба-т-и-с'ук	*ба-т-и-л'-с'ук*
«меня-подтолкнет»	«меня-подтолкнул»
ку-т-и-с'ук	*ку-т-и-л'-с'-ук*
«тебя-подтолкнет»	«тебя-подтолкнул»
д а-т-и-с'ук	*д-а-т-и-л'-с'ук*
«он-его-подтолкнет»	«он-его-подтолкнул»
д-и-т-и-с'ук	*д-и-т-и-л'-с'ук*
«он-ее-подтолкнет»	«он-ее-подтолкнул»

[9] От глагольных имен на *-тæт* образуются глаголы с разными формами спряжения, которые не могут быть приведены полностью в пределах этой статьи.

[10] Об аффиксах групп «б» и «д» см.: Е. А. Крейнович, О модели глаголов кетского языка с основой в конце слова, сб. «Морфологическая типология и проблема классификации языков», М.— Л., 1965, стр. 177—198. Устанавливается, что при образовании глагольных форм от одной и той же основы аффиксы группы "д" указывают на субъект, а аффиксы группы „б"—на объект действия: *ди-туӊ* «я-вижу», *ба-туӊ* «меня-видит» и т. д.

т-и-с'ук	*т-и-л'-с'ук*
«это-подтолкнет»	«это-подтолкнул»
дэӈ-т-и-с'ук	*дэӈ-т-и-л'-с'ук*
«нас-подтолкнет»	«нас-подтолкнул»
кэӈ-т-и-с'ук	*кэӈ-т-и -л'-с'ук*
«вас-подтолкнет»	«вас-подтолкнул»
д-аӈ-т-и-с'ук	*д-аӈ-т-и-л'-с'ук*
«он-их-подтолкнет»	«он-их-подтолкнул»

Существование подобных глаголов позволяет предполагать, что вторые компоненты глагольных слоформ *дон'-батæт/дон'-баул'тæт* и т. д., *донан-батæро/донан-батол'до* и т. д. были некогда формами служебных глаголов, которые образовывали с впереди стоящим основным словом аналитическую конструкцию. Постепенно, вследствие усиливавшегося ослабления служебного глагола произошло сращение основного слова со служебным в одно сложное глагольное слово весьма своеобразного строения, от которого впоследствии образовались и сложные глагольные имена типа *дон'тæт* «колоть ножом», *ко:тæт* «бить кулаком» и т. д. Поскольку конечные компоненты в таких глагольных именах образовались из глагольных основ с префиксальной формой спряжения, совершенно естественно, что в современном кетском языке при образовании глагола от такого глагольного имени последнее разрывается префиксальной формой спряжения, свойственной корневой морфеме, которая образует второй компонент подобного сложного глагольного имени, а префиксы в связи с этим становятся в новом слове инфиксами. Таким образом в кетском языке сформировались сложные глаголы, имеющие следующую схему расположения компонентов: корневая морфема + морфемы реляционного значения + корневая морфема. Поскольку к первой корневой морфеме может быть присоединен показатель субъекта действия, а к конечной морфеме — показатель числа субъекта действия, указанная типовая модель сложного глагола может иметь различные варианты.

В ряде случаев корневые морфемы сложных глагольных имен на *-тæт* не разрываются при образовании от них глаголов и выступают в качестве монолитной основы нового глагольного слова, что обусловливается лексическим значением такой основы. Так, например, от глагольных имен на *-тæт*, обозначающих действия, которые по самой природе своей могут быть только многократными, либо длительными (см. на стр. 119 группу глагольных имен на *-тæт*, помеченных буквой «б»), образуются лишь глагольные словоформы многократного вида. Значительное число таких глаголов строится при помощи служебной основы *-бæт* ~ *-вæт* ~ *-бит* ~ *-вит* со значением «делать» [11] (ср.: *ди-б-бæт* «я-это-делаю», *б-и-л'-вæт* «это-сделал» и т. п.), которая так же, как и служебная основа *-до* «тесать», обозначает действие, имеющее не мгновенный, а многократный, либо длительный характер. Так, например, от глагольного имени *имтæт* «заготавливать (колотить) кедровые орехи» образуются глагольные словоформы *д-имтар-æ-вæт* «я-заготавливаю-кедровые орехи», *д-имтар-о-л'-вæт* «я заготавливал-кедровые орехи» и т. д. Основа приведенного глагола состоит из двух дистантно расположенных корневых морфем *-имтæт-* — *-вæт*, причем первая корневая морфема также является сложной, так как она образована, как было уже указано выше, из двух морфем *им* + *тæт*.

В качестве первого компонента глагольных сложных слов выступают не только основы имен существительных, но иногда и их словоформы — формы мн. числа или падежные формы. Последнее явление отмечается только в сложных глаголах, обозначающих различные пространственные направления движения. Приводим парадигму одного такого глагола, указывающего на направление движения к реке. В однократном виде в глаголах движения различаются три степени длительности: первая, условно переводимая нами здесь словом «сбегаю, сбегал», указывает на то, что субъект действия либо пойдет к берегу, либо был уже там совсем недолго (примерно от часу до суток); вторая степень указывает на то, что субъект действия пробудет или пробыл на берегу или на реке день, несколько дней или несколько недель. Если о двух этих процессах говорят, только находясь в чуме («сбе́гаю, сбе́гал, схожу, сходи́л»), то о процессе третьей степени длительности говорят лишь тогда, когда субъект действия либо находится в процессе его совершения, либо совершит его в будущем или уже достиг места, указанного основой. Если два первых процесса имеют в виду скорое возвращение к исходной точке движения (т. е. к чуму), то третий процесс обычно не подразумевает возвращения к исходной точке, откуда началось движение, так как конечной его целью является достижение места, указанного пространственной основой. В многократном же виде обозначается равномерная повторяемость совершаемого или совершенного действия. Все прошедшие времена в кетском языке выражают идею

[11] Глаголы, образованные при помощи основы *-бæт* «делать», отмечены в кетском языке К. Боуда (указ. соч., стр. 191 и сл.). Однако производимое им морфемное членение глаголов и переводы не во всех случаях верны.

завершенности действия [12], а в определенных случаях — и его результативности. Противостоящие же им времена — будущее, настоящее и настоящее-будущее — выражают представление о незавершенных действиях [13]. Времена в кетском языке бинарны и находятся в строгой оппозиции друг к другу. Каждой паре времен соответствует строго определенная форма императива. Эта триада связанных между собой форм является одной из характернейших особенностей кетского глагола.

Однократный вид

Будущее время	Прошедшее завершенное время
д-игдæ-ва-т-с-аӄ	*д-игдæ-ва-т-л'-аӄ*
«я-сбегаю-на-берег»	«я-сбегал-на-берег»
к-игдæ-ку-т-с-аӄ	*к-игдæ-ку-т-л'-аӄ*
«ты-сбегаешь-на-берег» и т. д.	«ты-сбегал-на-берег» и т. д.
д-игдæ-дъӈ-с-аӷ-ан	*д-игдæ-дъӈ-л'-аӷ-ан*
«мы-сбегаем-на-берег» и т. д.	«мы-сбегали-на-берег» и т. д.

(Повелительное наклонение: *игдæ-ку-д-д-аӄ* «сбегай на берег»)

Будущее время	Прошедшее завершенное время
д-игдæ-к-с-аӄ	*д-игдæ-л'-аӄ*
«я-схожу-на-берег»	«я-сходил-на-берег»
к-игдæ-к-с-аӄ	*к-игдæ-л'-аӄ*
«ты-сходишь-на-берег» и т. д.	«ты-сходил-на-берег» и т. д.
д-игдæ-к-с-аӷ-ан	*д-игдæ-л'-аӷ-ан*
«мы-сходим-на-берег» и т. д.	«мы-сходили-на-берег» и т. д.

(Повелительное наклонение: *игдæ-р-аӄ* «сходи-на-берег»)

Настояще-будущее время	Прошедшее завершенное время
д-игд æ-д-д-аӄ	*д-игд-о-н-д-аӄ*
«я-иду (пойду) -к-берегу»	«я-ушел (пришел)-на-берег»
к-игд-у-р-аӄ	*к-игд-у-н'у-р-аӄ*
«ты-идешь-к-берегу» и т. д.	«ты-пришел-на-берег» и т. д.
д-игдæ-раӈ-ӷут	*д-игдæ-н-даӈ-ӷут*
«мы-идем-к-берегу» и т. д.	«мы-пришли-на-берег» и т. д.

[Повелительное наклонение: *игд-у:-р-аӄ* «иди-к-берегу (на реку, к устью)»]

Многократный вид

Настояще будущее время	Прошедшее завершенное время
д-аӷар-æ-вæт	*д-аӷар-о-л'-вæт*
«я-хаживаю-к-берегу»	«я-хаживал-к-берегу»
к-аӷар-æ-ɣит	*к-аӷар-о-л'-ɣит*
«ты-хаживаешь-к-берегу» и т. д.	«ты-хаживал-к-берегу» и т. д.
д-аӷар-æ-ɣит-н	*д-аӷар-о-л'-ɣит-н*
«мы-хаживаем-к-берегу» и т. д.	«мы-хаживали-к-берегу» и т. д.

(Повелительное наклонение: *аӷар-æ-л'-г-ит* «хаживай-к-берегу»).

---

[12] В некоторых случаях формами прошедшего времени (парадигма *-ӄин'дит*, *-ӄин'гут*, *-ӄонæ*, *-ӄитнæ*, *-ӄимнæ* и др.) выражается значение начинательности действия.

[13] А. П. Дульзон выделяет в кетском языке «настоящее длительное или многократное», «будущее (настояще-будущее) однократное», «сложное будущее, образованное посредством вспомогательного глагола *-ет*» (А. П. Дульзон, Аффиксация как метод передачи грамматических значений. Лекция по общему языкознанию, Томск, 1962, стр. 6). Между тем в кетском языке будущее время и настояще-будущее время — это различные времена. Сложное будущее образуется не при помощи служебного глагола *-бæт*, а при помощи препозиционной частицы *ас'*, *ас'н*, присоединяющейся к некоторым глаголам и прилагательным: *ар' ас'н аӄтæр'и* «я буду хороший», *ар' аӄтæр'и* «я хороший (есьм)», *аӄтæ* «хороший». При помощи формы служебного глагола *-æ-вæт*, в которой время выражается морфемой *-æ-* < *-а-*, а не морфемой *-бæт*, образуется не будущее, а настояще-будущее время многократного вида. Настоящее время может быть однократным. В этой же лекции А. П. Дульзон отмечает, что «в сложных глаголах все аффиксы, кроме лично-субъектных... помещаются между основами» (указ. соч., стр. 5). Однако, как показывают данные кетского языка, в сложных глаголах, в том числе и в нижеприводимых сложных глаголах со значением движения, между корневыми морфемами, образующими сложную основу глагола, располагаются лично-субъектные аффиксы.

Все глаголы, обозначающие движения различной направленности (*дигдæксаӈ* «я-схожу-на берег», *даɣæксаӈ* «я-схожу-в лес», *тыɣæксаӈ* «схожу-на устье» и т. д.), образуются в однократном виде от связанной основы *-аӈ* «ходить», которая располагается в конце глагольного слова (*ди-j-аӈ* «я-схожу», *ку-j-аӈ* «ты-сходишь», *ду-j-аӈ* «он-сходит» и т. д., *ди-л'-аӈ* «я-сходил», *к-и-л'-аӈ* «ты-сходил», *д-и-л'-аӈ* «он-сходил» и т. д.). В третьей из приведенных парадигм при множественном числе субъектов действия основа *-аӈ* заменяется супплетивной основой *-ӷут* [14]. Наряду с глаголом *дијаӈ* «я-схожу» в кетском языке имеется совершенно самостоятельный глагол префиксального типа, также имеющий своей основой *-аӈ* «ходить»: *батсаӈ* «я-схожу куда-либо на короткое время» (перевод «я-сбегаю» дан нами условно), *кутсаӈ* «ты-сходишь (ты-сбегаешь) куда-либо на короткое время» и т. д., *батл'аӈ* «я-сходил (я-сбегал)», *кутл'аӈ* «ты-сходил (ты-сбегал)» и т. д. Вместе с тем надо указать, что слово *игдæ* представляет собой имя пространства в направительном падеже: ср. *игд* «на берегу», *игдил'* «с берега», *игдæ* «к берегу; к реке; на реку» [15]. Следовательно, компоненты *-игдæ-* и *-батсаӈ*, образующие глагольные словоформы типа *дигдæватсаӈ* «я-сбегаю к реке», являются самостоятельными словами, но здесь они образуют уже не словосочетание, а сложное слово, поскольку впереди этих компонентов расположились слитые с ними показатели субъекта действия (*д-* «я», *к-* «ты», *д-* «он», *дæ* «она» и др.), придающие всему этому образованию характер сложного глагола: ср. *д-(и)-л'-аӈ* «я-сходил» и *д-(игдæват)-л'-аӈ* «я-сходил-ненадолго-на-берег» и т. д. [16]. Таким образом, рассматриваемые нами формы глаголов движения в структурном отношении могут быть сопоставлены со сложными глаголами — сдвигами немецкого языка, образовавшимися из сращения грамматически оформленных групп слов. Процесс сращения корневых морфем в словоформах глаголов типа *дигдæксаӈ* «я-схожу к реке» (ср. *даɣæксаӈ* «я-схожу в лес» и др.), *дигдæддаӈ* «я-иду к реке» (ср. *дΛтæддаӈ* «я-иду в лес», *Λтæ-* «хаживать в лес» — связанная супплетивная основа к *аɣæ* «в лес») продвинулся значительно дальше, чем в словоформах глагола типа *дигдæватсаӈ*, поскольку составляющие их компоненты (кроме имен пространства *игдæ*, *аɣæ* и др.) не употребляются уже в современном языке в качестве самостоятельных слов. Что касается словоформ глагола многократного вида, то они образовались из сращения глагольного имени *аβат* «хаживать к реке» (ср. *Λтæт* «хаживать в лес» и др.) с формами служебного глагола *-æ-вæт* «делаю», *-о-л'-вæт* «делал». Изъяв показатели лица субъекта действия и времени из рассмотренных выше глаголов движения, нетрудно увидеть, что их основы образованы двумя дистантно расположенными супплетивными корневыми морфемами: *-игдæ-* — *-аӈ-*; *-игдæ-* — *-ӷут*; *-* *аβат-* — *-вæт*. В кетском языке имеются также сложные прерывные основы, которые образованы с использованием конечных компонентов *-ӄос* ~ *-ɣус* ~ *-ӷос* ~ *-ӷус*, *-бут*, *-ил'* и др., имеющих разную степень переосмысления или утраты их первичного лексического значения.

Стирание первичного лексического значения служебных основ в кетском языке сначала преобразовывало последние, по-видимому, в полусуффиксы (типа *-тæт*, *-вæт* ~ *-вит*), а затем в суффиксы [17]. Примечательно, что в кетском языке некоторые аффиксальные морфемы деривационного (слово- и основообразовательного) значения продолжают вести себя как первичное полнозначное слово и отодвигаются от корневой морфемы, чтобы вместить между собой и ею словоизменительные аффиксы. Так, от

[14] Употребление супплетивных основ в словоформах ед. и мн. чисел встречается еще в глаголе со значением «сидеть»: *с'эс'тæ* «сижу; сидишь: сидел», *с'эс'ол'тæ* «сидел (я, ты, он)», *диɣæ-ɣΛ:н'* «мы-сидим», *куɣæɣΛ:н'* «вы-сидите», *дуɣæɣΛ:н'* «они-сидят», *кол'ɣΛ:н'* «сидели (мы, вы, они)». Словоформы ед. ч. образованы от корневой морфемы *с'эс'-*, а мн. ч.— от корневой морфемы *-ɣΛн'*.

[15] К. Боуда, выделивший в составе кетских глаголов ряд показателей направления в пространстве, которые он назвал превербами, переводит слово *игдæ* неточно, как «zurück, hinter» (указ. соч., стр. 115) и т. д.

[16] В кетском языке не всегда бывает легко отличать сложный глагол от словосочетания. Так, например, *ɣаɣæ батсаӈ* «зайду ненадолго в жилище» построено так же, как рассмотренный выше глагол *дигдæватсаӈ*, но поскольку *ɣаɣæ* «в жилище» (*ɣа* «жилище», *-ɣæ* — суффикс местного падежа) не имеет перед собой слитого с ним показателя субъекта действия, приведенное образование следует, по-видимому, рассматривать как словосочетание.

[17] В настоящее время в кетском языке можно наблюдать процесс грамматизации имен существительных *к'эт* «человек» и *д'эӈ* «люди», напоминающий явление грамматизации слова *Mann* «мужчина» в немецком языке. Определительные словосочетания глагольных имен с указанными словами могут, с одной стороны, оставаться словосочетаниями, значения которых обусловлены их компонентами, а с другой — превращаться в грамматизированные образования, выражающие значения цели: *д'эӈ он'актæдиɲа бъннод'эӈ дДт æјаӈ ӷутн; д'эӈ бънновитн... бъннод'эӈ ɣај ɣаɣæ дин'бис'н...* «люди на озеро Оняк утковать (охотиться на уток) пошли; люди уткуют (охотятся на уток)... люди, охотящиеся на уток, домой только пришли...» (*бън'* «утка», *бъннo* «охотиться на уток»).

сложных прерывных основ мы подходим к генезису простых прерывных основ в кетском языке.

Глаголообразующий аффикс *-т* (иногда в сочетании с гласными *-у-т*, *-и-т*), при помощи которого образованы служебные глагольные основы *-тæт*, *-вæт*, участвует в производстве значительного числа глаголов от основ некоторых имен существительных, качественных основ, основ глаголов и наречий.

Так, от основы имени существительного *мам* «женская грудь» при помощи аффикса *-т-* образуется глагольное имя *мамт'* «сосать» [18].

Глагольное имя *мамт'* выступает в качестве монолитного слова: *дыл'диңа мамт' наро* «ребенку (девочке) сосать надо», *дыл' мамт' бън' итæл'ам* «дитя сосать не может» (дословно: «дитя сосания не понимает»), *мамт' дыл'* «сосущий ребенок», *дыл' мамт'ис'аң дуjæтус'* «дитя сосать собирается». Основа *мамт'* сохраняет свою монолитность, и выступая в составе глагольной аналитической формы начинательно-будущего и начинательно-прошедшего видов действия [*дыл' мамт' аɣаβан* «дитя (мальчик) сосать начнет», *дыл' мамт' аɣоβон* «дитя (мальчик) сосать начало»], и входя в качестве основы в парадигму прямо-переходных глаголов [*ат' дыл' мамт'қаjит* «я ребенку (мальчику) дам сосать», *ат' дыл' мамт'қонæ* «я ребенку (мальчику) дала сосать»]. Однако когда от глагольного имени *мамт'* образуются глагольные формы настояще-будущего и прошедшего завершенного времени, а также повелительного наклонения, то компоненты этого имени раздвигаются: аффикс *-т* отходит от корневой морфемы *мам-* и между ними, как в рамке, помещаются аффиксы глагольного словоизменения: *дыл' мам-с-у-т* «дитя сосет», *дыл' мам-л-у-т* «дитя сосало», *мам-р'-у-т* «соси». Нетрудно видеть, что в данном случае простое глагольное имя *мамт'* повторило структурные изменения сложного глагольного имени типа *тотæт* «хватать» и др. Приведем еще один аналогичный пример: от глагольного имени *диɣит* «собирать», в котором выделяется связанная основа *-иɣ-*, образуются глагольные словоформы: *киɣвит* «ты-собираешь-это», *киɣмн'ит* «ты-собрал-это», *иɣндит* «собери-это». Здесь аффикс *-и-т* отодвинулся от корневой морфемы *-иɣ-*, для того чтобы вместить между собой и ею или аффиксы времени, или аффиксы повелительного наклонения. Ср. также *д-итиң-с'-и-т* «я-грызу», *д-итиң-л'-и-т* «я-грыз», *итиң-р'-и-т* «грызи» (*ит* «зуб», *итиң* «зубы») и др.

В том, что аффикс *-т* во всех этих случаях действительно отодвигается от корневой морфемы, убеждают также и нижеприводимые факты. Глаголообразующий аффикс *-т*, *-и-т* может вступать в соединение с различными аффиксами, в частности с аффиксом *-к-*. При помощи сложного суффикса *-кит* ~ *-ɣит* ~ *-гит* образуются глагольные имена со значением действия, производимого предметом, названным именем существительным, от которого образовано данное глагольное имя или глагол: *т'Λɣит* «солить» (*т'Λ*? «соль»), *туɣң'-гит* «причесывать» (*туɣн'* «гребешок») и др. Примечательно, что образование временных и личных форм переходных глаголов от таких глагольных имен происходит посредством дистантного расположения корневой и аффиксальных морфем, а также посредством включения в образуемое глагольное слово дополнительно еще одного глаголообразующего аффикса *-т-* наряду с аффиксами словоизменительного характера:

Настояще-будущее время	Прошедшее завершенное время
т'Λ-т-æ-ɣит «солю»	*т'Λ-т-о-л'-гит* «солил»
туɣн'-ба-т-æ-ɣит «я-причесываюсь»	*туɣн'-ба-т-о-л'-гит* «я-причесался»
туɣн'-ку-т-æ-ɣит «ты-причесываешься» и т. д.	*туɣн'-ку-т-о-л'-гит* «ты-причесался» и т. д.

В отношении двух первых глагольных словоформ *т'Λтæɣит*, *т'Λтол'гит* можно было бы предположить, что аффикс *-т-*, включенный в них, образует с именем существительным *т'Λ* «соль» основу глагольного слова *т'Λт-* «солить», но поскольку в глагольных словоформах *туɣн'батæɣит*, *туɣн' батол'гит* и др. аффикс *-т-* отодвигается от имени существительного личным аффиксом *-ба-* «я», *-ку-* «ты» и др. следовательно, в обоих случаях речи быть не может о том, что он образует с корневой морфемой монолитную основу.

Аффиксы, соединяющиеся с глаголообразующим аффиксом *-т-*, могут не только предшествовать ему, как в сложном суффиксе *-кит*, но и следовать за ним, как, например, деривационный суффикс *-иj* [19]. Посредством сложного суффикса *-тиj* от основ

[18] Поскольку непалатализованные и палатализованные согласные в кетском языке могут выступать в качестве вариантов одной фонемы, не остается сомнений в том, что в образовании данного глагольного имени участвует аффикс *-т-*.

[19] При помощи суффикса *-иj* образуются глаголы и глагольные имена, например: *даβиj* «смеюсь» от *даβ* «смех», *кыңиj* «блевать» от *кың* «рвота». Первое слово имеет прерывную основу, а второе — монолитную: *ат' даβиj* «я смеюсь», но *ат'даβол'иj* «я смеялся», *бу ат'даβаɣиj* «он меня высмеивает», *бу ат даβваɣол'иj* «он меня высмеивал» и т. д., *ат' кыңjæвæт* «я блюю», *ат' кыңjол'вæт* «я блевал» и т. д.

некоторых имен существительных образуются глагольные имена: *хус'тиj* «плесневеть» (*хус'* «плесень»), *доӈтиj* «гноиться» (*доӈ* «гной»), *кин'тиj* «червиветь» (*кин'* «черви»), *Λгын'тиj* «обовшиветь» (*Λб* «вошь», *Λгын'* «вши») и др. При образовании глаголов от таких глагольных имен корневая морфема и глаголообразующая морфема также занимают дистантное положение, и в состав глагольного слова наряду со словоизменительными аффиксами включается уже не аффикс *-т-*, как в вышеприведенном случае, а деривационный аффикс *-к-* ~ *-г-* ~ *-γ-*:

Настоящее-будущее время	Прошедшее завершенное время
н'ан' хус'-к-æ-тиj «хлеб заплесневеет»	*н'ан' хус'-к-о-н'-тиj* «хлеб заплесневел»
ат' Λгын'-ба-γ-æ-тиj «я обовшивею»	*ат Λгын'-ба-γ-о-н'-тиj* «я обовшивел»
ук Λгын'-ку-γ-æ-тиj «ты обовшивеешь» и т. д.	*ук Λгын'-ку-γ-о-н'-тиj* «ты обовшивел» и т. д.

В глагольной словоформе *хус'кæтиj* «заплесневеет» аффикс *-к-* ~ *-г-* ~ *-γ-* следует непосредственно за основой, а в словоформе *Λгын'баγæтиj* «я-обовшивею» он отодвигается от основы личным показателем *-ба-* «я» и др. аналогично тому как это было отмечено выше в отношении аффикса *-т-*.

Приведенные выше факты, число которых может быть во много раз увеличено, убеждают в том, что в кетском языке наряду со сложными прерывными глагольными основами, образованными двумя корневыми морфемами, есть еще и простые прерывные глагольные основы суффиксального типа со следующей схемой расположения компонентов: корневая (именная, глагольная) морфема + реляционные (словоизменительные) морфемы + деривационные (слово- и основообразовательные) морфемы.

В глагольных словоформах *мамсут* «сосет», *маммут* «сосал», *мамр'ут* «соси» основа глагольного слова не монолитная, а дистантная, так как она образована не одной корневой морфемой *мам-*, а двумя морфемами *мам-* — *-т* — корневой и деривационной, между которыми расположились реляционные морфемы.

Для того чтобы морфологическая особенность этого типа слов предстала наиболее наглядно, произведем сопоставление слова «клей» и его производных в кетском (*хит*), в чукотском (*ыӈык*, основа *ыӈ-*) и в юкагирском (*jорт'и*). Несмотря на такое резкое различие корневых морфем, глаголы от них образуются при помощи почти родственных аффиксов — в кетском *-и-т*, *-к-и-т*, в чукотском *-ат-* и в юкагирском — *-т(э)-*.

Языки	«Клеить»		«Клеит, клеил»
	глагольное имя	основы глаголов	глаголы
Кетский	*хитит* или *хиткит*	*хит-* — *-кит*	*хит-æ-γит* «клеит (клеишь, клею)»
			хит-о-л-гит «клеил»
Чукотский		*ыӈат-*	*ыӈат-ыркынэн* «клеит-он-его» [1]
Юкагирский		*jорт'ит-*	*jорт'ит-эм* «клеил-он»

[1] В. Г. Богораз, Луораветланско-русский (чукотско-русский) словарь, М.— Л., 1937, стр. 38. Аффиксальная и корневая морфема *-т-* со значением «делать» является, по-видимому, очень древней, так как встречается в различных языках, ср. чукотский *та-ӂ* ~ *тэ-ӂ* «делать», нанайский *та-ори* «делать», а также в тюркских языках *ӓт-*, *ет-*, *ит-*, «делать, сделать» (В. В. Радлов, Опыт словаря тюркских наречий, I, СПб., 1893, стр. 835, 1502).

Таким образом можно видеть, что в то время как в чукотском и юкагирском языках словоизменительные суффиксы присоединились к монолитным производным основам переходных глаголов, образованным от основ существительных посредством деривационных суффиксов *-ат-*, *-т-*, в кетском языке аналогичная основа раздвинулась и вместила между своими компонентами реляционные аффиксы.

В глагольных словоформах, имеющих производные прерывные основы с корневыми морфемами в начале и деривационными морфемами в конце, последние используются для различения значений однократного и многократного видов, а также переходных и непереходных глаголов:

д-ы:т'к-ив-ит «он покажет-это»	*д-ы: т'к-ав-р'а* «он показывает-это»
д-ы: т'к-и-р'-ит «он-покажет-меня»	*д-ы: т'к-а-д-да* «он-показывает меня» [20]
с'эл' д-и-γ-æ-т-с-ақ «оленя я-освежую»	*с'эн д-и-ң-аң-с'-иј* «оленей я-освежевываю»
тип' д-ул'-æ-т-а-в-р-ақ «собаку я-отпущу»	
тап' д-ул'-æң-т-а-в-р-ақ «собак я-отпущу (сразу)»	*тап' д-ул'-æң-аң-т-æ-в-иј* «собак я-отпускаю (по одной)»
қус' х-а-в-т-о «чум поставлю» (корень *х-* от *хиј* «втыкать»)	*қус' х-а-в-т-а* «чум стоит»

Нетрудно видеть, что показатели *-и-т/-р'а* ~ *-да*; *-ақ*, *-р*, *-ақ/-иј*, *-т-о/-т-а* и др. выполняют в кетском языке не только словообразовательную, но и формообразовательную функцию.

Глаголообразующий аффикс *-т-* в кетском языке может занимать дистантное положение не только после корневой морфемы, но и перед ней: *т-а-в-ро* «тешу-это», *т-о-в-и-л'-до* «тесал-это», *т-а-р-о* «теши (-это)» (*до* «тесать»); *т-а-в-ги* «рассказываю», *т-о-в-и-н'-ги* «рассказывал», *т-а-н'-ги* «расскажи» (*киј* «рассказывать») *т-а-в-гΛң* «вяжу-невод», *т-о-в-и-н'-гΛң* «связал-невод», *т-а-н'-гΛң* «вяжи-невод» (*хΛң* «невод»); *т-а-д-дақ* «я-упаду», *т-а-у-рақ* «ты-упадешь», *т-а-ј-æ-рақ* «он-упадет» (корневая морфема *-дақ* ~ *-рақ* от *дықң* «падать») и т. д. Следовательно, в кетском языке обнаруживаются прерывные глагольные основы не только суффиксального, но и префиксального типа, имеющие следующую схему расположения компонентов: деривационные (слово- и основообразовательные) аффиксы + реляционные аффиксы + корневая морфема. В глагольных формах *тавро* «тешу-это», *товил'до* «тесал-это», *таро* «теши-это» глагольная основа представлена не глагольным именем *до* «тесать», а двумя дистантно расположенными морфемами — глаголообразующим аффиксом *-т-* и корневой морфемой *-до*, между которыми располагаются словоизменительные аффиксы *-а-в-*, *-о-в-и-л'-*, *-а-р-*.

По аналогии с аффиксом *-т* в качестве первого деривационного компонента подобных слов и основ выделяются еще и другие, например, аффикс *к-*: *к-а-в-ро* «расчищаю-это (дорогу)», *к-о-в-и-л'-до* «расчищал-это» (корневая морфема *-до* ~ *-ро* от *до* «тесать», основа *к-* — *-до*); *к-а-ди-γΛн'* «я-сяду», *к-о-н'-ди-γΛн'* «я-сел», *к-а-ј-æ-γΛн'* «он-сядет», *к-о-н'-æ-γΛн'* «он-сел» (корневая морфема *-гΛн'* ~ *-γΛн'*, основа *к-* — *-гΛн'* ~ *-γΛн'*); *к-а-т-тиј* «я-упаду», *к-о-н'-тиј* «я-упал», *к-а-ј-æ-тиј* «он-упадет», *к-о-н'-æ-тиј* «он-упал» (корневая морфема *-тиј*, основа *к-* — *-тиј*) и т. д. В единичных случаях деривационному аффиксу *-к-* предшествует гласный *-и-* (возможно, протетического характера) [21] — в том случае, если корневая морфема начинается с согласного звука. Примечательно, что при образовании от таких глагольных имен глагольных словоформ однократного вида и многократного вида (на *-вæт*) обнаруживается следующая особенность. В однократном виде компоненты, составляющие эти глагольные имена, раздвигаются, образуя прерывную глагольную основу, а в многократном виде, напротив, они смыкаются, представляя собой монолитную основу глагола. Например: *иксиң* «завязать», однократный вид: *д-ик-к-ив-сиң ајдгу* «я завяжу отверстие в мешке» (*ај* «мешок», *ку* «отверстие»), *д-ик-к-ив-ин-сиң ајдгу* «я-завязал

[20] В одной из своих прежних работ мы относили этот глагол к глаголам с основой в начале слова, указав при этом, что глаголообразующие показатели располагаются в нем в конце слова (см.: Е. А. Крейнович, О модели глаголов кетского языка с основой в начале слова, «Проблемы сравнительной филологии. Сб. статей к 70-летию чл.-корр. АН СССР В. М. Жирмунского», М.— Л., 1964, стр. 160). В связи с этим указанный и подобные ему по структуре глаголы целесообразнее относить к глаголам с простой прерывной основой с корневой морфемой в начале слова и деривационной морфемой в конце слова (за исключением форм 3-го л. прошедшего завершенного времени однократного вида). К глаголам же с основой в начале слова мы относим, например, глаголы, образуемые при помощи видо-временных показателей *-с'а*, *-л'а*: *ха-с'а* «режу», *ха-л'а* «резал» (основа *ха-*); *кул'гæј-бо-к-с'а* «я-скачусь», *кул'гæј-бо-л'а* «я-скатился» (основа *кул'гæј-*, *кул'гун* «катиться», «катание», корень *кул'г-*).

[21] Гласный *и* может следовать и после аффикса *к-*: *к-и-с-сæл* «переночует-это», *к-и-н-сæл* «переночевало-это» (*са* : *л* «ночевать»). К приведенным формам префигируются личные показатели *ба-*, *ку-* и т. д. (см. примечание 7). Гласный *-и-* встречается и после аффикса *т-*: *т-и-р-ђо* «я-заряжу (ружье)», *т-и-л'-до-ђо* «я-зарядил», *т-и-ку-ђо* «ты-зарядишь», *т-и-л'-гу-ђо* «ты-зарядил» и т. д.; ср. *сиђо богдом* «заряженное ружье», где значение компонента *си-* неясно. См. также вышеприведенную парадигму спряжения *тис'ук*.

отверстие мешка», но многократный вид: *д-иксиӈ-æ-вæт аӆиӈдгун'иӈ* «я завязываю отверстия мешков», *д-иксиӈ-ол'-вæт аӆиӈдгун'иӈ* «я-завязал отверстия мешков»; *игбæс* «приходить», однократный вид: *д-ик-с'и-вис* «я-приду», *д-и-н-бис* «я-пришел», (повелительное наклонение: *инус* «приди»), но многократный вид: *д-игбæс'-æ-вæт* «я-прихожу», *д-игбæс о-л'-вæт* «я-приходил» (повелительное наклонение: *игбæс æл'гит* «приходи»). Глагольные имена *иксиӈ* и *игбæс* членятся так: *и-к-сиӈ* (ср. *с'ыӈ* «завязывать») и *и-г-бæ-с*. Во втором глагольном имени корневой является, по-видимому, морфема *-с* (встречающаяся и в других глаголах движения), значение морфемы *-бæ-* неясно.

По аналогии с аффиксами *т-* и *к-* в начале глаголов, имеющих корневую морфему в конце слова, в качестве деривационных морфем выделяются еще следующие аффиксы: аффикс *д-*: *д-а-в-ро* «долблю-это» (например, челнок), *д-о-в-и-л'-до* «долбил-это» (корневая морфема *-до* ~ *-ро* от *до* «тесать; долбить»; основа *д-—-до*); *д-а-д-дун* «я-крикну», *д о-л'-дун* «я-крикнул», *д-а-у-р'ун* «ты-крикнешь», *д-о-л'-гу-р'ун* «ты крикнул» (корневая морфема *-дун* ~ *-р'ун*, основа *д- — -дун*); аффикс *н-*: *н а-д-диӌ* «я-пошевелюсь», *н-о-л'-диӌ* «я-пошевелился», *н-а-у-р'иӌ* «ты-пошевелишься», *н-о-л'-гу-р'иӌ* «ты-пошевелился» (корневая морфема *-диӌ* ~ *-р'иӌ* от *дʌӆ* «шевелиться», основа *н- — -диӌ*) [22], аффикс *х*: *х-а-т-тæс* «я-встану», *х-у-л'-тæс* «я-встал», *х-а-у тæс* «ты-встанешь», *х-у-л'-гу-тæс* «ты встал» (корневая морфема *-тæс* от *тасиӈ* «вставать», основа *х- — -тæс*), аффикс *ӷ-*: *ду*ˀ *ӷ-а-в-ӷут* «дым кончится» (говорят при лесном пожаре), *ду*ˀ *ӷ-о-в-л-ут* «дым кончился», ср. *ӷо а-в-ӷут* «лед кончится», *ӷо о-в-л-ут* «лед кончился» (корневая морфема *-ӷут* ~ *-ут*, основа *ӷ- — ӷут*).

Говоря об аффиксе *ӷ-*, нельзя не рассмотреть здесь образованного при его участии глагольного имени *ӷил'* «нанизать рыбу на вертел, вдеть в иглу нитку; надеть (одеть) одежду». Глагольное имя *ӷил'*, подобно другим глагольным именам, выступает как монолитное слово: *б'эс'ам ӷил' наро* «заячью шубу надеть надо», *иснæӷил' наро* «рыбу нанизать надо» (дословно: «рыбное нанизывание надобно»). Однако при образовании глагола от глагольного имени *ӷил'* оно, как во всех вышеприведенных случаях, раздвигается, образуя прерывную глагольную основу *ӷ- — -ил'*, которая включает в себя различные словоизменительные аффиксы и, кроме того, деривационный аффикс *-д-*, о котором уже говорилось выше.

Будущее время	Прошедшее завершенное время
кит ӷыриӈæ р ӷ-и-в-д-ил'	*кит ӷыриӈæ р ӷ-и-в-и-л'-д-ил'*
«мясо на рожон нанижу»	«мясо на рожон нанизал»
тотал ӷыриӈæ р ӷ-аӌ-д-ил'	*тотал ӷыриӈæ р ӷ-о-л'-д-ил'*
«сига на рожон нанижу»	«сига на рожон нанизал»
к'эс' ӷыриӈæ р ӷ-иӌ-д-ил'	*к'эс' ӷыриӈæ р ӷ-и-р-у-л'-д-ил'*
«налима на рожон нанижу»	«налима на рожон нанизал»
ис' ӷыриӈæ р ӷ-аӈ-а-р-ил'	*ис' ӷыриӈæ р ӷ-оӈ-о'л'-д-ил'*
«рыб на рожон нанижу»	«рыб на рожон нанизал»

К глагольным словоформам *ӷивил'*, *ӷивил'дил'* со значением «надену (наденешь, наденет)-это; одену (оденешь, оденет)-в-это; надел-это; одел-в-это» [23] префигируются также личные показатели: *ба-ӷивдил'* «я-надену-это», *ку-ӷивдил'* «ты-наденешь-это», *бу ат'ба-ӷивдил'* «он меня оденет» и т. д. Однако личные показатели могут не только префигироваться к глаголу, образованному от глагольного имени *ӷил'*, но и инфигироваться внутрь него, что наблюдается при образовании глагола со значением «залезть» (вдеться в дугу нарты) [24].

Будущее время	Прошедшее время
ӷ-и-д-д-ил' «я-вденусь»	*ӷ-и-л'-д-ил'* «я-вделся»
ӷ-и-ӷ-р-у л' «ты-вденешься»	*ӷ-и-л'-гу-р-ил'* «ты-вделся»
ӷ-и-сæ-р-ил' «он-вденется»	*ӷ-и-л'-æ-р-ил'* «он-вделся»

[22] В кетском языке нам встретились три глагола, образованные от трех глагольных имен, у которых начальные согласные *т-*, *к-*, *н-* являются не аффиксальными, а корневыми: *ти* «черпать» (*т-а-в-и* «черпаю», *т-о-м-н'-и* «черпал», *т-а-н'-д и* «черпай»); *ки* «скоблить» (*к-а-в-и* «скоблю», *к-о-м-н'-и* «скоблил», *к-а-н'-д-и* «скобли»); *ни* «отгребать снег» (*н-а-м-и* «отгребаю-снег», *н-о-м-л'-и* «отгребал-снег», *н-а-р'-и* «отгребай-снег»).

[23] В кетском языке значения «нанизать» и «надеть, одеть» выражаются одним словом: *ат' б'эс'ам ӷивдил'* «я заячью шубу надену», *ат' б'эс'ам ӷивил'дил'* «я заячью шубу надел». Это свидетельствует, по-видимому, о том, что когда-то одежда у кетов была глухой, без разреза.

[24] Кеты приучают детей примерно с девяти лет везти нарту. Для этого в нее впрягают сильную собаку, которая тащит нарту, а ребенок залезает внутрь дуги нарты и, держась за нее руками, направляет движение нарты, приучаясь таким образом к тому, чтобы впоследствии вести ее самостоятельно.

В кетском языке имеются не только сложные и простые прерывные глагольные основы; существуют также и сложные глагольные прерывные аффиксы деривационного назначения, между компонентами которых, как и между корневыми компонентами сложной прерывной глагольной основы, размещаются аффиксы реляционного назначения. Рассмотренные выше деривационные аффиксы *ҷ-* и *-и-т* вместе составляют сложный аффикс *-ҷит*, при помощи которого образуются глагольные имена от основ отдельных имен существительных, от связанных глагольных основ и основ наречий: *усҷит* «греть; согреться», *авиңа ңара усҷит* «мне надо согреться» (*ус'* «тепло»), *эр'бит* «послать» (основа *эр'-*), *татаңгит* «выпрямить» (*татаң* «прямо») и др.

Для выявления структурных особенностей деривационного аффикса *-ҷит* сопоставим с ним рассмотренный выше деривационный аффикс *-жит*, также образованный из двух компонентов (*-ж-* + *-и-т*). Для этого возьмем глагольные имена *т'Λгит* «солить» и *усҷит* «греть». Казалось бы, глаголы от этих глагольных имен, построенных в сущности по одному типу, должны были бы формироваться одинаково. На деле, при образовании глагола от глагольных имен первого типа раздвигаются корневая и аффиксальные морфемы *т'Λ-* — *-гит* (см. стр. 125), а при образовании глаголов от глагольных имен типа *усҷит* раздвигается деривационная морфема, первый компонент которой отходит как бы к корневой морфеме, а второй заканчивает слово: *усҷ-* — *-ит*.

Будущее время	Прошедшее завершенное время
д-усҷ-и-р-ит «он-согреет-меня»	*д-усҷ-и-н-д-ит* «он-согрел-меня»
д-усҷ-и-у-т «он-согреет-тебя»	*д-усҷ-и-н'-гу-т* «он-согрел-тебя»
д-усҷ-аӀ-ит «он-согреет-его»	*д-усҷ-о-нӕ* «он-согрел-его»
д-усҷ-иӀ-ит «он-согреет-ее»	*д-усҷ-ит-нӕ* «он-согрел-ее»
д-усҷ-и-р'ӕң-ит «он-согреет-нас» и т. д.	*д усҷ-и-н'-дӕң-ит* «он-согрел-нас» и т. д.

Прерывность иного типа обнаруживает сложный суффикс *-таҷ*, при помощи которого от основ некоторых имен существительных и глаголов образуются глаголы становления и непереходные глаголы:

Будущее время	Прошедшее завершенное время
ам-т-аҷ «(она)-станет-матерью»	*ам-т-он-аҷ* «(она)-стала-матерью»
ам-ба-т-аҷ «я-стану-матерью»	*ам-ба-т-он-аҷ* «я-стала-матерью»
ил'-та-ҷ «сломается»	*ил'-та-но-ҷ* «сломалось»

Нетрудно видеть, что прерывный аффикс *-ҷит* отличается от прерывного аффикса *-таҷ* тем, что он включает между своими компонентами не только показатели времени, но и показатели лица, в то время как в аффикс *-таҷ* вклиниваются только показатели времени, а показатели лица ему предшествуют.

Можно предполагать, что конечный аффикс *-ҷ/-аҷ* в сложном суффиксе *-таҷ* — одного происхождения с аффиксом *-ҷ* в *ҷил* «нанизать» и *усҷит* «греть». Следовательно, деривационный аффикс *-ҷ* подобно аффиксу *-т* (и, по-видимому, *-к*) встречается в начале, середине и конце слова.

Поскольку аффиксы *ҷ-* и *т-* могут начинать собой самостоятельные глагольные слова, можно предполагать, что в основании парадигм типа *-ҷирит*, *-ҷиндит* и *-таҷ/-тонаҷ*, *-батаҷ/-батонаҷ* лежали некогда глагольные слова служебного типа с основой в конце слова (см. стр. 121—122), которые составляли с впереди стоящим полнозначным словом аналитические формы. В результате постепенного сращения последних и утраты служебной основой своего лексического значения образовались современные синтетические формы глаголов. В связи с этим те из деривационных показателей, которые некогда были полнозначными словами, оказались в конце глагольных слов, а корневые морфемы расположились в начале этих слов, вследствие чего словоизменительные показатели очутились в середине глагольного слова между крайними его компонентами. Таким образом, сложные прерывные глагольные основы и простые прерывные глагольные основы и прерывные глагольные аффиксы, по нашему мнению, развились в кетском языке вследствие движения его грамматических форм от аналитизма к синтетизму.

Структура глагольных основ, подобных описанным в кетском языке, отмечается также в адыгских языках, где выделяются свободные, несвободные (связанные) и прерывистые основы [25]; последние отмечаются также и в абхазском языке [26]. Указан-

[25] См. об этом: М. А. К у м а х о в, Морфология адыгских языков, I, Нальчик, 1964, стр. 80 и сл.

[26] В абхазском языке, сообщает И. О. Гецадзе, «признаком переходности служит... включение субъектного показателя во внутрь основы глаголов, сложных по своей структуре» (см. И. О. Гецадзе, К вопросу об эргативной конструкции в абхазском языке. Автореф. канд. диссерт., Л., 1962, стр. 9).

ные схождения в структуре глагольных основ дополняют собою структурно-типологические сопоставления между кетским и кавказскими языками, проведенные О. Г. Тайёром [27]. В одном из примечаний к своей первой работе по кетскому языку мы, независимо от работы О. Г. Тайёра, остававшейся в то время нам неизвестной, указали на типологическое сходство категории рода в этом языке с именными классами в кавказских языках, в связи с чем по аналогии с последними мы назвали это явление в кетском языке классами [28] (О. Г. Тайёр этого в своей работе не делает). Кроме кетского, адыгских и абхазского языков, прерывные сложные глаголы имеются также в языках удмуртском и китайском [29]. Сюда же можно отнести глаголы немецкого языка с инфинитивами типа *teilnehmen* [30]. Таким образом на основании этих фактов, число которых, вероятно, будет постепенно увеличиваться, можно говорить о наличии в некоторых языках основ прерывного типа, характеризующихся дистантным расположением либо образующих их корневых морфем, либо корневых и деривационных аффиксальных морфем. Что касается прерывности, свойственной корневым морфемам семитических языков, и прерывности сложных и простых основ в кетском языке, то эти явления кажутся нам качественно различными и требующими разного подхода и разного истолкования.

---

[27] O. G. Tailleur, Un flot basco-caucasien en Sibérie: Les langues iénisséiennes, «Orbis», VII, 2, 1958.

[28] См.: Е. А. Крейнович, Именные классы и грамматические средства их выражения в кетском языке, ВЯ, 1961, 2, стр. 106.

[29] См.: «Грамматика современного удмуртского языка», Ижевск, 1962, стр. 249—253; А. А. Драгунов, Грамматическая система современного китайского разговорного языка, Л., 1962, стр. 53, 137—138.

[30] См.: В. М. Жирмунский, О границе слова, сб. «Морфологическая структура слова в языках различных типов», М.-Л., 1963, стр. 11.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1965

К. И. БАХМАН

К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ СТИХИЙНЫХ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАЗВИТИИ ЯЗЫКА

Среди других актуальных проблем лингвистики, как отмечалось в «Вопросах языкознания» [1], большой интерес представляет проблема соотношения стихийных и сознательно регулируемых процессов в развитии современных языков.

Изучение этого вопроса, очевидно, поможет избавиться от предвзятого мнения, будто по диахронической вертикали языкознание не в состоянии подняться выше «барьера» современности и навсегда обречено заниматься либо историей языка, либо описанием его структуры на синхронической плоскости, оставляя вне поля зрения судьбы его будущего развития. В наше время, когда другие науки (исторические, физические, биологические и т. д.) на базе глубокого анализа прошлого и настоящего направляют свой смелый взор и в будущее, угадывая и предсказывая дальнейшую эволюцию изучаемых явлений, языкознание должно также переключиться от пассивного созерцания к более активному вмешательству в процессы развития языка, оказывать творческое влияние на его структуру и научиться делать прогнозы на будущее. Правда, некоторые гипотезы о будущих перспективах развития языка уже высказывались (мы имеем здесь в виду общеизвестные высказывания Н. Я. Марра и И. В. Сталина), но, к сожалению, все эти априорные рассуждения не принесли заметной пользы языковедческой науке.

Творческое вмешательство в процессы развития языка представляется нам как деятельность широкого диапазона, от незначительных лексических и морфологических инноваций до воздействия на процессы интеграции и дифференциации языков. В круг вопросов этой проблемы относятся и такие явления, как различного рода табу, тенденции пуризма и языковые реформы, проводимые в административном порядке.

В данной статье мы затрагиваем вопрос о лексических и грамматических инновациях, вводимых в язык отдельными лингвистами, разумеется, при поддержке всей общественности.

В первую очередь сосредоточим свое внимание на искусственно выдуманных словах, или так называемых лексических инновациях ex nihilo, потому что в них с максимальной яркостью выступает роль субъективного вмешательства в развитие словарного состава языка. В качестве фактического материала используются характерные примеры из недавней истории эстонского литературного языка (в пределах первой половины XX в.).

Следует отметить, что способ искусственного выдумывания слов в лингвистической литературе обычно недооценивается, а иногда и вовсе игнорируется. Так, например, Э. Косериу считает этот способ крайне редким явлением [2], а Р. А. Будагов в учебнике по языкознанию утверждает, что выдуманных слов в действительности почти совсем не существует и что «попытки искусственно создать такие слова за пределами индоевропейских языков, например в эстонском, не могли не окончиться полной неудачей» [3] (разрядка моя.— *К. Б.*). Такое утверждение не соответствует фактам действительности. Какая же это «неудача», если лишь только одному лингвисту Й. Аавику удалось в течение каких-нибудь 20—30 лет создать и внести в нормативный литературный язык несколько десятков искусственных корней, которые в свою очередь дали сотни новых производных слов?

Вот, например, далеко не полный список искусственных слов, созданных Й. Аавиком (в скобках даем дату создания слов, в основном по данным самого Й. Аавика [4]): *veenma* «убеждать» (1914), *laip* «труп» (1917), *kolp* «череп» (1917), *roim* «преступление» (1916), *relv* «оружие» (1917), *ese* «предмет» (1917), *lunk* «пробел» (1917), *range* «строгий» (1917), *siiras* «искренний» (1917), *sulnis* «приятный» (1919), *taunima* «осуждать»

[1] ВЯ, 1962, 4, стр. 7.

[2] Э. Косериу, Синхрония, диахрония и история, в кн. «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 192.

[3] Р. А. Будагов, Введение в науку о языке, М., 1958, стр. 79.

[4] J. Aavik, Keeleuuenduse äärmised võimalused, Tartu, 1924. стр. 164 и сл.

(1917), *naasma* «возвращаться» (1917), *evima* «обладать» (1918), *väisama* «посещать» (1920), *nõrdimus* «негодование» (1922), *reetma* «предавать» (1920), *embama* «обнимать» (1917—1921), *liibuma* «льнуть» (1917—1921), *laup* «лоб» (1922—1932), *tõik* «факт» (1922—1932), *ulm* «сновидение» (1922—1932), *nõme* «невежественный» (1922—1932), *malbe* «скромный» (1922—1932), *meenuma* «припоминаться» (1922—1932), *nentima* «констатировать» (1922—1932), *mõrv* «убийство» (1922—1932), *tarm* «энергия», «сила воли» (1922—1932) и др. Но искусственные слова создавались и другими лицами. Так, например, слова *hõivama* «занимать; оккупировать» (1931) и *käälik* «кролик» (1932) выдуманы учителем М. Луби, а слово *kahur* «орудие; пушка» придумано военнослужащими.

Эти факты, свидетельствуют об известной удаче сторонников искусственного культивирования эстонского языка. Не без основания А. Каск в своей статье, посвященной 80-летию Й. Аавика, отмечает: «Все же мы должны признать, что деятельность Аавика по обогащению и формированию современного эстонского литературного языка была объективно довольно плодотворной...» и «... многое из того, за что он в свое время с юным энтузиазмом боролся, пошло на пользу нашему литературному языку» [5].

Здесь, как нам кажется, не следует смешивать два разнородных явления: с одной стороны, эксперимент создания искусственных слов, который можно считать вполне удавшимся, и, с другой стороны, экстремистскую деятельность опрометчивых модернизаторов эстонского языка, которые думали, что язык можно переделать революционным путем за короткий срок, и, чувствуя себя борцами за прогрессивное дело, входили в азарт и наряду с рациональными новшествами зачастую навязывали совершенно нелепые и чуждые языку слова и формы, которые, естественно, вызывали ироническое отношение ко всему «обновленческому движению» в языковом строительстве.

Во всяком случае опыт искусственного выдумывания новых корней в эстонском языке оправдал себя на практике и в настоящее время в кругу эстонских лингвистов признается пригодным в числе других способов словообразования. Даже такой противник «обновленческого движения», как Й. Вески, который в 1919 г. остро высмеивал произвольное сочинение слов [6], в 1935 г. уже сам выдвигает этот метод среди других способов словообразования. Он говорит: «Для приобретения новых слов есть следующие пути: 1) изобретение совершенно новых корней, «выдумывание» их, 2) перенесение их в литературный язык из народных диалектов, из забытого словарного запаса, 3) заимствование — из родственных языков и 4) из неродственных языков» [7].

Искусственное создание новых слов Й. Вески считает самым трудным среди других способов словообразования, так как у совершенно новых корней, как он говорит, нет еще ни «родни», ни «знакомства» [8].

В отличие от Й. Аавика, который предлагал очень много искусственных слов и заимствований, Й. Вески отмечает, что слишком обильное употребление новых слов в литературном языке возбуждает у обычного пользующегося языком чувство протеста, а в меньших дозах распространяются они без препятствий, возбуждая даже интерес, как всякий новый предмет [9].

Инициатор обновления эстонского языка Й. Аавик относился к методу искусственного выдумывания корней с преувеличенным оптимизмом. В книге «1000 новых корней должно быть нашим идеалом» он говорит, что, несмотря на отсутствие доверия, все же этот принцип фактически оправдал себя тем, что около 30 искусственно созданных слов уже нашло практическое применение. «Если принято 20 слов, почему же нельзя принять 200 слов, почему в таком случае и не трижды 200 слов? Принцип ведь один и тот же»,— заявляет он [10].

Вообще Й. Аавик призывал к творческому вмешательству в развитие языка и полагал, что таким путем можно гораздо быстрее добиться желаемых результатов. По мнению Й. Аавика, развитие языка нельзя оставлять на произвол стихии и случайностей; язык не следует рассматривать как некий музейный предмет, который тем лучше и ценнее, чем меньше на него повлияла современная культура. Язык, как и все иные механизмы, орудия и машины, нуждается в систематическом и методическом усовершенствовании. То, что общество не решается предпринимать активных творческих мер по отношению к языку, по его мнению, объясняется тем, что «к языку относятся с каким-то особым почтением и благоговением, как к чему-то, созданному предками», и поэтому «в нем не осмеливаются предпринимать никаких сознательных изменений» [11]. И далее: «Если люди имеют

[5] Газ. «Sirp ja vasar», 9 XII 1960, стр. 4.
[6] См. «Johannes Voldemar Veski keelelisi tõid», Tallin, 1958, стр. 83—85.
[7] Там же, стр. 167.
[8] Там же.
[9] Там же, стр. 168.
[10] J. Aavik, 1000 uut tüvisõna olgu meie ideaaliks, Tallin, 1932, стр. 5.
[11] J. Aavik, Keeleuuenduse äärmised..., стр. 10.

право сознательно изменять и улучшать орудия, машины, почву, породы животных и т. д., то почему же они не имеют права этого делать со своей духовной продукцией, т. е. языком?» — спрашивает Й. Аавик и отвечает: «Конечно, они имеют на это право. И это не только их право, но и их долг» [12].

Новые слова Й. Аавик выдумывал не так просто, ради потехи, а совершенно планомерно, руководствуясь, как он утверждал, принципом целесообразности. В его работах неоднократно подчеркивается, что без сознательного заимствования из других языков, особенно из финского, и без искусственного создания новых корней невозможно поднять эстонский язык до уровня других культурных языков. В «Руководстве по языку» он прямо заявляет: «На базе только своих народных диалектов и путем словообразования, как этого желает официальное направление, эстонский язык не может развиваться в необходимой мере и останется до известной степени недоброкачественным» [13].

По мнению Й. Аавика, заимствованные и искусственно созданные корни придают языку свежесть и помогают избежать монотонности, которая возникает при обилии родственных, почти одинаково звучащих слов. Новые (производные, искусственные и заимствованные) слова Й. Аавик предлагал вносить по следующим мотивам:

1. При наличии «пустых мест» в словаре, т. е. когда в литературном языке отсутствует словесное соответствие какому-нибудь понятию. Такие понятия обычно передавались при помощи близких по значению слов. Например, для выражения значения «строгий» использовались слова *vali* «громкий, жесткий», *kõva* «твердый, крепкий», *kare* «шероховатый», *kange* «сильный, несгибающийся» и др. Наличие такого пробела в языке создавало благоприятную почву для внесения нового слова.

Руководствуясь принципом целесообразности, Й. Аавик восполнил пробел искусственным словом *range*, которое хорошо привилось. Мы, к сожалению, не располагаем точными данными, какие ассоциации вызвали звуковой комплекс *range*, вероятно, автор здесь воспользовался самым простым способом, т. е. заменил в слове *kange* фонему *k* на *r*. Во всяком случае этот метод упоминается самим Й. Аавиком в книге «Предельные возможности обновления языка», а также в «Лингвистических трудах» Й. Вески [14]. Положительной стороной этого метода Й. Аавик считает то, что новые слова получаются правильными фонетическими «родичами» имеющихся слов и не будут ощущаться чуждыми [15].

С целью заполнения «пустого места» в словаре Й. Аавиком было создано и слово *siiras* «искренний». До этого понятие «искренний» передавалось словами *õiglane* «справедливый», *otsekohene* «откровенный», *südamlik* «сердечный», *tõsine* «серьезный», *truu* «преданный». Так, если сопоставить словарь 1913 г. со словарем 1963 г., то нетрудно заметить существенное изменение, благодаря внесению нового слова *siiras*. Ср. И. Юркатам (1913): «Искренний... õiglane, otsekohene, südamlik, tõsine, truu» [16]; В. Мухель (1963): «искренний... siiras, avameelne» [17]. Как видим, для понятия «искренний» в современном словаре на первом месте стоит созданное Й. Аавиком слово *siiras*, а слово *avameelne*, которое обычно значит «откровенный» (из *avama* «открывать» + *meel* «нрав» + суффикс *-ne*), стоит на втором месте.

2. Для разгрузки семантически перегруженных слов. Таким словом было, например, *tapma*, что означало: а) убивать (нем. *töten*); б) убивать злодейски (нем. *morden*); в) убивать скот (колоть, резать). Для второго значения Й. Аавик изобрел слово *mõrvama*, которое вошло в нормативный литературный язык и дало целый ряд производных (*mõrvar* «убийца», *mõrv* «убийство» и др.), а слово *tõurastama*, предложенное Й. Аавиком для замещения слова *tapma* в третьем значении, не привилось, очевидно, потому, что в повседневной жизни в этом значении слово *tapma* имело очень широкое распространение.

Для такой семантической разгрузки намечались еще слова *haavama* «ранить» и «оскорблять», *au* «честь, совесть; слава», *tund* «60 минут; урок», *sündima* «родиться; произойти», *täht* «буква; звезда» и др. Для замены *täht* в значении «буква» Й. Аавик изобрел слово *aabe*, но оно не привилось, вероятно, потому, что *täht* в значении «буква» и *täht* в значении «звезда» настолько далекие друг другу представления, что могут свободно сосуществовать в качестве омонимов. К тому же форма *aabe* нежелательно ассоциируется со словом *habe* «борода».

3. Для замены неуклюжих словосложений и словосочетаний. Например, вместо *otsaesine* «лоб» (из *ots* «конец» и *esine* «передняя часть чего-нибудь») Й. Аавик предложил искусственное слово *laup*, которое хорошо закрепилось в литературном языке, несмотря на то, что одновременно был введен неологизм суффиксального происхожде-

[12] Там же, стр. 11.
[13] J. A a v i k, Keeleline käsiraamat, Tallin — Tartu, 1932, стр. 19.
[14] См.: J. A a v i k, Keeleuuenduse äärmised..., стр. 167—168. Ср. «Johannes Voldemar Veski keelelisi töid», стр. 84.
[15] J. A a v i k, Keeleuuenduse äärmised..., стр. 168.
[16] «Русско-эстонский словарь», сост. И. Юркатам, Юрьев, 1913, стр. 389.
[17] «Русско-эстонский словарь», сост. В. Мухель, Таллин, 1963, стр. 208.

ния *otsmik* (из *ots* «конец; передняя часть» + суффикс *-mik*). Сейчас в литературном языке *laup* является самым употребительным, а *otsaesine* и *otsmik* употребляются преимущественно в устной речи. Кстати, данный пример свидетельствует о том, что искусственно вводимыми словами можно замещать даже слова так называемого основного словарного фонда. К случаям подобной замены относится и вытеснение слова *kodujänes* «кролик» (буквально: «домашний заяц») искусственным словом *küülik*. Любопытно, что искусственное *küülik* оказалось более подходящим, чем заимствованное из русского языка слово *truss*, которое так и осталось диалектным.

4. Для замены некоторых заимствований. Например, слово *konstateerima* «констатировать» он предлагал заменить новым словом *nentima*, а слово *fakt* «факт» словом *tõik*. В данное время эти слова составляют синонимические пары.

5. Для замены новыми словами неблагозвучных слов. Так, для замены неблагозвучного слова *omama* «обладать» (в слове *omama* чрезмерное стечение губных) он изобрел синоним *evima*, который сейчас употребляется преимущественно в письменной речи.

Следовательно, для того чтобы новые слова прививались, нужны благоприятные условия, способствующие принятию этих слов. К таким условиям относятся: 1) полное отсутствие слова для обозначения какого-нибудь понятия, 2) неудовлетворительные качества бытующего в языке слова (неблагозвучие, громоздкость структуры и т. д.), 3) лингвистическое превосходство предлагаемой инновации над бывшим способом выражения, 4) благосклонное общественное мнение насчет предлагаемой инновации, 5) «зеленая улица» в печати. При отсутствии таких благоприятных условий новые слова не прививаются.

Так, например, изобретенное Й. Аавиком слово *jaunis* [18] взамен композита *suursugune* «благородный» (из *suur* «большой» + *sugu* «род» + суффикс *-ne*) вопреки горячей пропаганде со стороны его автора все-таки не вошло в литературный язык. В данном случае принятию слова помешал ряд противодействующих обстоятельств: 1) в диалектах уже имелись слова *jaunama* и *jaurama* в значении «буянить», 2) слово *jaunis* почти совпадает с латышским словом *jauns* «молодой» (нежелательное совпадение с соседящим языком), 3) по инициативе А. Аннист было пущено в ход старое забытое слово *õilis*, которое оказалось в более выгодном положении, чем *jaunis*, 4) некоторое влияние могло оказать и враждебное отношение к новшествам Й. Аавика со стороны общественности. По данным биографического словаря, в широких кругах относились к его новшествам враждебно вообще, главным образом из-за их новизны и горячности пропаганды [19].

Необходимость творческого вмешательства в развитие литературного языка признавал и Й. Вески, но практически осуществлял это не так радикально, как Й. Аавик. Придерживаясь более пуристических взглядов, чем Й. Аавик, Й. Вески ревностно оберегал родной язык от засорения иноязычными элементами и советовал подбирать необходимый материал из собственных языковых средств, используя для этого диалекты и восстанавливая забытые или «уснувшие», как он говорит, языковые богатства. Сам Й. Вески проявлял в этом деле большую активность и творческую инициативу. Он, как отмечает А. Каск, не ограничивается тем значением, которым обладает слово или аффикс в том или ином диалекте, а изменяет функцию слова, исходя из потребностей, литературного языка, открывая тем самым новые пути к обогащению языка. Й. Вески стремится имеющиеся языковые ресурсы развить дальше и обновить [20]. Приведем некоторые примеры, иллюстрирующие словотворчество Й. Вески.

Из диалектного слова *sõltus* «подтяжка» он создает новое слово с абстрактным значением — *sõltuvus* «зависимость». При помощи восстановленных старых суффиксов *-el*, *-stu*, *-mu* им созданы слова *süst-el* «шприц», *aja-stu* «эпоха», *ela-mu* «жилище», *vala-mu* «кухонная раковина» и др. Много слов создал он безаффиксным способом. Например, *tõend* «справка» (из *tõendama* «удостоверять»), *väljend* «выражение» (из *väljendama* «выражаться»), *omand* «собственность» (из *omandama* «присваивать») и др. Наряду с количественным обогащением словарного состава Й. Вески стремился урегулировать семантические соотношения между родственными словами и при необходимости создавал новые слова для разгрузки некоторых значений в многозначных словах. Так, например, чтобы отличить древесину от дерева вообще, он создал новое слово *puit* «древесина». Прежде пользовались одним общим для обоих значений словом *puu* «дерево». Или, например, слово *kord* означало «раз; слой; очередь; порядок; этаж». Для последнего значения Й. Вески «выковал» из финского слова *kerros* новое слово *korrus* «этаж».

Заимствованные слова Й. Вески советовал подвергать фонетической и морфологической переделке, чтобы они ничем не отличались от собственных слов.

[18] Слово *jaunis* образовано путем замены первой фонемы в слове *kaunis* «прекрасный» (см. выше примеч. 14 и 15).

[19] «Eesti biograafiline leksikon», I, Tartu, 1926, стр. 3.

[20] A. K a s k, Ülevaade J. Veski elust ja keelelisest tegevusest в кн.: «Johannes Voldemar Veski keelelisi töid», стр. 277 и сл.

Отметим далее некоторые случаи, свидетельствующие о том, что планомерное творческое вмешательство со стороны специалистов возможно и в области грамматического строя. Так, например, по инициативе эстонских лингвистов были внесены в грамматический строй эстонского языка следующие новшества:

1. Был заимствован из финского языка суффикс превосходной степени *-i* для образования синтетических форм так называемого *i*-superlatiiv вместо прежнего аналитического способа. Ср.:

Прежние формы		Новые формы	
kõige suurem	«самый большой»	*suurim*	«величайший»
kõige ilusam	«самый красивый»	*ilusaim*	«красивейший»
kõige parem	«самый хороший»	*parim*	«наилучший» и т. д.

2. Были введены формы мн. числа с суффиксом *-i* (так называемый *i*-mitmus) вместо прежних форм с суффиксом *-te* (*-de*). Например:

Прежние формы	Новые формы
Иллатив *raamatutesse*	*raamatuisse* «в книги»
Инессив *raamatutes*	*raamatuis* «в книгах»
Элатив *raamatutest*	*raamatuist* «из книг» и т. д.

3. Во мн. числе стала применяться более краткая форма партитива (без окончания *-sid*):

Прежние формы		Новые формы
majasid	«домов»	*maju*
ohvitserisid	«офицеров»	*ohvitsere*
öösid	«ночей»	*öid*
kingasid	«туфель»	*kingi* и др.

4. Стала применяться более краткая форма иллатива в ед. числе.

Прежние формы		Новые формы
talusse	«в избу»	*tallu*
pesasse	«в гнездо»	*pessa*
toimetusesse	«в издательство»	*toimetusse* и т. д.

5. Стал применяться суффикс *-u* в качестве показателя непереходности и возвратности глагола.

Переходные		Непереходные	
rõivastama	«одевать»	*rõivastuma*	«одеваться»
üllatama	«удивлять»	*üllatuma*	«удивляться»
eemaldama	«удалять»	*eemalduma*	«удаляться» и т. д.

6. Стал применяться в отглагольных прилагательных суффикс *-tu* вместо прежнего *-ta* во избежание совпадения с абессивной формой инфинитива.

Абессив инфинитива и старая форма прилагательного		Новая форма прилагательного
tänamata	«не благодаря» / «не поблагодарив» / «неблагодарный»	*tänamatu* «неблагодарный»
kasvatamata	«не воспитывая» / «не воспитав» / «невоспитанный»	*kasvatamatu* «невоспитанный»
väsimata	«не уставая» / «не устав» / «неустанный»	*väsimatu* «неустанный» и др.

7. Были восстановлены многие забытые непродуктивные словообразующие суффиксы (*-la*, *-ur*, *-istu* и др.).

Старые слова		Новые слова
söögimaja «столовая»	(*sõõk* «еда», *maja* «дом»)	*sõõkla*
kalamees «рыбак»	(*kala* «рыба», *mees* «мужчина»)	*kalur*
surnuaed «кладбище»	(*surnu* «мертвец», *aed* «ограда»)	*kalmistu* (*kalm* «могила») и др.

8. Были сокращены окончания *-us*, *-is*, *-e*, *-er* в иностранных словах: *kapitalism* вместо *kapitalismus*, *kriis* вместо *kriisis*, *daam* вместо *daame*, *tehnik* вместо *tehniker* и т. д.

В области синтаксиса, пожалуй, самой интересной инновацией является своеобразный деепричастный оборот с род. падежом субъекта. Этим оборотом заменяются придаточные предложения времени, причем субъект придаточного предложения ставится в род. падеже, а сказуемое замещается формой деепричастия на *-tes* (*-des*).

Сложное предложение	Деепричастный оборот
Kui tõusis päike, nad läksid tööle. «Когда всходило (взошло) солнце, они шли (пошли) на работу».	*Päikese tõustes nad läksid tööle* — дословно: «Солнца всходя (или взойдя), они пошли на работу».

Такие обороты отличаются от русских тем, что в них основное и дополнительное действия не относятся к одному и тому же субъекту.

Другим, более существенным синтаксическим новшеством является так называемая парциальная форма именной части сказуемого. Например: *Enno Kivi on meie klassi õpilasi* — дословно: «Энно Киви есть нашего класса учеников» вместо обычной конструкции: *Enno Kivi on meie klassi õpilane* — дословно: «Энно Киви есть нашего класса ученик».

Как было уже отмечено, далеко не все предлагаемые инновации находят применение в языковой практике. Так, например, не привились отглагольные падежные формы комитатива и терминатива, предложенные Й. Аавиком дополнительно к имеющимся в эстонском языке падежам инфинитива. От инфинитива *tegema* «делать», например, Й. Аавик предлагал применять формы *tegemaga* «с деланием», *tegemani* «до делания». Эти добавочные формы оказались лишними, так как их функции неплохо могут выполнять отглагольные существительные, т. е. *tegemaga* = *tegemisega*, *tegemani* = *tegemiseni*.

Приведенные примеры показывают, что индивидуальная творческая инициатива специалистов при поддержке всего общества может оказать существенное влияние на развитие языковой структуры. Однако для того чтобы предлагаемые инновации привились и стали традиционной нормой, нужно всесторонне учитывать состояние языка на данном этапе, угадывать «спрос» языка на то или иное новшество и, как правило, руководствоваться мерой целесообразности. Кроме того, это чрезвычайно важное мероприятие нужно осуществлять не кустарным способом по частной инициативе, подобно Й. Аавику, а проводить в качестве всенародного мероприятия в государственном масштабе под руководством авторитетного центрального органа по языковому строительству.

Неверие в возможности планомерного воздействия на процессы развития языка, нам кажется, ничем не оправдано. Правда, у нас еще не выработаны специальные методы регулирования языковых процессов и не проводится планомерная селекция структурных элементов, что, однако, не говорит о том, что этим не следует заниматься в будущем. То положение, что отмеченные нами факты имели место в период становления эстонского литературного языка, не исключает возможности аналогичных явлений в любом другом языке, ибо в широком смысле процесс становления языка никогда полностью не завершается, если верно, что «формой существования языка является его развитие» [21].

[21] В. А. Звегинцев, Очерки по общему языкознанию, М., 1962, стр. 178

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1965

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Б. Н. ГОЛОВИН

ОПЫТ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЯВЛЕНИЙ ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА XIX—XX вв.

1. Опыт применения статистики в изучении некоторых явлений русского литературного языка XIX—XX вв., прежде всего — его художественно-прозаического стиля, осуществляющийся при активном участии студентов [1] в Горьковском государственном университете, поставлен для решения следующих главных задач: а) проверки возможностей вероятностно-статистической методики в определенной области науки о языке; б) поисков достаточно гибкой и доступной лингвисту разновидности такой методики; в) получения предварительных исследовательских результатов, характеризующих некоторые структурные элементы литературного языка в их развитии на протяжении XIX—XX вв.; г) получения предварительных исследовательских результатов, характеризующих сходства и различия количественных соотношений внутри авторских речевых стилей; д) опробования кодированной программы изучения языка и речи, однозначно применяемой многими участниками коллективной работы; попутно решаются и иные задачи.

2. В описываемом опыте применены некоторые из основных понятий математической статистики — такие, как «вероятность», «доля», «частота», «средняя частота», «отклонение от средней частоты», «дисперсия», «среднее квадратическое отклонение», «статистическая совокупность», «ошибка выборочного определения действительной средней во всей совокупности», «варьирование частот» и некот. др.

Использованы минимальный статистический аппарат и связанная с ним символика: наблюдаемая частота — X_i; средняя частота — $\bar{X}$; отклонение от средней — a_i; сумма отклонений от средней частоты, возведенных в квадрат, — Σa_i^2; число наблюдений (выборок) — k; среднее квадратическое отклонение — $\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma a_i^2}{k}}$; так называемая несмещенная оценка среднего квадратического отклонения, рекомендуемая в роли его более точного заменителя, — $s = \sqrt{\frac{\Sigma a_i^2}{k-1}}$; ошибка в определении средней частоты — $L = \frac{2s}{\sqrt{k}}$; особый статистический показатель для сравнения средних при помощи специальных таблиц — $t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{S_{1,2}} \cdot \sqrt{\frac{k_1 \cdot k_2}{k_1 + k_2}}$ при $s_{1,2} = \sqrt{\frac{\Sigma a_{i_1}^2 + \Sigma a_{i_2}^2}{k_1 + k_2 - 2}}$; особый статистический показатель «согласия» между фактическим расхождением двух или нескольких долей (частот) и их «должным» расхождением, соответствующим теории, — $\chi^2 = \frac{\Sigma a_i^2}{x}$ (формула дана здесь в простейшем виде; полученный при ее применении числовой результат сравнивается по особым правилам с табличным результатом); руководителем опыта опробованы также

[1] В этом сообщении обобщены результаты статистических наблюдений, выполненных студентами Г. Барановской, Г. Богомоловой, Г. Голованової, И. Карельской, Е. Кудряшовой, Л. Кузьминой, Г. Куракиной, Г. Логиновой, Г. Мухиной, С. Оболяевой, Э. Пузановой, Г. Сальгиной, Л. Сидоровой, Н. Ягжовой.

критерий X, дающий хорошие результаты при сравнении двух частотных рядов, парный, корреляционный и дисперсионный анализ речевых фактов [2].

Опыт убедил его участников в том, что насущно необходимые для лингвистического применения статистики ее понятия и символы вполне доступны филологу, не имеющему специального математического образования; это значит, что распространенная в среде лингвистов и литературоведов боязнь математики порождена незнанием того, что из математического арсенала действительно нужно филологу.

Опыт позволил преодолеть и еще одно опасение, высказываемое обычно математиками,— опасение того, что применение таких статистических инструментов, как критерий хи-квадрат, критерий Стьюдента, формула вероятной ошибки и некоторые другие, недостаточно обосновано в изучении языка и речи, а может быть, даже и сомнительно. Дело в том, что эти инструменты действуют хорошо тогда, когда наблюдаемые частоты подчинены так называемому нормальному распределению или близкому к нему. Какой характер распределения имеют частоты языковых единиц в речи, неизвестно. И хотя статистическое изучение речи и языка и не требует большой точности, все же желательно получить известную уверенность в том, что применение статистических инструментов обосновано законами статистического распределения языковых частот.

Попутно с решением главных задач опыта была осуществлена элементарная проверка предположения о нормальности закона распределения языковых частот. Для этого приблизительно в ста пятидесяти случаях сравнивались средние абсолютные отклонения со средними квадратическими. Характерное для нормального распределения частот соотношение средних, измеряемое числом 0,8 или близким к нему (в пределах 0,7—0,9), наблюдалось в 92% всех сравнений [3]. Это может служить практически значимым доказательством нормальности закона распределения языковых частот, хотя и требующим нового, более строгого обоснования. Однако и полученное в опыте подтверждение гипотезы о нормальности распределения языковых частот увеличивает уверенность в правомерности и действенности применения многих инструментов статистического анализа фактов языка и речи.

3. В описываемом опыте вероятностно-статистическому изучению были подвергнуты — выборочно — тексты прозаических художественных произведений русских писателей Карамзина, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Герцена, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого, Чехова, Куприна, Бунина, Мамина-Сибиряка, Короленко, А. Толстого, Гладкова, Фадеева, Федина, Леонова, Паустовского, Шолохова.

Статистическому наблюдению подвергались лишь повествовательно-описательные «куски» текста, представляющие собою авторскую речь. Прямая речь и очевидные публицистические, философские и иные отступления от художественного повествовательно-описательного изложения в выборки не включались; по условиям опыта не изучалась статистически художественная речь сказок Л. Толстого, стихотворений в прозе Тургенева и других жанров, нарушающих определяемую интуитивно однородность художественной прозаической речи, используемой в романе, повести и рассказе. В остальном выборки из текстов делались по возможности случайно, т. е. из разных мест разных произведений одного и того же автора.

Из текстов каждого писателя было взято по десяти, двадцати или тридцати выборок, каждая из которых включает в себя 500 знаменательных слов (в это число вошли, по причинам чисто практического характера, и глаголы-связки); служебные слова (предлоги, союзы, частицы), а также междометия не принимались во внимание при определении текстовых границ выборки, однако кодировались и подвергались статистической обработке.

Выборка размером в 500 знаменательных слов была определена на основе некоторых теоретических и опытных данных: такая выборка несет достаточно большую информацию о колебаниях языковых частот и позволяет изучать причины этих колебаний; вместе с тем выборка такого объема дает неплохую «статистичность», позволяющую высказывать гипотезы относительно целого текста, серии текстов одного и того же автора или даже стиля литературного языка в целом. Разумеется, размер выборки может и должен меняться в зависимости от результатов предшествующего опыта и решаемых лингво-статистических задач.

---

[2] См.: Б. Л. ван дер Варден, Математическая статистика, М., 1960; И. Г. Венецкий, Г. С. Кильдишев, Основы математической статистики, М., 1963; А. К. Митропольский, Техника статистических вычислений, М., 1961; Дж. У. Снедекор, Статистические методы в применении к исследованиям в сельском хозяйстве и биологии, М., 1961; Дж. Эдни Юл, М. Дж. Кендэл, Теория статистики, М., 1960.

[3] См.: И. Г. Венецкий, Г. С. Кильдишев, указ. соч., стр. 53; А. К. Митропольский, указ. соч., стр. 113—114; Дж. Эдни Юл, М. Дж. Кендэл, указ. соч., стр. 175.

Может вызвать недоумение, почему границы выборки определяются числом знаменательных слов, а не всех слов текста. Это делается потому, что функция служебных слов резко отличается от функции слов знаменательных, и семантическая длина речевой последовательности измеряется не числом всех слов, а числом знаменательных. Впрочем это замечание не значит, конечно, что невозможны или ненужны выборки, состоящие из всех слов речевого потока.

Для того чтобы помочь единообразному изучению речи многих авторов многими лицами, была разработана кодированная программа, предусматривающая многостороннее наблюдение каждого слова речевой последовательности в пределах выборки.

Программа отражает лишь некоторые из основных, наиболее «видных» и «грубых» структурных признаков слова. Это «огрубление» картины языковой структуры на первых порах неизбежно, так как именно основные морфологические и синтаксические признаки языковых единиц наиболее частотны и могут быть статистически изучены без применения машин. Кроме того, проверять возможности методики, естественно, лучше на очевидных и хорошо поддающихся статистическому изучению фактах. Но, как показывает опыт, и изучение «грубых» признаков слова и предложения отнюдь небезразлично ни для истории литературного языка, ни для других ответвлений современной науки о языке.

Вот первый вариант применяемой в опыте программы многолинейного статистического изучения языка и речи.

Признаки слова

I. Лексические: нейтральное (слово) — 1; просторечное — 2; диалектное — 3; фольклорно-поэтическое — 4; книжно-поэтическое — 5; производственно-техническое или научное — 6; канцелярское — 7; вульгарное — 8; жаргонное — 9; междометие — 0.

II. Морфологические (части речи): имя существительное — 1; имя прилагательное — 2; имя числительное — 3; местоимение — 4; глагол — 5; причастие — 6; деепричастие — 7; наречие — 8; предлог — 9; союз — 0.

III. Синтаксические (члены предложения): независимый (подлежащее) — 1; полузависимый (сказуемое) — 2; зависимый в 1-й позиции — 3; зависимый во 2-й позиции — 4; зависимый в 3-й позиции — 5; зависимый в 4-й и более далеких позициях — 6; связка — 7; обращение — 8; модальное слово — 9; частица — 0.

IV. Синтаксические (от чего и как зависит): зависит контактно от существительного — 1; так же от прилагательного — 2; так же от местоимения — 3; так же от глагола — 4; так же от причастия и деепричастия — 5; зависит дистантно от существительного — 6; так же от прилагательного — 7; так же от местоимения — 8; так же от глагола — 9; так же от причастия и деепричастия — 0.

V. Синтаксические (разветвления при соподчинении, ряды однородных): зависит одиночно — 1; зависит в двучленном разветвлении — 2; зависит в трехчленном разветвлении — 3; зависит в четырехчленном разветвлении — 4; зависит в пятичленном разветвлении — 5; находится в двучленном ряду однородных — 6; находится в трехчленном ряду однородных — 7; находится в четырехчленном ряду однородных — 8; находится в пятичленном ряду однородных — 9; находится в более сложном ряду — 0.

VI. Синтаксические (границы предложений и частей предложений, условно называемые «паузами»): пауза конца любого самостоятельного сложного предложения — 1; пауза сочинительной связи предложений — 2; пауза подчинительной связи предложений — 3; пауза бессоюзной связи предложений — 4; пауза конца придаточного предложения в середине главного — 5; пауза конца простого самостоятельного предложения — 6; пауза начала обособления — 7; пауза конца обособления — 8; пауза начала вводной структуры — 9; пауза конца вводной структуры — 0.

В соответствии с этой программой изучаемые признаки каждого слова записываются шестизначным числом. Если какого-то признака в слове нет, на месте соответствующей цифры ставится какой-либо знак «пустоты», например *у*. Каждое шестизначное число оказывается кодовым знаком отдельного слова. Для удобства обработки числа — коды слов записываются строго одно под другим и образуют колонки. Например, текст «Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, и в непонятной дали, если долго всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга туманные причудливые образы» получит следующую кодовую запись:

12312*у*	10*уууу*	55266*у*
111*ууу*	19*уууу*	10*уууу*
15212*у*	12411*у*	15266*у*
19*уууу*	113913	113415/*н*

113427	10*yyyy*	19*yyyy*
10*yyyy*	18342*y*	11311*y*/*н* [4]
11392*y*	152*yyy*	12362*y*
19*yyyy*	19*yyyy*	52312*y*
114112	143425	511*yy*1

Такая (или подобная) запись слов имеет определенные преимущества для статистического изучения языка и речи: она несет очень большую информацию (в описываемом опыте удалось обработать лишь часть ее), она позволяет легко выбирать и считать нужные признаки и сочетания признаков; кроме того, она легко может быть передана машине (после перевода на перфокарты или перфоленту).

Начало и конец каждой выборки фиксируются точными ссылками на текст; делается протокольная запись всех библиографических данных о тех изданиях, текст которых явился источником изучаемых фактов. Нужные сведения извлекаются из кодовых записей, сводятся в статистические таблицы и подвергаются требуемой для решения поставленных задач обработке.

4. Как уже говорилось, описываемый опыт одной из главных задач имеет изучение сходств и различий между авторскими речевыми стилями. Эти сходства и различия проявляются статистически прежде всего в наблюдаемых частотах, средних частотах и в колебаниях наблюдаемых частот около средних. Таблицы должны давать читателю достаточную информацию об этих величинах и их минимальную статистическую обработку. Вот образцы таблиц:

Таблица 1

Части речи. Тургенев. (Извлечение из таблицы)

Классы / Выборки	Имя существительное		Местоимение		Глагол	
	X_i	a_i	X_i	a_i	X_i	a_i
Первая	169	—8	74	—16	117	+10
Вторая	195	+18	67	—23	92	—15
Третья	168	—9	95	+5	112	+5
Четвертая	198	+21	86	—4	92	—15
Пятая	133	—44	118	+28	116	+9
. . . . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
Девятая	182	+5	109	+19	98	—9
Десятая	167	—10	118	+28	118	+11
$\overline{X}$	177		90		107	
Σa_i^2	4425		5136		1112	
$s = \sqrt{\frac{\Sigma a_i^2}{k-1}}$	22		23,8		11	
$L = \frac{2s}{\sqrt{k}}$	14		15		7	
$\chi^2 = \frac{\Sigma a_i^2}{\overline{x}}$	25		57		10,4	
$x_0 = \overline{x} \pm L$	163—191		75—105		96—118	

Табл. 1 содержит не только наблюдаемые в отдельных выборках частоты, но и многие данные, которые из этих частот может извлечь статистик. (Конечно, и частоты и данные их статистической обработки будут и должны меняться в известных пределах при повторных «испытаниях» текстов того же автора или типа речи.) В таблице мы находим среднюю частоту, сумму отклонений от средней частоты, возведенных

[4] Буквой *н* обозначено слово в составе фразеологизма.

в квадрат, величину s, замещающую среднее квадратическое отклонение, возможную ошибку в определении средней всей совокупности, вычисленный на основе этой ошибки интервал, в котором должна находиться «действительная средняя», и величину «хи-квадрат», позволяющую лингвисту видеть, велика или мала «статистическая устойчивость» изучаемого языкового явления в тексте, из которого были взяты выборки, сохраняет ли это явление одну и ту же вероятность во всем тексте или меняет ее под воздействием различных причин.

Величина L требует некоторых пояснений. Получив выборочным путем среднюю частоту $\bar{X}$, мы, естественно, хотим знать, можно ли думать, что «действительная средняя всей совокупности» (в наших опытах средняя всех текстов одного автора, жанра, языкового стиля и т. д.) близка к нашей выборочной средней. Формула величины L и позволяет по выборочным данным найти те пределы, тот частотный интервал, в котором должна оказаться неизвестная нам из опыта «действительная средняя» $\bar{X}_0$. Надежность определения интервала «действительной средней» зависит, в частности, от коэффициента в числителе формулы. В описываемом опыте был применен коэффициент $2\left(L = \frac{2s}{\sqrt{k}}\right)$. Он дает неодинаково точные результаты — в зависимости от того, сколько «степеней свободы» было использовано. При девяти степенях свободы (десять выборок) коэффициент 2 обеспечивает 92-процентную вероятность того, что «действительная средняя» находится в интервале, указанном формулой $\bar{x}_0 = \bar{x} \pm L$. Такая вероятность практически удовлетворительна. Но лучше все же 95-процентная или даже еще большая вероятность. 95-процентная вероятность обеспечивается коэффициентом 2 при двадцати и более степенях свободы, т. е. практически начиная с двадцати выборок (19 степеней свободы) и более. Если же мы хотим получить 95-процентную вероятность «попадания» действительной средней в указанный формулой L интервал при десяти выборках, мы должны будем взять коэффициент 2,26. Найти нужный коэффициент можно по известной статистической формуле Стьюдента $t = \frac{\bar{x} - x_0}{\frac{s}{\sqrt{k}}}$ и соответствующим таблицам.

Естественно, если в предложенной вниманию читателя таблице были бы указаны «ошибки наблюдения», вычисленные по формуле с коэффициентом 2,26, это не только увеличило бы надежность результатов, но и расширило бы, хотя и незначительно, интервалы «действительных средних».

Таблица 2

Части речи. Федин (Извлечение из таблицы)

Классы / Выборки	Имя существительное		Местоимение		Глагол	
	X_i	a_i	X_i	a_i	X_i	a_i
Первая	182	—17	66	+5	89	—1
Вторая	187	—12	46	—15	79	—11
Третья	218	+19	38	—23	71	—19
Четвертая	173	—26	73	+12	106	+16
Пятая	158	—41	95	+34	115	+25
. . . . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
Девятая	213	+14	72	+11	65	—25
Десятая	194	—5	53	—8	89	—1
$\bar{X}$	199		61		90	
Σa_i^2	5426		2953		2924	
s	24,5		18,1		18	
L	14		11,4		11,4	
χ^2	27		48,5		32,4	
$\bar{x} \pm L$	185—213		50—72		79—101	

Очевидно, что внимательное сопоставление таблиц, содержащих обработанные атистические данные о количественном «поведении» одинаковых языковых единиц и тегорий в речи разных авторов, может дать очень много для лингвистических, ли-ературоведческих, логических и психологических гипотез и обобщений, относящихся особенностям языковой структуры речи, к ее статистическому и литературному нкционированию, к особенностям передаваемой речевыми структурами динамики тературного содержания и логико-психологической работы мышления и сознания. зумеется, достоинство подобных статистических таблиц не в том, что они сами себе могут решать какие-либо задачи, а в том, что они позволяют увидеть мно-ество новых задач и дают материал для их решения.

Даже беглое сопоставление двух извлечений из двух статистических таблиц зволяет поставить ряд интересных вопросов и обнаруживает ряд любопытных и учительных данных.

Например, соотношения «глагол : имя существительное» и «глагол : местоиме-е» существенно различны в прозе Тургенева и в прозе Федина. Такие различия могут быть объяснены закономерностями статистического варьирования одной и й же средней частоты. Соотношение «глагол : имя существительное» измеряется прозе Тургенева коэффициентом 0,60, а в прозе Федина — 0,45. Нельзя не пред-ложить, что за этими цифрами стоят не только изменения функционирования эле-нтов языковой структуры и ее разновидностей, но и различия психологии твор-ства, различия видения писателем действительности и способов ее речевого ото-ажения и изображения. Соотношение «местоимение : имя существительное» в прозе ргенева измеряется величиной 0,51, в прозе Федина — 0,31. Иными словами, про-ическая речь Тургенева дает в среднем 51 местоимение на 100 имен существитель-ых, а прозаическая речь Федина — всего 31. В каком-то смысле речь Тургенева, сравнению с речью Федина, заметно более «действенна» и «динамична» и заметно нее «предметна» (ведь местоимения не называют предметы, а лишь обобщенно ука-вают на них).

Пока трудно сказать, какими причинами такие различия вызываются. Важно, о статистические различия речевых структур говорят о существенных различиях ичин, эти структуры формирующих.

Таблицы показывают и различия в характере и размахе колебаний частот около едних:

Тургенев (средняя частота глагола — 107): +10, —15, +5, — 15, +9, +13, 0, 9, —9, +11; $\chi^2 = 10{,}4$;

Федин (средняя частота глагола —90): —1, —11, —19 +16, +25, —14, +3, + 27, 25, —1; $\chi^2 = 32{,}4$.

По таблице величин «хи-квадрат» нетрудно установить, что колеблемость глагола прозе Тургенева статистически закономерна («хи-квадрат», равный 10,4 при девяти епенях свободы, соответствует почти 30-процентной вероятности обнаруженных ко-ебаний); та же таблица покажет статистически незакономерную, свидетельствующую изменении существенном, а не случайном, колеблемость глагола в прозе Федина хи-квадрат», равный 32,4 при девяти степенях свободы, соответствует менее чем олпроцентной вероятности обнаруженных колебаний, если мы примем гипотезу их статистически закономерном характере).

Особенно внимательно следует отнестись к наиболее заметным отклонениям от едней частоты — в большую и меньшую стороны. Обычно именно за такими от-лонениями кроются причины, управляющие построением речевой структуры; те кстовые куски, которые дали наибольшие отклонения, обнаруживают перемены содержании текста (жанровые, проблемные, тематические, стилевые, художествен-ые и иные).

Все это, разумеется, лишь беглые и разрозненные иллюстрации некоторых воз-ожностей статистической методики в тех случаях, когда с ее помощью изучаются торские речевые стили. Но, может быть, и этих иллюстраций достаточно для того, обы высказать убеждение не только в возможности, но и в целесообразности новых и овых опытов статистического исследования художественной речи — ради понимания екоторых особенностей функционирования различных языковых единиц и категорий, ади понимания некоторых закономерностей построения речевых структур, ради онимания некоторых особенностей динамики художественного произведения и мыш-ения художника.

5. Если многочисленные наблюдения над различиями авторских речевых стилей, уществленные в описываемом опыте, не могут здесь по условиям места излагаться своих многочисленных, но не очень широких результатах, то наблюдения над раз-итием некоторых морфологических и синтаксических явлений русского литератур-ого языка XIX—XX вв. могут быть здесь сообщены в их достаточно интересных и ироких обобщениях.

Было решено речь десяти авторов XIX в. (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Герцен, ончаров, Достоевский, Тургенев, Салтыков-Щедрин, Л. Толстой, Чехов) рассмат-

ривать как удовлетворительное отображение существенных особенностей функционирования художественно-прозаического стиля русского литературного языка XIX в. Речь десяти авторов XX в. (Куприн, Бунин, Мамин-Сибиряк, Короленко, А. Толстой, Фадеев, Федин, Паустовский, Леонов, Шолохов) принималась в опыте как удовлетворительное отображение существенных особенностей функционирования художественно-прозаического стиля русского литературного языка XX в. Предполагалось, что в силу одного лишь непрерывного изменения языковой структуры язык XX в. должен отличаться от языка XIX в. и в этом смысле выбор рубежа (конец XIX в.— начало XX в.) не имеет существенного значения; вместе с тем, нельзя, очевидно, забывать о том, что именно в это время в истории русского общества и русской культуры происходят важные перемены, главной из которых была Великая Октябрьская социалистическая революция и построение нового общества в СССР.

Из текстов каждого писателя было взято 10, 20 или 30 выборок по 500 слов каждая; средние из серии выборок сведены в таблицы (см. табл. 3, 4, 5, 6).

Таблица 3[1]

Части речи. Проза XIX в.

Авторы	Части речи							
	сущест.	прилаг.	глагол[2]	наречие	место-имен.	причастие	предлог	союз
Пушкин	180	47	112	30	95	13	76	50
Лермонтов	168	67	97	41	100	12	70	48
Гоголь	170	54	94	47	92	18	71	51
Герцен	185	61	91	40	91	15	70	49
Гончаров	185	54	98	49	88	11	81	73
Тургенев	177	59	107	47	90	11	73	55
Достоевский	139	49	109	58	104	10	70	78
Салтыков-Щедрин	185	58	107	39	75	11	67	73
Л. Толстой	188	55	97	38	82	12	74	67
Чехов	177	53	127	42	68	6	82	85
$\bar{x}$	175	56	104	43	89,5	12	73	63
Σa_i^2	1872	307	1039	517	1083	89	222	1723
S	14,4	5,9	10,7	7,6	11	3,1	5	13,8
L	10,2	3,8	6,9	4,8	6,9	2,0	3,2	8,8
$x_0 = \bar{x} \pm L$	165—185	52—60	97—111	38—48	82—96	10—14	70—76	54—72

[1] Как и в табл. 1 и 2, здесь статистические данные отображают особенности авторского монологического художественного повествования и описания.

[2] В графе «глагол» показаны частоты и собственно глаголов и глагола-связки *быть*. Если исключить частоты глагола-связки, то частоты глаголов получат приблизительно следующие числовые значения: П.— 100, Л.— 85, Гог.— 86, Герц.— 85, Гонч.— 94, Т.— 100, Д.— 98, С.-Щ.— 96, Л. Т.— 87, Ч.— 117; среднее значение — 95.

У читателей может возникнуть недоумение, почему так заметно разошлись данные о долях частей речи в общей совокупности слов (по текстам XIX в.) в описываемом опыте и в опыте Г. А. Лесскиса [5]. Это расхождение объясняется, по-видимому, прежде всего тем, что Г. А. Лесскис «растворил» местоимения в других частях речи; в описываемом опыте все местоимения (включая и местоименные наречия) учитывались как отдельный грамматический класс слов. Что же касается глагола и служебных слов, то данные об их долях мало расходятся в описываемом опыте и в опыте Г. А. Лесскиса: глагол — 13,7% (Г. А. Лесскис) и 14,5% (горьковский опыт); служебные слова — 24,2% (Г. А. Лесскис) и 24,6% (горьковский опыт).

[5] Г. А. Лесскис, О зависимости между размером предложения и его структурой в разных видах текста, ВЯ, 1964, 3, стр. 109.

Таблица 4

Части речи. Проза XX в.

Авторы	Части речи							
	существ.	прилаг.	глагол[1]	наречие	местоимен.	причастие	предлог	союз
Куприн	190	96	77	43	49	12	83	57
Бунин	171	81	87	44	65	15	87	53
Мамин-Сибиряк	198	75	80	33	71	14	64	76
Короленко	182	68	89	39	72	16	69	53
А. Толстой	210	65	95	31	54	17	79	50
Фадеев	199	66	91	33	72	21	83	68
Федин	199	64	96	33	64	20	74	57
Леонов	197	71	75	38	61	21	91	64
Паустовский	212	71	102	28	55	13	79	50
Шолохов	221	69	92	34	34	20	86	43
$\bar{X}$	198	73	88	36	60	17	79,5	57
Σa_i^2	1921	852	690	246	1309	105	636	857
s	14,6	9,7	8,7	5,2	12	3,4	8,4	9,7
L	9,3	6,2	5,6	3,3	7,6	2,2	5,4	6,2
$x_0 = \bar{x} \pm L$	189—207	67—79	82—94	33—39	52—68	15—19	74—85	51—63

[1] В табл. 4 в графе «глагол» показаны частоты и собственно глаголов и глагола-связки *быть*; если исключить частоты связки, то частоты глаголов получат приблизительно следующие числовые значения: К. — 69, Б. — 79, М.-Сиб. — 71, К. — 82, А. Т. — 86, Фад — 76, Фед. — 83, Л. — 70, П. — 93, Ш. — 85; среднее значение — 79.

Таблица 5

Доли частей речи в совокупности знаменательных слов

Века	Части речи					
	существ.	прилаг.	глагол	наречие	местоимение	причастие
XIX	0,36	0,12	0,193	0,09	0,18	0,02
XX	0,40	0,15	0,175	0,07	0,12	0,03

Таблица 6

Доли частей речи в совокупности всех слов

Века	Части речи					
	существ.	прилаг.	глагол	наречие	местоимение	причастие
XIX	0,27	0,09	0,145	0,06	0,135	0,018
XX	0,30	0,11	0,13	0,05	0,09	0,026

Конечно, сообщенные в таблицах статистические данные нельзя рассматривать как окончательные и в равной мере надежные по всем авторам и по всем грамматическим классам. Недостатки программы и организации работы, неясность членения отдельных элементов морфологии в самом языке и речи должны колебать в некоторых пределах сообщенные величины, характеризующие частоты и доли. Однако есть достаточные основания думать, что продолжение опыта не даст существенного изменения нарисованной статистической картины. А она не лишена научного интереса.

Прежде всего возникает важный для науки о языке вопрос, можно ли расхождения частот (соответственно вероятностей и долей), характеризующих употребительность частей речи в текстах XIX в. и в текстах XX в., объяснить закономерностями лишь статистического варьирования или же нужно признать эти расхождения существенными и, следовательно, вызванными заметными различиями условий функционирования языковой структуры, включая и изменение самой структуры.

Применение различных критериев оценки установленного в опыте расхождения частот в текстах XIX в. и в текстах XX в. (критерия «хи-квадрат» [6], критерия Стьюдента и порядкового критерия X [7]) позволяет высказать следующую гипотезу: прозаическая художественная речь XX в. показывает по сравнению с прозаической художественной речью XIX в. существенный рост частотности имен существительных, имен прилагательных и причастий, существенное падение частотности глаголов, наречий и в особенности местоимений; несущественны изменения частотности предлогов и союзов.

В соответствии с этим можно говорить об увеличении вероятности применения в художественной речи имен существительных, имен прилагательных и причастий и об уменьшении вероятности применения в художественной речи глаголов, наречий и в особенности местоимений. Таким образом, вероятностная характеристика основных частей речи в художественном стиле русского литературного языка существенно изменилась на протяжении XIX—XX вв.

Еще заметнее изменение соотношения частот отдельных частей речи в прозаических художественных текстах (см. табл. 7).

Таблица 7

Соотношение частот частей речи

Века	Соотносимые части речи				
	прилаг. — существ.	глагол — существ.	местоимен. — существ.	наречие — глагол	наречие — прилаг.
XIX	0,32	0,54	0,51	0,45	0,77
XX	0,37	0,40	0,30	0,45	0,49

Данные, полученные в опыте, позволяют сопоставить частоты некоторых явлений синтаксиса: число слов, занятых в позициях главных членов: XIX в.—176, XX в.—151; число слов, занятых в позициях второстепенных членов: XIX в.—300, XX в.—326; число слов, занятых в более далеких, чем вторая, позициях зависимости: XIX в.—31, XX в.—46; число слов, включенных в синтаксические ряды: XIX в.—86, XX в.—62; число слов, занятых в позициях обособления: XIX в.—67, XX в.—76; число простых предложений: XIX в.—13,4, XX в.—18; число сложных предложений: XIX в.—21, XX в.—18 [8].

Оценка этих данных с помощью критерия t и порядкового критерия X позволяет высказать гипотезу: прозаическая художественная речь XX в. показывает, по сравнению с прозаической художественной речью XIX в., существенный рост частотности слов, занятых в позициях второстепенных членов и в более далеких, чем вторая, позициях зависимости, существенное падение частотности слов, занятых в позициях главных членов и в синтаксических рядах; несущественны изменения частотности

[6] Б. Л. ван дер Варден, указ. соч., стр. 275—276.

[7] Там же, стр. 347—357.

[8] Все частоты даны из расчета на 500 знаменательных слов и получены в результате усреднения данных по 10, 20 или 30 выборкам. Первой позицией зависимости признается такая, в которой слово подчинено слову-подлежащему или слову-сказуемому. Слово во второй позиции зависит от слова в первой и т. д. Синтаксическим рядом, как обычно, называется ряд однородных членов.

слов, занятых в позициях обособления, и частотности простых и сложных предложений.

6. Закапчивая скупую информацию о некоторых сторонах горьковского опыта применения статистики в изучении языка и речи, автор информации хотел бы сказать о следующем:

а) Достоверному вероятностно-статистическому изучению поддается лишь то, что может быть сосчитано в текстах. А это значит, что изучаемые статистически факты должны быть определены качественно. Таким образом, качественное изучение при статистическом исследовании не отвергается, а предполагается; статистическое ведет к качественному. Возникает трудность всякий раз, когда статистика начинает применяться к изучению явлений, качественные границы которых неясны. Так было и в опыте. Изучение лексики в ее членении на историко-стилевые пласты (нейтральная, книжная, диалектная и т. д.) оказалось, в сущности, малопродуктивным и было пока прекращено. Достоверность полученных данных была невелика из-за того, что одно и то же слово получает нередко в разных словарях и у разных наблюдателей различную стилевую характеристику.

б) Изучение лексики с применением статистики пока целесообразно, видимо, вести так, чтобы наблюдению подвергались строго определенные ряды слов, задаваемых в начале изучения списком: ряд славянизмов с неполногласием, ряд глаголов движения, ряд прилагательных света и цвета, ряд «поэтических» существительных (*звезда*, *солнце*, *луна*, *месяц*, *заря*, *мрак*, *свет*, *туман*, *ливень*, *молния*, *гром*, *океан*, *река*, *туча*, *облако*, *небо*, *луч*), ряд имен, обозначающих цветы, и т. д. Возможно статистическое изучение и всех словообразовательных «отражений» всех членов такого ряда. Возможно получение количественных данных о лексической сочетаемости каждого члена ряда и об изменениях этой сочетаемости. И т. д.

в) Изучение морфологии и синтаксиса не должно, разумеется, ограничиваться наблюдениями над основными явлениями: нужны программы, рассчитанные на «внутреннее», расчленяюще-детализирующее исследование различных морфологических и синтаксических категорий.

г) Ясно намечается широкая проблема стилевой дифференциации языковой структуры. Решение этой проблемы по существу еще не начато, если не считать робких опытов, осуществленных, например, в Саратовском университете и отдельными учеными в других местах. Проблема эта неразрешима без смелого применения статистики не только в статьях и монографиях, но и в ориентированных на стили языка грамматиках и лексиконах.

д) Особый интерес представляло бы широкое использование статистики (в разумном сочетании с другими методами) для изучения авторских речевых стилей во всем многообразии и сложности их функционирования, включая различные причины, это функционирование устанавливающие и меняющие.

е) Заслуживает пристального внимания применение статистики для объективного описания речевого богатства и разнообразия отдельных литературных произведений, а также для объективного определения принадлежности безымянного произведения тому или иному автору.

ж) Описываемый опыт показывает громадные возможности развития, совершенствования и дифференциации самой испытываемой методики. Ни математическая, ни лингвистическая стороны ее по-настоящему еще не опробованы и не развиты. Возникает большой ряд сложных вопросов теории метода.

Горьковский опыт применения статистики в лингвистических исследованиях делает близким его участникам слова профессора Бодуэна де Куртенэ: «Нужно чаще применять в языкознании количественное, математическое мышление и таким образом приблизить его все более и более к наукам точным» [9].

---

[9] И. А. Бодуэн де Куртенэ, Избранные труды по общему языкознанию, II, М., 1963, стр. 17.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1965

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

«Current trends in linguistics», ed. by T. A. Sebeok, I — Soviet and East European linguistics. — The Hague, Mouton and C°, 1963. 606 стр.

Рецензируемая книга по замыслу издателей и редакторов [так называемого «Комитета лингвистической информации» — международной научной организации, созданной в США в 1960 г. (первым председателем «комитета» был Т. А. Себеок, которого в 1963 г. сменил на этом посту Ч. А. Фергусон)] является первым томом многотомной серии, включающей описание состояния лингвистической науки в большинстве стран Европы, Азии, Африки и Америки. Книга, написанная группой авторов, посвящена обзору работ, охватывающих языки Советского Союза, а также анализу теоретических проблем, возникающих в связи с изучением данных языков. Работа дает библиографический аппарат советских лингвистических публикаций по каждому разделу за последние десятилетия XX в. В композиционном отношении книга распадается на две части: первая часть посвящена общим проблемам теоретического языкознания, вторая — описанию отдельных языков и языковых групп [1].

Раздел «Фонемика» (стр. 5—19) посвящен трем господствующим в советской фонологии течениям: ленинградской школе, или школе Л. В. Щербы (стр. 7—10), Московской фонологической школе (в версии А. А. Реформатского) (стр. 16—19) и направлению, представленному рядом новейших работ Р. И. Аванесова (стр. 11—15). Другие фонологические концепции в статье не анализируются, что автор объясняет сознательным исключением из рассмотрения «фонологических доктрин..., не имеющих научной ценности, либо не получивших достаточного развития, необходимого для того, чтобы судить об их научных достоинствах» (стр. 6).

Список работ, представляющих каждое из трех направлений, далек от того, чтобы быть исчерпывающим. Так, в главе о ленинградской школе подробно излагаются лишь некоторые работы А. Н. Гвоздева, а концепция московских фонологов представлена только одной статьей А. А. Реформатского, рассматривающей специальные «морфонологические» проблемы. Характер изложения взглядов советских фонологов свидетельствует, впрочем, о глубоком проникновении в соответствующие теории и о стремлении к возможно большей объективности их представления. С этим стремлением, видимо, связано почти полное отсутствие критических оценок и лишь очень небольшое количество авторских замечаний, позволяющих догадываться о его научных симпатиях.

Внимательное чтение, несомненно, даст возможность составить представление о сущности различий теоретических позиций московских и ленинградских фонологов, однако кажется, что было бы вполне уместно сказать о некоторых конкретных теоретических разногласиях соответствующих течений советской фонологии verbis expressis, что способствовало бы лучшему пониманию «дифференциаль-

[1] В настоящей рецензии освещаются следующие разделы: Phonemics, by M. Halle; Morphemics, by C. H. van Schooneveld (рецензент Т. В. Булыгина); Syntax, by D. Worth (рецензент В. З. Панфилов); Lexicology, by U. Weinreich (рецензент А. А. Уфимцева); Comparative and historical slavistics, by V. Kiparsky (рецензент О. Н. Трубачев); Machine translation, by K. E. Harper (рецензент В. Ю. Розенцвейг); Indo-European, by W. Winter (рецензент В. И. Абаев); Latvian, by V. J. Zeps; Lithuanian, by W. R. Schmalstieg (рецензент Т. В. Булыгина); Altaic, by N. Poppe (рецензент Н. А. Баскаков); Caucasian, by A. H. Kuipers (рецензент Е. А. Бокарев); Paleosiberian, by D. Worth (рецензент В. З. Панфилов); Uralic, by G. J. Stipa (рецензент К. Е. Майтинская). Общее руководство рецензирования книги осуществлено Э. А. Макаевым, который написал также введение и заключение.

В данной рецензии не рассматривается раздел, посвященный белорусскому и украинскому языкознанию (он будет рецензироваться в специальных украинских лингвистических изданиях).

ных признаков» каждого из направлений для неподготовленного читателя. Композиция раздела затрудняет это понимание. После изложения взглядов ленинградских фонологов дается (очень сочувственное) изложение концепции Р. И. Аванесова, представляющей собой, по словам автора, «попытку перекинуть мостик над пропастью, которая разделяет Московскую и Ленинградскую школы» (стр. 5); однако остается не вполне ясным, чем именно эта «пропасть» создается. Как кажется, и изложение основных положений статьи А. А. Реформатского, посвященной в общем весьма специальному вопросу, не является достаточным для уяснения всей системы взглядов московских фонологов в их «классическом варианте». Было бы важно, в частности, упомянуть о различной трактовке разными фонологическими школами фонетических чередований, представленных в разных позициях в пределах одной морфемы (и соответственно о различном понимании фонологической природы звука, выступающего в позиции нейтрализации, или в «слабой позиции») — понимание этих чередований служит одним из главных пунктов расхождений между разными течениями в учении о фонемах [2], представители Московской школы видят в них чередование вариаций и вариантов [3] фонемы с ее основным видом, Р. И. Аванесов рассматривает их в настоящее время как фонемные ряды с чередованием сильных и слабых фонем в одной морфеме, последователи Л. В. Щербы — как чередования разных фонем. Сопоставление названных концепций показывает, что впечатление (которое может возникнуть из некоторых замечаний М. Халле) о том, что новая теория Р. И. Аванесова находится теперь как бы на одинаковом расстоянии от взглядов «ленинградцев» и «москвичей», едва ли верно. Несколько отдалившись от первоначальной московской концепции, Р. И. Аванесов в своей «словофонематической» транскрипции приблизился в отношении к рассматриваемой проблеме отнюдь не к ленинградцам, а к пражцам [4], а в своей «морфонематической» транскрипции по существу остался весьма близок ортодоксальной московской теории. Сходство позиций двух ведущих советских фонологов (представляется, что различие между ними носит скорее терминологический, чем принципиальный характер) может ускользнуть от внимания читателя рассматриваемого раздела, в особенности в связи с тем, что автор, говоря об Р. И. Аванесове, подчеркивает близость его «морфонематического» подхода к «морфонологическим» идеям Трубецкого (см., например, примеч. 12 на стр. 17) [5], а говоря о Реформатском, — отличие его позиции (действительно, существенное) от позиции Трубецкого.

Отметим в заключение, что несмотря на то, что рассмотренные рецензентом вопросы не исчерпывают полностью круга проблем советских фонологических теорий, несмотря на ограниченный круг упомянутых имен и работ, в его обзоре отмечены наиболее существенные стороны главных направлений советской фонологии.

Более случайный характер носит выбор работ, представленных в разделе «М о р ф е м и к а» (стр. 22—34). По мнению автора, в советской морфологии после 1950 г. можно выделить три периода: п е р в ы й, «проникнутый младограмматическим духом», характеризуется, по мнению автора, диахроническим подходом к исследованию (в этой связи упоминаются работы В. В. Виноградова «Словообразование и его отношение к грамматике и лексикологии» и «Основные типы лексических значений слова» и Н. С. Поспелова «Категория времени в грамматическом строе» и «Грамматические категории и части речи») и преимущественным вниманием к проблеме «основного словарного фонда» (в подходе

[2] Ср. характеристику этого различия в статье А. Н. Гвоздева «К вопросу об отношении фонетики к морфологии», написанной по поводу разобранной М. Халле статьи А. А. Реформатского в «Уч. зап. [Куйбышевск. пед. ин-та]», 32, 1960 (перепечатано в кн.: А. Н. Г в о з д е в, Избр. работы по орфографии и фонетике, М., 1963, стр. 271). Разная трактовка природы звука, выступающего в позиции нейтрализации, представителями классической дескриптивной фонемики, с одной стороны, и пражцами — с другой, также обычно рассматривается как существенное различие между соответствующими фонологическими концепциями (ср., например: Ch. F. H o c k e t [рец. на кн.:], A. Martinet, Phonology as functional phonetics, «Language», 27, 3, 1951).

[3] Вызывает сожаление отсутствие в статье М. Халле определения этих важных для «классической» фонологической концепции москвичей понятий.

[4] Близость аванесовской «слабой фонемы» к пражской «архифонеме» совершенно правильно отмечает и сам автор.

[5] Впрочем в другом месте (см. стр. 14) автор отмечает существенное различие понятий «фонемного ряда» Аванесова и «морфонемы» Трубецкого, заключающееся в том, что при неограниченном количестве «слабых фонем» в фонемный ряд может входить лишь одна «сильная фонема» (с чем связана различная трактовка таких, например, чередований, как *к* и *ч* в формах *реку — речешь*). Это наблюдение вообще чрезвычайно важно, и тонкость его следует оценить тем более высоко, что эксплицитной формулировки соответствующего положения в работах Аванесова нет.

к данному вопросу, решение которого оказывается различным для разных языков — речь идет здесь о статьях М. С. Гурычевой и Б. А. Серебренникова, а также Н. А. Янко-Триницкой — автор, верный своей концепции, усматривает сходство с младограмматическими звуковыми законами, имеющими силу лишь для данного языка в данный период); в т о р о й период начинается с 1954 г. и отличается от предшествующего периода тем, что «грамматическая теория становится менее односторонней и более специальной». Здесь в связи с дискуссией о категории падежа упоминаются имена Е. Д. Панфилова, Е. А. Бокарева, Е. В. Чешко и В. В. Бородич и в связи с проблемой значения в морфологии — имена О. С. Ахмановой (рассматривается ее работа «Очерки по общей и русской лексикологии»), М. Н. Алексеева и Г. В. Колшанского, Б. А. Серебренникова (несколько слов посвящено выдвинутому в его работах «принципу избирательности»), В. А. Звегинцева (рассматриваются его взгляды на соотношение лексического и грамматического значений) и Л. С. Ковтун (в связи с вопросом о различии лексического значения и понятия). Специального рассмотрения заслуживают, по мнению рецензента, морфологические взгляды А. И. Смирницкого и В. Н. Гвоздева, выдвинувших «свои собственные теории со специальными понятиями и своей собственной терминологией» (речь идет о понятиях «словоформа», «типоформа» и «грамматическая форма», предложенных в работе А. И. Смирницкого «Лексическое и грамматическое в слове», и о морфематической теории Гвоздева, которая представляется автору оригинальной, видимо потому, что «не отличается существенным образом от западных морфематических теорий», если не считать «некоторых специальных, введенных им терминов» — имеются в виду термины «синонимические морфемы» и «омонимические морфемы», выдвинутые в статье «О звуковом составе морфем»). Наконец т р е т и й период начинается с 1960 г. и характеризуется выдвижением оригинальных теорий. «Предтечей новейшего периода» автор называет С. К. Шаумяна, теоретический вклад которого в морфологию состоит в подчеркивании различия «семиотического» и «семантического» значения. Интересными представляются автору рассматриваемого раздела некоторые идеи, связанные с новыми критериями морфематического тождества, выдвинутые теорией машинного перевода (здесь упоминаются работы О. С. Кулагиной, И. И. Ревзина и Н. Д. Андреева и рассматриваются понятия «семейства» и «окрестности»).

В целом рецензируемый обзор кажется несколько поверхностным. Не всегда понятны принципы, по которым автор включал в поле своего зрения работы, не имеющие непосредственного отношения к морфологии (в том понимании, которому следуют не только советские лингвисты, но и составитель рецензируемого сборника, включивший в него наряду с «Морфемикой» также разделы «Лексикология» и «Синтаксис»), игнорируя работы, имеющие для данной темы большее значение. Едва ли справедливо исключение исследований по морфологии неиндоевропейских языков, о котором предупреждает автор, но и в отношении только русского языка автору не удалось создать сколько-нибудь целостной картины (представляется, что было бы уместно рассмотреть хотя бы такие труды, как, например, «Академическая грамматика русского языка», «Морфология» издания МГУ и др., которые — хороши они или плохи — в первую очередь показательны для состояния морфологической разработки русского языка).

Раздел, посвященный исследованию с и н т а к с и с а, в основном носит библиографический характер. Выделяя основные проблемы синтаксиса, его автор дает лишь перечень работ по каждой из этих проблем, не анализируя соответствующих работ по существу и лишь изредка давая их общую оценку. Впрочем следует отметить, что точка зрения автора на те или иные направления в разработке синтаксических проблем и на сам предмет синтаксических исследований достаточно отчетливо проявляется как в том, какие синтаксические проблемы и направления в разработке синтаксиса он считает возможным выделить, так и в том, какие работы он упоминает в своем обзоре. Несомненно, что автор раздела отдает предпочтение работам структурального направления в синтаксисе, в результате чего разработка проблем синтаксиса в советском лингвистике получает в обзоре одностороннее и во многом неполное освещение и автор явно переоценивает значение работ структурального направления. Во вводной части обзора автор отмечает, что в послевоенный период в советском языкознании была произведена переоценка национального наследия в области синтаксических теорий. В этой связи автор прежде всего называет работы акад. В. В. Виноградова и дает им высокую оценку. Говоря о лингвистической дискуссии 1950 г., автор упоминает о работе И. И. Мещанинова «Члены предложения и части речи», указывая на ее оригинальность и якобы тенденциозность. Вторым важным моментом в развитии синтаксических исследований в этот период автор считает изменение оценки структурализма, отказ от первоначального, чисто нигилистического к нему отношения. Автор раздела указывает также на усиление внимания к трансформационному анализу, что выразилось в публикации в журнале «Вопросы языкознания» и в некоторых

других изданиях ряда статей по этой проблеме, причем в некоторых из них делается попытка применения метода трансформационного анализа к новым областям исследования (статьи: З. М. Волоцкая, Установление отношения производности между словами (Опыт применения трансформационного метода) — ВЯ, 1960, 3; Д. Н. Шмелев, О связанных синтаксических конструкциях в русском языке — ВЯ, 1960, 5; Ю. Д. Апресян, К вопросу о структурной лексикологии — ВЯ, 1962, 3 и др.).

Далее автор переходит к обзору работ по отдельным разделам синтаксиса. По проблеме «Синтаксис и логика» автор ограничивается случайным перечнем работ, посвященных проблеме соотношения предложения и суждения, опубликованных в центральных изданиях. В подразделе «Теория и методы синтаксиса» автор справедливо отмечает, что в начале 50-х годов теории и методологии синтаксиса уделялось мало внимания и лишь в последующие годы наблюдалось оживление в этой области. В этой связи в разделе называются исследования И. И. Мещанинова, Т. П. Ломтева, В. Г. Адмони, О. С. Ахмановой, А. Б. Шапиро и некоторых других авторов. Здесь же автор останавливается на дискуссии по проблеме синтагмы, которая состоялась в журнале «Вопросы языкознания», и на некоторых других исследованиях по той же проблеме (Е. В. Кротевича, В. В. Виноградова, Г. Р. Тукумцева, Ф. Микуша, Е. А. Седельникова и др.), в одной-двух фразах указывая на основное содержание некоторых из них.

По проблеме «Члены предложения и части речи» дается перечень работ, посвященных вопросу соотношения частей речи и членов предложения, критериев выделения второстепенных и обособленных членов предложения, перехода частей речи (В. Н. Мигирина, Е. В. Кротевича, И. И. Мещанинова, А. А. Холодовича, А. Б. Шапиро, Т. П. Ломтева, Н. С. Поспелова и др.).

Остальная и притом бóльшая часть раздела посвящена исследованиям по синтаксису русского языка.

Как важнейшее событие в этой области автор расценивает появление синтаксической части академической грамматики русского языка в 1953—1954 гг. и в особенности теоретического введения к нему, написанного В. В. Виноградовым. В этой связи автор раздела отмечает также факт переиздания ценной, как он пишет, работы А. М. Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении», а также публикацию вузовских курсов современного русского языка, которые, однако, по его мнению, не вносят ничего принципиально нового по сравнению с академической грамматикой русского языка.

Из работ, посвященных структуре предложения, в разделе выделяются статьи В. В. Виноградова «Основные вопросы синтаксиса простого предложения (на материале русского языка)» — сб. «Вопросы грамматического строя», 1955; Т. П. Ломтева «О некоторых вопросах структуры предложения» — НДВШ, 1959, 4 и некоторые другие.

Касаясь общего направления исследований в этой области, автор отмечает, что если при исследовании простого предложения применялись преимущественно традиционные методы, то в исследованиях, посвященных сложному предложению, находили свое отражение идеи, близкие к идеям трансформационного анализа; очевидно, однако, это может свидетельствовать только о том, что последнее направление во многом лишь развивает соответствующие положения «традиционной» грамматики.

В разделе дается также библиография работ по следующим проблемам синтаксиса в основном русского языка: подлежащее и сказуемое; сложносочиненное и сложноподчиненное предложения (здесь отмечается особый интерес статьи С. О. Карцевского «Бессоюзие и подчинение в русском языке», ВЯ, 1961, 2); односоставные предложения; неполные предложения; безличные предложения; номинативные предложения; категория состояния; синтаксические синонимы; словосочетания; типы словосочетаний; устойчивые словосочетания и фразеологизмы.

В заключение, оценивая состояние исследований в области синтаксиса за последнее десятилетие в целом, автор раздела указывает, что этот период характеризуется большим количеством работ по частным проблемам синтаксиса и что немногие капитальные работы типа академической грамматики представляют ценность скорее своими материалами, чем какими-либо новыми принципами классификации этого материала. Автор раздела здесь прав лишь в том отношении, что в этот период, действительно, общетеоретическим проблемам синтаксиса уделялось недостаточное внимание. Нельзя не согласиться с автором в том, что попытки структурального подхода к синтаксическим явлениям, имевшие место в этот период, за немногими исключениями, еще не привели к созданию новой и действенной техники исследования. Вместе с тем следует отметить, что в разделе совсем не получило освещения такое оригинальное направление в области разработки синтаксиса, как исследование типологии предложения, и в частности номинативной и эргативной конструкций предложения.

Если подходить к этому разделу как к чисто библиографическому, то следует также указать и на тот его существенный недостаток, что в нем в основном получили отражение работы по синтаксису русского языка и лишь в очень незначительной мере — синтаксические работы по

другим языкам народов СССР и зарубежных стран. Между тем на материалах этих языков в СССР разрабатывается ряд теоретических проблем синтаксиса и проводятся типологические исследования, которые, несомненно, являются условием разработки синтаксической теории.

Обзор лексикологических работ, опубликованных в Советском Союзе за последние 30—40 лет, начинается с замечания о том, что в советском языкознании лексикология существует как особая дисциплина, в то время как в современной европейской и американской лингвистике этого нет [6].

Отмечая живой интерес к проблемам лексикологии и большой размах лексикографической работы в Советском Союзе, автор справедливо указывает на причины отставания американской лексикологии от советской.

Переходя к анализу качества научной продукции, к обсуждению проблематики по существу, рецензент отмечает, что картина меняется и не в лучшую сторону.

Обращаясь к историческому фону современной лексикологии, автор отмечает, что как домарровский, так и марровский периоды развития советской лингвистики были очень бедны лексикологическими исследованиями. После лингвистической дискуссии 1950 г. советская лексикология, по справедливому замечанию рецензента, была скована новыми догмами, а главным предметом исследования стал на несколько лет вперед так называемый «основной словарный фонд языка», о котором было написано немало статей общего характера.

Начало советской лексикологии в современном ее облике автор относит к 40-м годам XX в. и связывает ее теоретическое обоснование и фактическое начало с исследованиями Л. В. Щербы и В. В. Виноградова, с работами теоретиков-лексикографов А. И. Смирницкого и О. С. Ахмановой.

Определяя предмет и цель лексикологии как самостоятельной лингвистической дисциплины, рецензент непомерно сужает понятие как того, так и другого, подводя под предмет исследования слово как словарную (номинативную) единицу, т. е. лексическую парадигматику, и видя цель только в изучении природы синхронного варьирования слова, т. е. в определении сущности его синхронного тождества. Автор отмечает, что понятие фонологических и морфологических вариантов слова (форм слова), сформулированное В. В. Виноградовым и разработанное А. И. Смирницким, О. С. Ахмановой и другими учеными, не является, по мнению рецензента, продуктивным, если его рассматривать как попытку более адекватного подхода при фонологическом и грамматическом анализе языка. Подобная оценка рецензентом понятия фонологических и морфологических (словоизменения, словообразования) вариантов слова проистекает из его научного кредо— непризнания слова основной единицей языка и убеждения в том, что парадигматическая словесная модель (word-paradigm model) имеет меньше преимуществ перед другими моделями грамматического описания языков [7].

Автор высоко оценивает разработку проблемы семантического варьирования слова [8] и подчеркивает, что именно в этой области советской лексикологии был внесен наиболее оригинальный вклад в развитие лексикологической теории (стр. 67). Автор подчеркивает, что понятие семантического варьирования слова зависит от понимания сущности лексического значения: последнее существенно отличается от простого отношения наименования, обусловленного чисто внешней связью между знаком и его дезигнатом, столь широко изучаемого общей семантикой. Рецензент справедливо, на наш взгляд, называет бесплодными общие рассуждения о связи слова (словесного знака) и понятия и признает огромное значение исследований сущности языкового знака (слова), проводимых психологами (Шемякиным, Лурией и др.).

Рецензент в целом правильно определяет программу лексикологических исследований, проводимых в советском языкознании, и сводит ее к следующему: а) исследование однозначного слова (его синонимичные и антонимичные связи, синтаксическое и фразеологическое ограничение его значений, словообразовательный потенциал и т. п.); б) исследование многозначных слов, выяснение тех же задач, что и в пункте «а», определение смысловой структуры подобных слов; в) описательная лексикология; г) историческая лексикология; д) сравнительная лексикология; е) общая лексикология.

Обсуждение методов определения лексического значения слова автор связы-

[6] Автор отмечает (стр. 60), что в таких популярных курсах по лингвистике, какими являются в Америке «Введение в дескриптивную лингвистику» Х. Глисона и «Курс современной лингвистики» Ч. Хоккета, термин «лексикология» даже не упоминается.

[7] К сожалению, рецензент не разграничивает понятий методики описания языка от понятий теории, сущности языка.

[8] Имеются в виду исследования В. В. Виноградова (понятие лексико-фразеологических форм слова) и А. И. Смирницкого (понятие лексико-семантического варианта) и других лексикологов, основывающих свои работы на этих понятиях.

вает с тремя способами [9]: 1) лексикографическое определение значения, 2) проверка на синонимическую взаимозаменяемость, 3) контекстологическое определение значения слова.

Не входя в дискуссию по существу вопроса, отметим лишь одно: рецензент несколько механически выделяет три указанные выше способа определения значения. Исходя из двойственной природы словесного знака (virtual sign, actual sign), считая лексическое значение слова категорией языка, а следовательно системно обусловленным, советские лексикологи разных школ и направлений при нахождении (определении) лексического значения, как правило, учитывают все три фактора — концептуальную соотносительность слова, его синонимические связи, контекстуальную обусловленность, под которой понимаются формы реализации лексических и семантико-синтаксических связей слов как в парадигматике, так и в синтагматике. Автор отмечает, что в последнее время в советской лексикологии возникло новое течение, проповедующее чисто синтаксический путь к семантике, столь характерный для структуралистов. Анализируя статьи Ю. Д. Апресяна, Ю. К. Лекомцева, П. Д. Соболевой и др. [10], которых автор называет представителями «агрессивной структуральной лексикологии», он отмечает следующие характерные для этого направления черты: 1) применение известного в синтаксисе приема разделения частей речи на более мелкие подклассы с тем, чтобы выделить по их синтаксическим свойствам группы глаголов, интуитивно отождествленных как имеющих общие семантические свойства; 2) использование возможностей глагольных трансформов. Рецензент отмечает, что лингвистический аппарат, используемый в подобных исследованиях, далек от точности и совершенства. Так, например, при обсуждении трансформаций смешиваются понятия из систем З. Харриса и Д. Уорта с понятиями Н. Хомского.

Что касается результатов исследования в этом направлении, то рецензент справедливо замечает, что при семантической группировке слов не учитываются единицы, не укладывающиеся в эти рубрики. Наличие в языке подобных «не входящих в группы» слов значительно снижает результаты подобных исследований. Справедлив и другой серьезный упрек в адрес структуральных исследований лексики: в них фактически не ставится проблема автономности лексикологии по отношению к синтаксису. В результате свободного понимания «грамматичности» (grammaticity), по словам рецензента, ради теории совершается насилие над идиоматичностью языка (стр. 92—93).

Кроме этого крайнего структурального направления в лексикологии, автор выделяет так называемых «критических лексикологов», куда относит подавляющую группу ученых (как старшего, так и младшего поколения), ищущих новых путей исследования лексического материала. Рецензент перечисляет также целый ряд работ, рассматривающих устаревшую проблематику столь же устаревшими приемами [11]. По мнению рецензента все работы по взаимодействию языков народов СССР, по заимствованию лексики русского языка в другие языки (например, «Младописьменные языки народов СССР» под ред. Е. А. Бокарева и Ю. Д. Дешериева) проводятся по сугубо традиционной проблематике (стр. 79).

Проблемы фразеологии, по справедливому замечанию рецензента, были всегда в центре интересов советских лексикологов и, подобно стилистике, ее теоретические основы разрабатывались в основном на материале русского языка [12]. Рецензент отмечает большой вклад в разработку теоретических основ фразеологии, внесенный В. В. Виноградовым, С. И. Ожеговым, А. И. Смирницким, О. С. Ахмановой. Помимо двух представительных конференций по проблемам фразеологии, проведенных в 1959 г. в Самарканде и в 1964 г. в Баку, рецензент отмечает большую работу, развернувшуюся по составлению фразеологических словарей (см. статьи А. М. Бабкина, С. И. Ожегова, О. С. Ахмановой, Н. Н. Амосовой, В. Л. Архангельского и др.).

Разработка терминологии нашла в рецензии далеко не полное освещение ни с точки зрения проблематики, ни в отношении полноты рассматриваемого материала [13].

Описательная лексикология, ставящая своей задачей исследование всего словарного состава языка в данный период его развития с целью выявления типов синонимических и лексико-семантических

[9] Автор отмечает, что обсуждение методики «семантического дифференциала» Ч. Озгуда, о котором многообещающе писала О. С. Ахманова в своей книге «Очерки по общей и русской лексикологии» (стр. 71—103), не привело ни к каким конкретным результатам.

[10] См. сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1963.

[11] На наш взгляд, рецензент не совсем прав, относя к этому типу работ книги К. А. Левковской «Теория слова» и Е. М. Галкиной-Федорук «Современный русский язык. Лексика».

[12] Исключение составляет общетеоретическая работа Н. Н. Амосовой «Основы английской фразеологии», М., 1963.

[13] Рецензент ограничивается упоминанием двух работ: раздела из книги Р. А. Будагова «Введение в науку о языке» и статьи А. А. Реформатского «Что такое термин и терминология».

групп, степени фразеологической и синтаксической обусловленности значений слов и т. п., по справедливому замечанию рецензента, развита слабо. Имеющиеся учебники по лексикологии русского, французского, немецкого, английского и других языков, написанные более 10 лет назад, устарели.

Среди обширной проблематики этой отрасли знаний только две проблемы — понятие пассивного и активного словаря и стилистическая дифференциация словарного состава — подверглись широкому обсуждению [14].

Программными документами в области исторической и сравнительной лексикологии рецензент считает статьи О. С. Ахмановой, В. В. Виноградова, В. В. Иванова «О некоторых вопросах и задачах описательной, исторической и сравнительно-исторической лексикологии» (ВЯ, 1956, 2) и В. В. Виноградова «О некоторых вопросах русской исторической лексикологии (ИАН ОЛЯ, 1953, 12). Реальные результаты выполнения этой программы очень скромны: в области русистики автор упоминает скорее описательную, нежели историческую работу П. Я. Черных «Очерк русской исторической лексикологии» и статью Ю. С. Сорокина о закономерностях лексических изменений в русском языке XIX в.; в области германистики — «Лексикологию древнеанглийского языка» А. И. Смирницкого и главу: «Место германских языков среди других индоевропейских языков», написанную Н. С. Чемодановым в «Сравнительной грамматике германских языков», I. Рецензент отмечает некоторое оживление в разработке темы влияния Октябрьской революции на словарный состав языков Советского Союза (работы С. И. Ожегова, А. А. Юлдашева, Ю. Д. Дешериева и др.).

Сравнительно-историческое изучение лексики, утверждает рецензент, после длительного перерыва начинает развертываться на материале славянских языков [15]. Особый интерес представляют статьи Н. И. Толстого «Из опыта типологического исследования славянского словарного состава» и В. Н. Топорова «О некоторых теоретических основаниях этимологического анализа», напечатанные в ВЯ. Проблематика общей лексикологии разрабатывается недостаточно широко. Основными задачами на ближайшее будущее является исследование системного характера лексики, попытки нахождения историко-лексикологических и семантических универсалий. К сожалению, вопросы теории и критики лексикографии не нашли в рецензии никакого отражения; рецензент ограничился лишь перечислением основных работ — статей критического и позитивного характера о принципах построения словарей разного типа.

В целом обзор лексикологических работ в силу большой осведомленности рецензента в советской лингвистической литературе, умеренного тона изложения и стремления объективно разобраться во всем многообразии и большой пестроте этих работ дает более или менее адекватную картину состояния и развития советской лексикологии.

Небольшая глава рецензируемой книги посвящена проблемам сравнительно-исторического изучения славянских языков в СССР (стр. 94—110). Рядом особенностей этот раздел заметно отличается от некоторых других частей книги, посвященных прочим областям современного советского языкознания или характеристике состояния языкознания в некоторых странах Восточной Европы. Эти последние по своему характеру распадаются на две более или менее общие категории, противостоящие одна другой: во-первых, работы в стиле фактической информации без сколько-нибудь важных синтезирующих оценок (например, уральское языкознание; венгерское языкознание), во-вторых, работы, отмеченные печатью острой теоретической заинтересованности автора преимущественно в одном круге проблем, как правило,—общего языкознания, что, естественно, выражается и в стремлении дать общую однозначную оценку всему развитию науки, а также негативно — в субъективном игнорировании менее интересных для автора областей. Таковы, как нам кажется, раздел о современном чехословацком языкознании, где автор «забыл» упомянуть работы индоевропеиста и слависта-компаративиста В. Махка (курьезно, что Махек упомянут в книге два раза и оба раза — в разделе о советской славистике!), не говоря о примыкающих к нему ученых, работающих в области истории и этимологии славянских языков, а также раздел о Югославии, где мы напрасно искали имена индоевропеистов и славистов-компаративистов М. Будимира, М. Грошеля, Б. Чопа, Ф. Безлая, не говоря о более ранних исследователях.

Нетрудно обнаружить, что рассматриваемая статья занимает промежуточное положение между названными двумя категориями. Обзор состояния науки в дру-

---

[14] Ср. многочисленные статьи, появившиеся в связи с дискуссией по стилистике, организованной «Вопросами языкознания» в 1954 г.

[15] Ср. доклады О. Н. Трубачева «Проблема реконструкции лексической системы», Б. В. Горнунга «Принципы и задачи сравнительно-исторической лексикологии и проблема лексической системы языка», В. Н. Топорова «О правомерности сравнительной лексикологии», прочитанные на конференции по сравнительной и исторической лексикологии 1961 г.

гой стране — задача, сопряженная с опасностью своего рода «оптического обмана», от чего не всегда может избавить даже наилучшая возможная осведомленность, наличие доброй воли и правильного критического вкуса. В своем суммарном обзоре автор, правда, не высказывает суждений, которые бросались бы в глаза своей несообразностью (вроде того места в разделе об украинском и белорусском языкознании, где, к нашему удивлению, отождествляется исследовательский метод Иллича-Свитыча, Мартынова и давно умершего Ильинского, которые все вместе относятся в этом смысле к новой «московской школе»!). Тем не менее, изложение не свободно от некоторых слабостей и недостатков. Имеются существенные пробелы информации. Следовало назвать, например, серию опубликованных у нас работ по болгарской диалектологии (в том числе — исторической), не говоря о более специальных работах по другим славянским языкам, которые также дают материал для сравнительно-исторической славистики. Специалисты могут упрекнуть автора в не менее существенных пропусках также в литературе по исторической фонологии славянских языков (работы Журавлева, Калнынь), морфологии (работы Буниной о системе старославянских глагольных времен, Супруна — о славянских числительных), падежного синтаксиса (работы Правдина и Ходовой). Автор не говорит ничего о большей части работ Иллича-Свитыча (проблемы славянского и балтийского словаря, балканской миграции славян), о многих работах Иванова, Топорова, Трубачева (проблемы места славянского в кругу других индоевропейских диалектов, балто-славянские отношения, серии статей по этимологии славянских и других слов, теоретические статьи о принципах и задачах этимологических исследований, принципах построения этимологических словарей славянских языков, об отношении этимологии и лингвистической географии и т. д.). Относительно мало интереса представляет поэтому и библиография к рецензируемой статье, почти вся уместившаяся на одной странице (в качестве контраста укажем, что библиография к статье об уральском языкознании в СССР охватывает почти 40 страниц). Конечно, нельзя забывать о том, что наша современная сравнительно-историческая славистика — растущая и молодая область науки и каждый год приносит новые важные публикации, существенно меняющие уровень знания той или иной проблемы, и мы не можем винить автора в том, что он, внеся последние литературные дополнения в статью весной 1963 г. (см. стр. 110), уже не мог учесть важной книги Иллича-Свитыча о балто-славянской именной акцентуации. Впрочем из самого характера обзора ясно, что автор отнюдь не ставил перед собой цели достижения максимальной полноты информации. С этим, возможно, согласуется и то, что обзор написан в несколько свободной манере, что пожалуй, вредит научному качеству, особенно, если учесть, что автор высказывает ряд здравых и ясных суждений о современном состоянии нашей науки.

Так, нельзя не согласиться с тем, что на качестве нашей славистической литературы 50-х годов не могло не сказаться несколько поспешное и подчас лишенное внутренней логики обращение отдельных ученых-русистов к славистической проблематике в широком смысле (ср. книги Черных и другие примеры). К еще более серьезной неудаче привела попытка ускоренной подготовки нового этимологического словаря русского языка (1961 г.), и рецензент вполне правильно оценил итоги дискуссии о словаре Шанского (и соавторов) на страницах журнала «Вопросы языкознания» (стр. 105). Авторы, берущиеся, например, за темы из области праславянского, действительно, подчас недостаточно информированы о предмете (см. там же), но рецензент впадает в крайность, полагая, что многие зарубежные работы вообще становятся известны нашему читателю лишь с момента издания их русских переводов.

Рецензент неоднократно высказывает сожаление в связи с обращением молодых советских специалистов к изучению отдаленных языков и к общему языкознанию за счет интереса к славистике (стр. 100, 101, 102). Однако это положение, если угодно, допускает также иную, более благоприятную для нашей науки интерпретацию. Интерес к отдаленнородственным языкам — не показатель спада интереса к собственно славистической компаративистике. Это вполне актуальная тенденция рассмотреть славянский материал на пересечении разных индоевропейских изоглосс — морфологических, словообразовательных, лексических. Не случайно одни и те же авторы при этом, сознательно удалившись от славянского материала, вновь возвращаются к нему. Здесь можно на выбор назвать несколько тематических циклов или тезисов: славянский как объект индоевропейской диалектологии; славянская акцентология на широком индоевропейском фоне (ср. продолжающиеся работы Дыбо). Равным образом славянская этимология не может быть только (или узко) славянской. Совершенно ясны и типологические мотивы подобной практики.

Рецензент исходит из правильного убеждения, что краеугольным камнем сравнительно-исторического исследования всегда была и должна быть этимология. Это достаточно ясно видно из настоящего обзора, в котором он дает высокую оценку советским работам по этимологии. В этой связи, возможно, полез-

но сделать уточнение, имея в виду стремление автора интерпретировать развитие этимологии у нас как проявление реакции против структурализма (стр. 101) (ср. также утверждение о том, что Топоров и Трубачев «...как кажется, выработали интересный синтез структурного подхода к чисто фонологическим вопросам и чисто младограмматического подхода к вопросам лексики» — стр. 109). Эту интерпретацию нельзя признать точной. Гораздо уместнее вспомнить именно тут, что одним из следствий предшествующего периода застоя в нашей науке была крайняя слабость, если не перерыв традиций младограмматизма. Это делало возможным для ряда начинающих специалистов 50-х годов в известном смысле нестесненный выбор метода. Аналогии с возрождением течения «Wörter und Sachen» (стр. 101) и вообще с положением в Германии, классической стране младограмматических традиций, для нашей этимологии кажутся неудачными. Если есть смысл вообще говорить об аналогиях, то здесь уместнее усматривать ориентацию скорее в том же направлении, в котором строятся работы Бенвениста по лексике и этимологии. Таким образом, это не младограмматизм, но и не установка на безоговорочный разрыв с лучшими традициями прошлого. Мы полагаем, что никакая «музыка будущего» не заменит подлинного сравнительно-исторического изучения форм и слов, обогащенного новыми материалами и особенно — новыми представлениями и методами из сферы лингвистической географии, а также наиболее рациональными структурными методами выявления взаимосвязей, взаимодействия слов и их совокупностей.

В целом рецензируемая статья положительно свидетельствует о лучшей, чем прежде, осведомленности на Западе в нашей научной литературе. Предшествующий период застоя и слабости славистических исследований у нас, правда, не особенно стимулировал этот интерес среди зарубежных читателей, хотя есть основания полагать, что и многое серьезное у нас длительное время оставалось незамеченным на Западе (пример снова из этимологии: установленная уже довольно давно В. И. Абаевым важная этимологическая и мифологическая латинско-осетинская параллель *Vulcanus* — *Wærgon*, представляющая, по сути дела, единственную надежную этимологию латинского слова от исконно латинской формы названия волка, обойдена латинистами на Западе полным молчанием).

Хотелось бы, наконец, выразить пожелание, касающееся в какой-то мере и остальных разделов книги, чтобы будущие иностранные обзоры состояния нашей науки строились, по возможности, не на принципах геродотовской «Скифии», где личные впечатления автора от увиденного и прочитанного перемежаются мифическими слухами.

В главе «Машинный перевод» обозреваются советские работы в этой области, как утверждает автор, «за последнее десятилетие» (стр. 133). Так как рассматриваемые в обзоре публикации (см. литературу, приводимую на стр. 139—142) относятся, за исключением двух, к периоду до 1962 г., то это утверждение во избежание недоразумения следовало бы уточнить: работы по МП начались в Советском Союзе в 1955 г.[16]. Обозреваются, таким образом, результаты первых пяти-шести лет исследований, разделяемых автором на два периода: до 1959 г., когда, как говорит автор, усилия были направлены на построение алгоритмов автоматического перевода с одного языка на другой, причем правила преобразования синтаксических и смысловых отношений, не допускающих однозначного перехода, составлялись применительно к определенному тексту, и после 1959 г., когда была осознана «...неадекватность алгоритмического подхода» (стр. 133) и признана необходимость перейти от детальной разработки бинарных алгоритмов к выяснению принципов, лежащих в основе работы, к построению соответствующей лингвистической теории.

Как полагает автор, нехватка оборудования (имеются в виду электронно-вычислительные машины) была основной причиной глубокого погружения в теоретическую работу. В общем, заключает автор «...в последнее время исследования по МП в Советском Союзе идут по двум главным путям: более детальный анализ специфичных языковых явлений и построение лингвистической теории» (стр. 134). И эти утверждения требуют уточнения.

Верно, что недостаток машинного времени и, едва ли не в большей мере, квалифицированных программистов, тормозил и продолжает тормозить экспериментальную работу, а следовательно, и практическую реализацию МП. Разделение деятельности советских исследователей МП на два периода, отличаемые первый — детальной разработкой алгоритмов, а второй — углубленным теоретическим поиском, не совсем соответствует действительному ходу дела. Односторонним представляется и деление на периоды, и их противопоставление по признаку «разработка алгоритмов» — «теоретические исследования»[17]. Стремление

[16] В предшествующей статье, посвященной математической лингвистике, верно отмечается, что первые опыты по МП в СССР были проведены в 1955 г. Напомним, кстати, что и в США опыты по МП начались в 1954 г.

[17] Такое представление могло возникнуть у автора и по независящим от него

построить программу эмпирически, т. е. составить двуязычный словарь и сформулировать правила грамматического анализа и синтеза на основе текстов определенной отрасли науки характерно лишь для самого начального этапа работ. Советские лингвисты и математики, заинтересовавшиеся МП, уже тогда сознавали, что разработка программы по МП ставит перед лингвистами ряд теоретических проблем. «Лингвистической задачей машинного перевода,— говорилось в первой научной статье по МП, напечатанной в нашей стране,— является выработка такой системы правил, которая позволила, имея некоторый текст на данном языке, однозначно определить, какой текст другого языка должен быть адекватен по смыслу данному тексту» [18]. По существу это сознавали и составители первого советского алгоритма МП [19]. Но если при разработке программы перевода с французского языка еще можно было попытаться строить правила синтеза русской фразы, опираясь на морфологическую информацию, которую несет собой французское слово, то такой подход представлялся вовсе неэффективным при разработке программы англо-русского МП. Тот факт, что исходным в работах по МП был у нас, как правило, английский язык, объясняет стремление уже на первых этапах работы в 1955—1956 гг. искать такое лингвистическое решение задачи, которое вытекало бы из свойств сопоставляемых языков [20]. Причем и тут мы переходим ко второму уточнению — эти теоретические поиски не противопоставлялись разработке алгоритмов. Более того, само лингвистическое описание, безотносительно даже к МП, мыслилось алгоритмическим, конструктивным. «Роль лингвиста в МП,— говорится в одной из статей о МП, на которую ссылается и автор,— это не только участие в составлении тех или иных алгоритмов..., его главный долг — алгоритмически исследовать язык таким образом, чтобы уметь отвечать на различные вопросы, касающиеся строения языка» [21]. Рецензент не учитывает в своем обзоре это направление исследований — относящиеся сюда работы по общим вопросам языкознания, морфологии, синтаксиса и семантики, опубликованные до 1962 г., им не обсуждаются [22]. Кратко рассматриваются или перечисляются лишь некоторые работы по алгоритмам морфологического и синтаксического анализа (работы И. А. Мельчука, О. С. Кулагиной, Л. Н. Иорданской, Т. Н. Молошной, Е. В. Падучевой, Т. Н. Николаевой, А. Л. Шумилиной, Н. Н. Шелимовой, М. М. Ланглебен). Автор полагает, что советские лингвисты, не выяснив морфологических понятий и механизма синтаксических отношений, направили свои усилия главным образом на описание отдельных явлений — омонимии основ, синтагм русского языка, согласования и управления и т. п. Это вряд ли справедливо даже относительно называемых работ, не говоря уже о проведенных до 1962 г. исследованиях по морфологии, синтаксису и семантике, которые он не рассматривает [23].

Обзор по машинному переводу составлен по советским публикациям, которые регулярно (но, по мнению рецензента, недоброкачественно) переводятся и размножаются научно-информационными ведомствами США [24].

Взгляд со стороны, при всех его достоинствах, не всегда проницателен. Так, судя по количеству участников на конференциях и совещаниях по МП, автор приходит к значительно преувеличенному выводу о том, что «советские исследователи по МП исчисляются сотнями» (стр. 134). В целом автор обзора судит добро-

обстоятельствам: много из того, что проделано было у нас в области МП до 1962 г., было опубликовано с большим опозданием, и то лишь фрагментарно, а некоторые работы остались неопубликованными и по сей день.

[18] См.: П. С. Кузнецов, А. А. Ляпунов, А. А. Реформатский, Основные проблемы машинного перевода, ВЯ, 1956, 5 стр. 109.

[19] См.: О. С. Кулагина, И. А. Мельчук, Машинный перевод с французского на русский, там же.

[20] См.: Т. Н. Молошная, Некоторые вопросы синтаксиса в связи с машинным переводом с английского языка на русский, ВЯ, 1957, 4.

[21] Н. Д. Андреев, В. Яч. Иванов, И. А. Мельчук, Некоторые замечания и предложения относительно работы по машинному переводу в СССР, сб. «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 4, М., 1960, стр. 13. См. также: И. А. Мельчук, О стандартной форме и количественных характеристиках некоторых лингвистических описаний, ВЯ, 1963, 1.

[22] Частично они обозреваются в главе «Советская математическая лингвистика».

[23] См. хотя бы: Ю. С. Мартемьянов, Синтаксические признаки слова и синтаксический анализ предложения; А. К. Жолковский, Н. Н. Леонтьева, Ю. С. Мартемьянов, О принципиальном использовании смысла при машинном переводе, сб. «Машинный перевод» («Труды Ин-та точной механики и вычислительной техники АН СССР», 2), М., 1961 (этот сборник учтен в библиографии, на которую ссылается рецензент).

[24] Библиографический указатель «Машинный перевод» (1949—1960), изданный (фотопринт) Ин-том точной механики и вычислительной техники АН СССР (М., 1962), оказался ему недоступным.

желательно и со знанием дела [25], а высказанное им убеждение, что взаимное ознакомление с работами по МП может быть плодотворным, несомненно, встретит сочувствие у советских лингвистов.

Отдельной главы или раздела, посвященного советской иранистике, в книге нет. Работа советских иранистов освещается в главе «Indo-European». В задачу автора входило охарактеризовать работу советских языковедов во всех областях индоевропейского языкознания, кроме славянских и балтийских языков, которым посвящены в книге особые разделы. Автор придает большое значение квантитативным показателям: число авторов, число работ, число страниц по отдельным языкам или темам. За вычетом таблиц с числовыми показателями остается восемь страниц текста на всю индоевропеистику, вдвое меньше, чем в этой книге отведено одному латышскому языку, и почти вчетверо меньше, чем кавказским языкам. Таким образом читатель, интересующийся состоянием советских исследований в области индоевропейских языков, в том числе германских, романских, индийских, иранских, анатолийских, греческого, армянского, получает в рецензируемой книге менее полную, менее содержательную, менее расчлененную и обстоятельную информацию, чем читатель, интересующийся другими областями советской лингвистики.

Если принять все это во внимание, то можно сказать, что советской иранистике в рассматриваемой статье даже повезло. О ней относительно больше сказано и дается ей в общем высокая оценка. Она характеризуется как «область особых достижений» (a field of special accomplishments), как «центр более широких и глубоких исследовательских интересов», чем, скажем, англистика. Однако приводимые автором общие цифровые показатели не дают представления о том, что конкретно сделано по каждому из иранских языков или по отдельным тематическим отраслям иранского языкознания. Нет даже простого перечня иранских языков, которые являются предметом описания и исследования в советской науке. Работы ряда выдающихся советских иранистов совершенно не упоминаются. Мы не найдем в рассматриваемой статье имен И. И. Зарубина, Е. Э. Бертельса, И. М. Оранского, М. Н. Боголюбова, В. С. Соколовой, В. А. Лившица, И. И. Цукермана и др. Все это значительно снижает ценность обзора, если в этом обзоре видеть источник для суждения о состоянии и достижениях советской иранистики в новейшее время.

В статьях, посвященных языкознанию в Латвии и Литве, содержится достаточно обширный перечень работ, вышедших в двух прибалтийских республиках. К сожалению, в обеих статьях комментарии политического характера преобладают над объективным научным анализом упоминаемых работ. Автор констатирует преимущественное внимание латвийских языковедов к описанию современного литературного языка, останавливаясь (более подробно, чем на других работах) на вышедшем в 1959 г. первом томе академической грамматики латышского языка. Несмотря на ряд критических (и недоброжелательных по тону) замечаний по адресу «Грамматики» (из них, видимо, следует согласиться с тем, что в ряде случаев в «Грамматике» наблюдается смешение синхронического и диахронического аспектов), автор считает, что значение ее «не должно... недооцениваться», так как она представляет собой «первую исчерпывающую грамматику современного литературного латышского языка более чем за 50 лет», обобщает значительное количество новых исследований и тщательно документирована (стр. 268). В заключении раздела автор дает благоприятный прогноз относительно дальнейшего развития языкознания в Латвии, отмечая «быстрое оздоровление латвийской лингвистики после падения марристского режима».

В обзоре состояния лингвистики в Литве констатируется «значительное оживление лингвистической деятельности в Литве в пятидесятые годы», отмечается, что интересы литовских языковедов концентрировались преимущественно в области лексикографии, диалектологии и описательных исследований литовского языка, в то время как историческое языкознание представлено хуже, и относительно невелико количество исследований по иностранным языкам.

Можно заметить, что автор достаточно категоричен в своих суждениях о работах литовских лингвистов, хотя, казалось бы, в научном обзоре позиция априорного теоретического превосходства выглядит несколько неоправданной (ср. замечания о несоответствии языковедческих исследований в Литве «американскому стандарту» и снисходительное заключение о том, что «по стандарту советской Литвы» работа литовских языковедов должна получить хорошую оценку — стр. 298). Заявление автора обзора о том, что среди вышедших в Литве работ он «не видел ни одной научной публикации, посвященной таким общим лингвистическим проблемам, как фонемика, мор-

[25] В отличие от его соотечественника М. Таубе, который, говоря о перспективах машинного перевода в целом, в книге «Вычислительные машины и здравый смысл» (перевод с англ., М., 1964) делает утверждения, категоричность которых обратно пропорциональна доказательности.

фемика или синтаксис» (стр. 297—298), представляется нам скорее сообщением автобиографического характера, чем объективной информацией.

Отмечая давние традиции алтаистики в России и разделяя советскую эпоху в истории изучения алтайских языков на три периода: 1) период господствующего воздействия теории Н. Я. Марра; 2) период влияния высказываний И. В. Сталина и 3) период современный, автор отмечает, что за некоторыми исключениями советские алтаисты пользовались традиционными методами, ограничиваясь лишь соответствующими цитатами из работ Н. Я. Марра или И. В. Сталина, которые не оказывали какого-либо влияния на структуру и содержание самих работ. В качестве примеров исследований, испытавших некоторое влияние нового учения о языке Н. Я. Марра, автор указывает на отдельные работы Г. Д. Санжеева, В. А. Аврорина и О. П. Суника; исследований, базирующихся на высказываниях И. В. Сталина — некоторые работы Б. А. Серебренникова, В. А. Аврорина и в особенности Г. Д. Санжеева, и исследований, не испытавших какого-либо влияния высказываний Н. Я. Марра или И. В. Сталина— работы Б. Я. Владимирцова, С. Е. Малова, Н. К. Дмитриева, Н. П. Дыренковой, Н. А. Баскакова, Б. Х. Тодаевой и др., хотя некоторые из этих авторов и цитировали сочинения Н. Я. Марра или И. В. Сталина.

Переходя к основной проблематике алтаистических исследований, автор останавливается сначала на проблемах фонетики и фонологии алтайских языков. Прежде всего он указывает на некоторые ошибочные положения в интерпретации фонемы и смешения фонетического и фонологического уровня в исследованиях некоторых монголистов (Г. Д. Санжеева, Б. Х. Тодаева и особенно Д. Д. Амоголонова), а также у некоторых тюркологов, особенно у Э. В. Севортяна, книга которого, по мнению автора, по своему содержанию не может служить фонологическим или фонетическим описанием, а представляет собой якобы только пособие для чтения слов турецкого языка (instruction with regard to how to read Turkish words).

В качестве хороших фонологических описаний тюркских языков автор указывает на работы А. Н. Кононова по турецкому и узбекскому языкам и на превосходное фонологическое описание узбекского языка в книге В. В. Решетова. К хорошим фонологическим исследованиям других алтайских языков автор относит также работу В. А. Аврорина по нанайскому языку, и Новиковой — по эвенскому (ламутскому) языку.

К сожалению, автор не дает в своей статье подробного разбора фонологических концепций советских алтаистов и останавливается только на частных вопросах, отмечая главным образом те или иные, по его мнению, ошибки или погрешности. Так, приводя определение фонемы и указывая на фонологический характер описания фонологической структуры каракалпакского языка у Н. А. Баскакова, он не анализирует его концепции, возражая лишь против разделения Н. А. Баскаковым гласных фонем каракалпакского языка на основные и те, которые появились в позднее время, т. е. фонемы /ii/ и /uu/. Автор отрицает наличие этих фонем в каракалпакском языке, считая что первая из них /ii/ есть не что иное, как сочетание /ij/ — субститут для русск. *и*, а вторая — сочетание /uw/ — субститут для русск. *у*. Автор замечает также, что В. В. Решетов и Н. А. Баскаков вместо фонематической транскрипции пользуются официальным славянским алфавитом (official Cyrillic alphabet).

Многие фонологические исследования по алтайским языкам остались вне поля зрения автора. Совершенно отсутствуют упоминания об исследованиях, использующих новые методы (работы А. А. Реформатского, М. А. Черкасского, Г. П. Мельникова и др.), а также исследования по экспериментальной фонетике (В. А. Богородицкий, Г. Шараф, Ф. Кязимов и др.).

Вместе с тем в заключении автор отмечает, что советские алтаисты (без указания на конкретные работы) уже начинают использовать современные лингвистические методы в своих исследованиях, чтобы установить фонологическую структуру изучаемых языков, и не ограничиваются уже только указаниями на произношение отдельных звуков.

Проблемы морфологии алтайских языков, по мнению автора, трактовались советскими алтаистами главным образом в традиционном плане с опорой на образцы описания грамматики русского языка. Такое заключение автора остается недоказанным, так как в статье отсутствует общий анализ тех или иных грамматических концепций по отдельным алтайским языкам, коренным образом отличающихся от концепций традиционной русской грамматики. Автор ограничивается критическими замечаниями только по нескольким грамматическим категориям, но не по общим проблемам грамматической структуры языка.

Касаясь проблемы частей речи, автор упрекает советских алтаистов в том, что они якобы неверно классифицируют слова по частям речи. Так, по мнению автора, советские алтаисты неправомерно относят числительные к самостоятельной части речи, в то время как основные формы имен числительных, по мнению автора, функционируют только как имена прилагательные. Впрочем тут же отмечается, что числительные имеют и субстантивные и адвербиальные формы.

Автор считает более реальной и отвечающей действительному положению вещей в алтайских языках классификацию частей речи на три основные группы: имен, глаголов и служебных слов, отмечая, что такая классификация также принята некоторыми алтаистами (Г. Д. Санжеевым, К. Н. Новиковой, Г. М. Василевич, Н. А. Баскаковым и др.).

В статье нет никаких сведений о различной трактовке частей речи различными советскими алтаистами, которые благодаря разработке грамматических систем многих ранее не описанных языков внесли значительный вклад в теорию частей речи в плане общего языкознания.

Вторым грамматическим вопросом, поднятым в статье, является спорный вопрос о наличии в алтайских языках категории глагольного вида. Автор — сторонник точки зрения, отрицающей наличие в алтайских языках грамматической категории глагольного вида, считает ошибочными концепции, утверждающие наличие этой категории, например, в тюркских языках, ссылаясь на работы В. А. Богородицкого, А. К. Боровкова, А. А. Юлдашева, К. З. Ахмерова, Л. Н. Харитонова, А. Н. Кононова и в особенности Н. А. Баскакова, которых он упрекает в отношении категории глагольного вида в смешении категорий морфологических и синтаксических. Автор считает более правильной точку зрения, отрицающую наличие категории вида в алтайских языках, которая представлена в трудах советских алтаистов Б. А. Серебренникова, Г. Д. Санжеева и др.

Здесь можно возразить автору статьи в том отношении, что категория грамматического вида как категория, выражающая характеристику протекания действия, объективно существует (и не может не существовать) во всех языках, но по частному своему проявлению в различных языках она выражает различные стороны характеристики процесса протекания времени. В одних языках, например в русском, она получила грамматическое свое выражение в отношении совершенности и несовершенности действия, в других же языках, например, в тюркских, эта категория получила свое грамматическое выражение в отношении качественной и количественной характеристики действия, с одной стороны, и длительности и направленности действия в пространстве и времени — с другой. В одних языках видовая характеристика глагола в том или ином плане выражается преимущественно аффиксально, в других же языках — преимущественно аналитическими формами.

Наконец, последний из грамматических вопросов — вопрос о критериях определения простых и сложноподчиненных предложений в алтайских языках — автор считает спорным и недостаточно разработанным. Останавливаясь на ошибках в понимании придаточных предложений, он констатирует их у Н. А. Баскакова в его ранних работах по алтайскому (ойротскому), хакасскому, каракалпакскому языкам, а также в работах Э. Н. Наджипа, В. Н. Хангильдина и др., которые неправильно относят к сложноподчиненным предложениям с придаточными предложениями простые конструкции с соответствующими причастными и деепричастными оборотами.

Автор приводит ряд примеров, характеризующих смешение этих конструкций, и завершает обзор этого вопроса освещением дискуссии в Алма-Ате в 1956 г., на которой, как свидетельствует автор, М. Ш. Ширалиев правильно показал, что причастные и деепричастные обороты не могут быть определены как придаточные предложения и что многие алтаисты (Б. А. Серебренников, Т. А. Бертагаев, Н. А. Баскаков, М. Гусейн-заде и др.) поддержали его, хотя часть алтаистов (Н. Т. Сауранбаев, С. А. Аманжолов, М. Б. Балакаев, Н. З. Гаджиева и др.) были сторонниками противоположной точки зрения — о необходимости признания причастных и деепричастных оборотов как придаточных предложений, что автор объясняет рассмотрением этих конструкций с точки зрения перевода их на русский язык.

Заключая обзор сравнительно-историческими исследованиями в области алтаистики, автор не находит в «Исследовании по сравнительной грамматике тюркских языков» под ред. Н. К. Дмитриева подлинной сравнительной грамматики и квалифицирует эти «Исследования» как сборник статей по отдельным конкретным языкам. Отсутствием сравнительной грамматики по тюркским языкам он объясняет издание перевода книги М. Рясянена «Materialien zur Lautgeschichte der turkischen Sprachen».

Не удовлетворен автор и состоянием сравнительно-исторических исследований по монгольским языкам. Резко критикуя «Сравнительную грамматику монгольских языков» Г. Д. Санжеева, он ограничивается в своей критике только общими заключениями. Из сравнительно-исторических исследований по другим языкам одобрительно отмечается «Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков» В. И. Цинциус, а из обзорных работ «Тюркские языки» Н. А. Баскакова. Впрочем в последней автор отмечает наличие некоторых, по его мнению, ошибочных положений, из которых он указывает только на то, что в соответствиях $r \sim d/t \sim s/z$ отсутствует соответствие $r \sim s$. Здесь автор упускает из вида соответствия типа чуваш. *хĕр*, алт. *кыс* «девушка», где первичность *s/z* является по крайней мере спорной.

Общее впечатление о статье остается противоречивым. В обзоре далеко не полно представлены труды крупнейших со-

ветских монголистов (Б. Я. Владимирцова, Т. А. Бертагаева и др.) и тюркологов (В. А. Гордлевского, А. Н. Самойловича, С. Е. Малова, И. А. Батманова, К. К. Юдахина и др.). Основные концепции советских алтаистов по фонологическим, грамматическим и лексикологическим проблемам остались вне поля зрения автора. В подавляющем большинстве в статье освещаются труды, относящиеся к раннему периоду до начала 50-х годов, и не привлекаются последние работы. В статье отсутствуют справедливые, объективные оценки теоретических положений и гипертрофируются имеющиеся ошибки.

Слабо отражены в очерке имеющиеся достижения советских алтаистов в отношении описания множества языков народов СССР, ранее совершенно не изученных.

Раздел, посвященный изучению кавказских языков, основан, преимущественно, на литературе, появившейся после 1950 г. Более ранние работы учитываются лишь эпизодически. Поэтому полного представления о советском кавказском языкознании этот раздел, конечно, дать не может.

Вначале дается перечень и классификация языков. Затем следует краткий обзор их характерных черт с точки зрения фонетики и намного более краткое рассмотрение их грамматических особенностей: именные классы, сериальное склонение, отсутствие в большинстве языков личного спряжения, эргативная структура предложения. Далее следуют сведения о научных центрах изучения кавказских языков, краткий очерк истории их изучения, рассмотрение основных научных трудов по отдельным кавказским языкам и языковым группам, обзор состояния компаративистических исследований и, наконец, в общем довольно подробная библиография по кавказской лингвистике. В отношении библиографии можно только сказать, что в ней отсутствуют многие ценные труды 20-х и 30-х годов (Н. Ф. Яковлев, Л. И. Жирков, А. Н. Генко, К. Д. Дондуа и др., а также некоторые важные работы, посвященные частным вопросам кавказского языкознания.

Отношение автора к работам советских лингвистов-кавказоведов, в общем, вполне благожелательное. Автор отмечает значительный рост (как количественный, так и качественный) исследований в Советском Союзе по кавказским языкам, наблюдающийся после Великой Отечественной войны, высоко оценивает ряд работ по кавказской лингвистике (Толковый словарь грузинского языка, «Аварский язык» А. С. Чикобава и И. И. Церцвадзе, работы по абхазской диалектологии К. В. Ломтатидзе и др.). Высокую оценку автора получил большой размах исследований в области картвельских языков.

В вопросах сравнительно-исторического изучения кавказских языков автор держится очень осторожной, а иногда даже слишком осторожной точки зрения. Так, вслед за Н. С. Трубецким, он считает родство западнокавказских и восточнокавказских языков лишь вероятным, а возможность их родства с картвельскими неясной. Поэтому он считает важнейшей задачей советского кавказоведения дальнейшее описание грамматических структур и собирание лексического материала. Особое значение при этом придается изучению диалектов и междиалектным сравнениям, которые должны предшествовать, по мнению автора, сравнениям широкого масштаба и историческим реконструкциям. Поэтому он и высказывает ряд замечаний по вопросам методики диалектологических описаний. С удовлетворением автор также отмечает, что спекулятивные настроения, которыми увлекались в прошлом некоторые советские кавказоведы, в настоящее время сменяются тщательным изучением конкретных фактов на основе более строгой методики.

Следует отметить и некоторые критические замечания автора, с которыми в большинстве случаев можно согласиться. Так, например, он указывает на тот вред, который был нанесен советскому языкознанию исследовательской методикой акад. Марра, которая сказалась в преждевременных построениях в области сравнительно-исторического языкознания. Признавая вообще наличие окаменелых классных показателей, автор, однако, указывает на то, что это понятие иногда слишком широко применяется и приводит к необоснованным выводам. Так, вслед за Г. Деетерсом он указывает на недостаточную доказательность утверждений о наличии окаменелых классных показателей в современном грузинском языке. С методической точки зрения автор считает мало удачными попытки некоторых исследователей рассматривать в синхронном плане близкие языки как диалекты одного и того же языка. На ряде конкретных замечаний, приводимых в разделе о кавказских языках, здесь можно не останавливаться, так как они носят совершенно частный характер.

В заключение можно сказать, что упущений и ошибок в разделе сравнительно немного. В целом же рецензируемый раздел, несмотря на некоторые свои недочеты, может быть охарактеризован положительно.

Значительное место (около 30 страниц) отводится в книге изучению палеоазиатских языков в СССР. В число палеоазиатских языков автор раздела не включает эскимосский и алеутский языки, как это принято делать в советском палеоазиатоведении.

Условность объединения чукотско-камчатских (чукотского, корякского, керекского, ительменского и алюторского), эскимосско-алеутских (эскимосского и алеутского), нивхского, юкагирского и кетского языков в одну группу палеоазиатских языков оговаривается и советскими палеоазиатоведами. Поэтому можно было бы согласиться с авторами книги, если бы эскимосско-алеутские языки были рассмотрены в других ее разделах, как например, в разделе «Алтайские языки», хотя нельзя не учитывать при этом, что за время длительного совместного существования такие языки, как эскимосско-алеутские и чукотско-камчатские приобрели немало общего как в своем грамматическом строе, так и в словарном составе. Однако работы советских ученых по эскимосско-алеутским языкам оказались совсем вне поля зрения авторов рецензируемой книги.

В разделе, посвященном изучению палеоазиатских языков, в основном рассматриваются работы послевоенного периода. Автор раздела в целом дает весьма высокую оценку советскому палеоазиатоведению (стр. 345). Вначале автор останавливается на работах общего характера, затем на исследованиях, посвященных группам родственных языков (чукотско-камчатские языки) и отдельным палеоазиатским языкам. Обзор в основном носит характер аннотаций на статьи и монографические исследования по этим языкам и зачастую не содержит какой-либо авторской оценки высказываемых в этих работах положений. В подразделе «Общие и сравнительные исследования» автор отмечает статьи И. И. Мещанинова «Палеоазиатские языки» (ИАН ОЛЯ, 1948, 6) и Л. Р. Зиндера «Экспериментальное исследование фонетики северных языков» (там же), в первой из которых даются широкие типологические сравнения в пределах палеоазиатских языков, а во второй выявляются некоторые общие черты фонетического строя северных языков. Останавливаясь на книге И. С. Вдовина «История изучения палеоазиатских языков» и указывая на некоторые ее недостатки (слабо освещен ранний период изучения палеоазиатских языков, история изучения палеоазиатских языков доводится только до 1917 г. [26]), автор отмечает, что книга И. С. Вдовина «остается очень ценным вкладом в наше знание истории изучения палеоазиатских языков» (стр. 348). Анализируя статью Е. А. Крейновича «Гиляцко-тунгусо-маньчжурские языковые параллели», автор полагает, что «параллели, находимые Е. А. Крейновичем между гиляцким и корейским, являются исключительно типологическими по своей природе» (стр. 348—349). Это последнее утверждение едва ли можно считать справедливым, так как Е. А. Крейновичем и другими исследователями между нивхским и корейским языком выявлено немало схождений материального и функционального характера.

Особенно подробно автор останавливается на работах, посвященных исследованию чукотско-камчатских языков. Рассматривая работы П. Я. Скорика, автор отмечает значительную ценность его исследований. Здесь прежде всего аннотируются его статьи «К вопросу о сравнительном изучении чукотско-камчатских языков» (ИАН ОЛЯ, 1958, 6 и «К вопросу о классификации чукотско-камчатских языков» (ВЯ, 1958, 1), в которых, как пишет автор, пересматриваются ранее выдвигавшиеся положения о происхождении и развитии этих языков и дается новая их классификация. Излагаются также основные положения и более ранних работ П. Я. Скорика («Инкорпорация в чукотском языке как способ выражения синтаксических отношений» — ИАН ОЛЯ, 1947, 6; «О причастиях в чукотском языке».— там же, 1948, 4; «Выражение субъектно-объектных отношений в чукотском языке» — там же, 1948, 6; «Очерки по синтаксису чукотского языка. Инкорпорация», 1948). При этом автор оспаривает некоторые из выдвинутых в этих работах положений, навеянных стадиальным подходом к исследованию чукотского языка и в частности, положение о том, что инкорпорация в чукотском языке представляет собой промежуточную стадию между простым соположением и агглютинацией. Однако следует отметить, что это положение в более поздних работах было пересмотрено самим П. Я. Скориком (см., например, его большую статью «О постепенном развертывании и совершенствовании основ грамматического строя на материале чукотского языка», «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», IV, 1954, которая почему-то не упоминается автором и где П. Я. Скорик убедительно показывает, что некогда в чукотском языке действительно имело место соположение и что условием возникновения инкорпорации является появление агглютинативных аффиксов, которые могли образовать морфологическую рамку для двух или более сополагающихся знаменательных компонентов).

Вместе с тем в разделе отмечается и ценность указанных исследований П. Я. Скорика и в особенности его книги «Очерки по синтаксису чукотского языка», которая представляет собой «т[ез-

[26] Автору раздела, по-видимому, осталась неизвестной книга И. С. Вдовина и Н. М. Терещенко «Очерки изучения палеоазиатских и самодийских языков» (М., 1959), в которой освещается история изучения палеоазиатских языков и в советский период вплоть до 1959 г.

вое и хорошо документированное исследование» (стр. 351).

В разделе дается высокая оценка работе П. Я. Скорика «Грамматика чукотского языка» (ч. I), вышедшей в 1961 г., которая, как пишет автор раздела», «является результатом работы первоклассного знатока чукчей» (стр. 361). Однако автор раздела не дает анализа основных теоретических концепций этой монографии. Из других работ по чукотскому языку упоминаются также «Чукотско-русский словарь» Т. А. Молл и П. И. Инэйликэя (1957), статья Т. А. Молл «К вопросу о вспомогательных глаголах в чукотском языке» и некот. др.

Затем в разделе дается подробное изложение четырех статей по корякскому, опубликованных в последнее десятилетие (статья Е. А. Крейновича «Опыт исследования структуры слога в корякском языке» и статьи А. Н. Жуковой «Два основных способа связи определения с определяемым в корякском языке», «Слова корякского языка, обозначающие качественное состояние», «Типы склонения существительных в корякском языке») и отмечается ценность материалов и удачный подбор примеров в последней из этих статей.

По юкагирскому языку в СССР в последнее десятилетие исследования велись лишь Е. А. Крейновичем, опубликовавшим за этот период статью «Система морфологического выражения логического ударения в юкагирском языке» и монографию «Юкагирский язык». Останавливаясь на первой из этих работ, автор отмечает, что благодаря морфологическому выражению логического ударения в юкагирском языке образуется субъектно-предикатная структура предложения (в терминах Хоккета topic — comment dichotomy), которая может совпадать или не совпадать с его подлежащно-сказуемостной структурой (стр. 365). Едва ли, однако, можно согласиться с автором раздела, когда он вслед за Е. А. Крейновичем утверждает, что морфологическая система выражения логического ударения является наиболее поразительной (striking) чертой юкагирского языка: морфологически (особыми морфемами) субъектно-предикатная структура предложения-суждения выражается во многих языках (японском, нивхском и др.) и в этом отношении юкагирский язык не представляет исключения. Что касается монографии Е. А. Крейновича «Юкагирский язык», то в разделе по существу не дается анализа ее основных положений и теоретических установок автора и не показывается, что нового вносит эта работа по сравнению с работами предшествующих исследователей [27].

В подразделе, посвященном изучению нивхского (гиляцкого) языка, даются подробные аннотации на статьи ряда авторов. Здесь рассматриваются статья К. А. Новиковой и В. Н. Савельевой «К вопросу о языках коренных народностей Сахалина (по материалам лингвистической экспедиции 1949 г.)», в которой обосновывается высказанное Л. Я. Штернбергом положение о наличии в нивхском языке амурского и сахалинского диалектов, и статья В. Н. Савельевой «Склонение имен существительных в нивхском языке», в которой устанавливается наличие в нивхском языке нескольких новых падежей (местного, местно-предельного и продольного).

Останавливаясь на дискуссии по проблеме инкорпорирования в нивхском языке, автор раздела излагает в этой связи основное содержание статьи Е. А. Крейновича «Об инкорпорировании в нивхском языке» и статьи Л. В. Бондарко и Л. Р. Зиндера «Фонетическая характеристика различных типов синтаксических групп в нивхском языке», авторы которых полагают, что в нивхском языке существует инкорпорирование как способ выражения синтаксических отношений путем словосложения. Поскольку же автором раздела не рассматривается аргументация противоположной стороны, то существо разногласий по этой проблеме остается невыясненным. Автор раздела лишь высказывает мнение, что ни одной из сторон не приведено решающих аргументов и что в определенном смысле разногласия по этой проблеме носят терминологический характер (стр. 370). Между тем центральным в дискуссии по проблеме инкорпорирования в нивхском и других языках по существу стал вопрос о критериях слова в его отличии от словосочетания и частей слова (будь то морфема или знаменательный компонент сложного слова), и, лишь отрицая существование слова как основной языковой единицы, можно счесть этот спор чисто терминологическим.

В разделе даются также подробные аннотации статей В. З. Панфилова «Сложные существительные в нивхском языке и их отличие от словосочетания», «Грамматическое число существительных в нивхском языке», «О залоге глагола в нивхском языке» и статьи Е. А. Крейновича «Выражение пространственной ориентации в нивхском языке». При этом автор допускает фактические неточности. Так, например, он утверждает, что статья «Грамматическое число существительных в нивхском языке» якобы написана на основе неопубликованных архивных материалов (на самом деле статья строится на материалах, собранных автором во время экспедиций в районы заселения

[27] См. рецензию О. Тайера на эту работу Е. А. Крейновича (O. G. Tailleur, [рец. на кн.:] Е. А. Крейнович, Юкагирский язык, М.—Л., 1958, UAJ, XXXII, 3—4, 1960).

нивхов) или что семантический критерий, который используется для различения сложных слов и словосочетаний, якобы сводится В. З. Панфиловым к идиоматичности (ср.: В. З. Панфилов, Сложные существительные в нивхском языке и их отличие от словосочетаний, ВЯ, 1958, I, стр. 110—111).

Из работ по кетскому языку автор упоминает лишь статью Е. А. Крейновича «Именные классы и грамматические средства их выражения в кетском языке». К сожалению, автору, по-видимому, остались неизвестными многие исследования по палеоазиатским языкам: монография И. С. Вдовина и Н. М. Терещенко «Очерки по истории изучения палеоазиатских и самодийских языков», М., 1959; ряд статей и брошюра А. В. Дульзона по кетскому языку («Словарные материалы XVIII в. по кетским наречиям», «Уч. зап. [Томск. пед. ин-та]», XIX, 2, 1961; «Аффиксация как метод передачи грамматических значений», Томск, 1962; «Кетские топонимы Западной Сибири», «Уч. зап. [Томск. пед. ин-та, XVIII, 1959; «Кетские наречия XVIII в.», «Труды Томск. областного краеведческого музея», VI, 2, 1962 и целый ряд других); статьи Т. А. Молл по ительменскому и корякскому языку («Очерк фонетики и морфологии седанкинского диалекта ительменского языка», «Уч. зап. [ЛГПИ им. А. И. Герцена]», 167, 1959; «Фонемный состав и основные фонетические закономерности чавчувенского диалекта корякского языка», там же, III, 1955); такое важное исследование П. Я. Скорика по чукотскому языку, как его большая статья «О постепенном развертывании и совершенствовании основ грамматического строя (на материале чукотского языка), «Труды Ин-та языкознания [АН СССР]», IV, 1954; ряд работ В. З. Панфилова по нивхскому языку [«К истории счета (Нивхские количественные числительные)» ФН, 1959, 4; Проблема слова и «инкорпорирование» в нивхском языке, ВЯ, 1960, 6; «Грамматика нивхского языка», ч. 1, М.—Л., 1962 [28]].

В результате этого из поля зрения автора раздела почти совсем выпала проблематика, связанная с историей развития отдельных палеоазиатских языков (чукотского, нивхского и др.), как она получила отражение в работах советских палеоазиатоведов, проблемы топонимики и ряд проблем общетеоретического характера, разрабатываемых на материалах палеоазиатских языков. Кроме того, далеко не полно отражены результаты синхронного исследования ряда палеоазиатских языков и прежде всего кетского, ительменского и нивхского языков. Следует отметить также, что в разделе совсем не получила отражения большая работа советских ученых по усовершенствованию алфавитов и орфографий палеоазиатских языков, по созданию многочисленных учебных пособий на этих языках для начальной школы (двуязычных русско-национальных и национально-русских словарей, книг для чтения на родных языках и других учебников).

Статья об исследовании уральских языков начинается с краткого описания состояния финно-угроведения в России (перечисляются виднейшие ученые, работавшие в свое время в Петербурге и Казани), далее в ней дается обзор изменений в направленности финно-угорского языкознания после установления советской власти. Отмечая прогрессивность создания национальных литературных языков и той огромной работы, которая велась и ведется по воспитанию национальных языковедческих кадров, выяснению опорных диалектов для литературных языков, составлению словарей, описательных грамматик, учебников, он подчеркивает исключительную роль Д. В. Бубриха, первого организатора научной работы по финно-угорским языкам в СССР, первого воспитателя советских специалистов по этим языкам. Следует отметить, что автор не только понял значение деятельности Д. В. Бубриха, но и объяснил некоторые его ошибки в вопросах исторического развития языков и использования методов в исторических исследованиях. С сожалением рецензент отмечает общее пренебрежение во время господства учения Марра к историческим проблемам отдельных финно-угорских языков и отставание в области фонетических и фонологических исследований.

Обзор состояния советской науки по отдельным финно-угорским языкам автор статьи разделяет на две части: в первой описывается изучение соответствующих языков до 1950 г., во второй — после 1950 г. Особое внимание в первой части многих разделов уделяется деятельности советских ученых по созданию или развитию письменности у ранее бесписьменных языков.

По исследованию мордовских языков автор с особенной теплотой отмечает исключительные заслуги М. Е. Евсевьева в области собирания лексики, а также составления описательной грамматики эрзя-мордовского языка. Подробно останавливаясь на работах Д. В. Бубриха, рецензент показывает их положительные стороны, но также и недостатки, и прежде всего неправильные выводы по истории мордовского языка, причину которых он видит в отсутствии сравнения с другими языками и выяснения этимологий суффиксов. Из наиболее примечательных работ последних лет автор статьи выделяет двухтомную грамматику мор-

[28] См. рецензию на эту работу Хаттори Такеси (Hattori Takeshi, [рец. на кн.:] В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. I, М.—Л., 1962, журн. «Гэнго кэнкю», Токио, 1963, 44.

довских языков, одна часть которой (синтаксис) написана М. Н. Коляденковым, другая — под его же редакцией коллективом авторов. Отзываясь о работе в целом хорошо, рецензент указывает и недостатки в первом томе. Отмечаются работы Н. Ф. Цыганова, эстонцев В. Халлана и В. Палла, а также ряда молодых исследователей мордовских диалектов: Ф. П. Маркова, В. Д. Объедкина, Д. В. Цыганкина и др. Автор придает большое значение обработке А. П. Феоктистовым памятника XVIII в. (мордовской части пятиязычного словаря Дамаскина). В этом разделе, как и в следующих, посвященных марийскому и пермским языкам, отмечаются ценные научные положения, выявленные в фундаментальной работе Б. А. Серебренникова о проблемах времени и вида в волжских и пермских языках.

Из исследователей марийской проблематики первого периода автор большое значение придает деятельности Г. Г. Кармазина и еще больше — В. М. Васильева. Высоко оценивая работу В. М. Васильева по собиранию марийского фольклора и лексики, автор статьи подчеркивает также, что он поставил на повестку дня ряд дискуссионных проблем, в том числе вопрос о глагольных временах, наклонениях и т. д. Высокую оценку дает автор коллективной работе марийских ученых «Современный марийский язык», причем, по мнению автора, наиболее ценной из трех частей является вторая (морфология), составленная под редакцией Н. Т. Пенгитова, но отмечается научное значение также и первой части (фонетика, автор Л. П. Грузов). Подробно рассматривает рецензент также и другие научные труды, в том числе работы Н. Т. Пенгитова, М. П. Чхаидзе, И. С. Галкина, Н. И. Исанбаева, А. А. Саватковой и др.

Наиболее обстоятельно автор анализирует состояние пермского языкознания. По исследованию удмуртского языка автор статьи отмечает заслуги А. П. Емельянова, Д. В. Бубриха, С. П. Жуйкова и П. Н. Перевощикова, указывая, однако, и здесь на некоторые ошибки в исторических работах Д. В. Бубриха. Подробно рассматривается недавно вышедшая грамматика современного удмуртского языка, составленная в Ижевске коллективом авторов (под ред. П. Н. Перевощикова). Отмечается особенно удачно выполненный раздел фонетики (авторы В. И. Лыткин и Т. И. Тепляшина.) Рецензент освещает научную деятельность П. Н. Перевощикова, перечисляет работы В. И. Алатырева, напоминает о значении диалектологических исследований Т. И. Тепляшиной, И. В. Тараканова и словарной работе В. М. Вахрушева. По коми языку автор отмечает большие заслуги А. С. Сидорова и В. И. Лыткина по обработке памятников, организации сбора диалектологических материалов, изучению диалектов и вопросов исторической грамматики и фонетики. Высокая оценка дается грамматикам современных коми языков, составленных подредакцией и при соавторстве В. И. Лыткина, отмечается научная ценность разысканий последнего по этимологии коми слов. Рассматриваются или просто перечисляются также работы других ученых: В. А. Сорвачевой, Т. И. Жилиной, Н. А. Колеговой, М. А. Сахаровой, Е. С. Гуляева, Р. М. Баталовой, А. С. Гантман и др.

Прибалтийско-финскому языкознанию в статье посвящено два небольших раздела; в одном рассматривается деятельность языковедов Эстонии, в другом — деятельность языковедов в Карельской АССР. В эстонской части автор основное внимание уделяет работам специалистов по эстонскому языку Й. В. Вески, А. Каска, исследовательской деятельности П. Аристэ, имеющего большие заслуги по изучению отдельных финно-угорских языков, а также общих вопросов прибалтийско-финских языков, далее отмечаются работы Х. К. Рятсепа, Э. Пялля и М. Муст. Раздел об изучении карельского и вепсского языков дополнен обзором работ советских лингвистов и некоторых трудов по финскому языку. По исследованию карельского и вепсского языков автором статьи отмечаются работы Н. И. Богданова, А. А. Белякова, по финскому языку — В. М. Оллыкайнен, Г. Н. Макарова, Г. М. Керта и З. М. Дубровиной, по общим вопросам прибалтийско-финских языков — работы М. М. Хямяляйнена и В. Е. Злобиной. Регистрируются автором статьи труды советских лингвистов З. Е. Чернякова, А. Г. Эдюковского, Г. М. Керта, В. В. Сенкевич-Гудковой. Хорошо отзывается рецензент о научных трудах Ю. С. Елисеева.

В последних небольших разделах автор статьи показывает достижения советской науки в области исследования обско-угорских и самодийских языков. По первому периоду изучения обско-угорских языков автор отмечает значение работ В. Н. Чернецова, И. Я. Чернецовой, П. Е. Хатанзеева, П. К. Животикова и немецкого ученого В. Штейница, работавшего в течение ряда лет в Ленинграде. Сообщается о значении трудов М. П. Вахрушевой, А. Н. Баландина, изданных после 1950 г., хорошо отзывается автор о работах Е. И. Ромбандеевой, Н. И. Терещкина и Ю. Н. Русской. Высоко оценивается научная деятельность исследователей самодийских языков Г. Н. Прокофьева и Н. М. Терещенко. К статье приложена подробная библиография.

Факты в статье изложены в общем объективно и весьма благожелательно. К сожалению, в обзоре совершенно отсутствует раздел об исследовании венгер-

ского языка. Недостаточно внимания уделено научной деятельности эстонских языковедов, а между тем многие из их работ, даже не упомянутых автором статьи, заслуживают самой высокой оценки.

*

В зарубежной лингвистической литературе неоднократно подчеркивалось, что разработка теоретических проблем общего языкознания, равно как и плодотворное развитие мирового языкознания невозможно без учета многочисленных новых материалов и исследований советских языковедов. В этом отношении рецензируемая работа несомненно заслуживает внимания как одна из серьезных попыток критической оценки состояния изучения языков Советского Союза со стороны зарубежных языковедов, а также как попытка теоретического осмысления соответствующего материала, даваемого советскими языковедами.

В то же время приходится отметить, что собранные в данном томе статьи различных лингвистов не всегда отвечают высоким требованиям строго научной и объективной критики. Прежде всего обращает на себя внимание отсутствие единых принципов построения работы и описания соответствующих языков. Несмотря на известные усилия редактора и авторов сборника, в рецензируемой работе не получило должного освещения общее состояние разработки теории советского языкознания, его основные направления и его узловые проблемы, в связи с чем оказались освещенными неполно и недостаточно, а иногда получили искаженное освещение как сами направления, так и конкретные работы в области отдельных языков. Прямым следствием этого явилась субъективная и по сути дела не поддержанная самим фактическим материалом оценка работ в области отдельных языковых групп в ущерб другим языковым группам (например, явная недооценка многочисленных исследований в области русского и славянского языкознания). Следует добавить, что в разделе библиографии в одних статьях дается подробный и хорошо составленный список основных работ советских языковедов, а в других — библиографические указания сводятся к случайному подбору разрозненных и нередко второстепенных работ по определенному языку.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что рецензируемая работа, несмотря на существенные недостатки и в теоретической и в специальной части, несмотря на отсутствие четкого плана и подчас недостаточную информацию о работах советских языковедов, все же заслуживает положительной оценки как первый серьезный опыт ознакомления широкого круга зарубежных читателей со многими и бесспорными достижениями советского языкознания.

E. Bach. **An introduction to transformational grammars.** — New York — Chicago — San Francisco, Holt, Reinhart and Winston, 1964. 205 стр.

Не вызывает сомнения, что книгу Э. Баха «Введение в трансформационную грамматику» можно было бы рассматривать с разных точек зрения. Так, было бы, безусловно, важно определить место данной работы в истории возникновения и формирования теории трансформаций и, прослеживая эволюцию взглядов в этой области, отделить то новое, что внес в трансформационный анализ (ТА) Э. Бах, от уже известного из работ прямых его предшественников— З. Харриса, Н. Хомского, П. Постала и др. Можно было бы, с другой стороны, выяснить, насколько полно удалось Э. Баху отразить в его книге содержание и сущность трансформационной грамматики (ТГ) как грамматики особого типа, столь отличной от грамматик традиционного или даже дескриптивного толка, или насколько аргументированно предстает само выделение ТГ и на чем оно базируется у Баха. Можно было бы, наконец, поставить на примере данной книги более общий вопрос об эффективности трансформационного метода (ТМ) применительно к разным аспектам языкового исследования, в частности о его пригодности или, наоборот, непригодности для решения задач на уровне грамматики. В связи с этим было бы также весьма желательным использовать материал Э. Баха и для уточнения границ применения ТА и меры его использования в ТГ и т. д.

Не отрицая важности всех этих вопросов, неоднократно обсуждавшихся уже на страницах нашей и зарубежной печати — правда, безотносительно к книге Э. Баха,— мы все же решили подойти к оценке указанной работы несколько с иных позиций. Ведь книга Баха привлечет к себе внимание не только специалистов в области ТМ. Не беря на себя смелость слишком категорично судить о недостатках и достоинствах рецензируемой работы хотя бы потому, что собственным опытом мы в этой области не располагаем, мы ставим перед собой гораздо более скромную задачу — высказать соображения, возникшие у нас при ознакомлении с книгой, как у

читателя, который специально проблемами ТМ не занимался и для которого они представляют лишь общий интерес. Подобный, так сказать, не узко профессиональный подход, по-видимому, тоже имеет свой резон, ибо именно под таким углом зрения подойдет к книге большинство ее читателей.

Для любого языковеда будет вполне очевидным, что появление такой книги, как «Введение в трансформационную грамматику», симптоматично во многих отношениях. Во-первых, по всей вероятности, потому, что оно демонстрирует неослабевающий интерес в современном языкознании ко всякого рода теоретическим построениям, особенно тем, в которых ставятся и обсуждаются методы лингвистического анализа, приемы и способы обработки конкретного языкового материала. Ведь в книге Баха в виде целого развернутого руководства в достаточно ясной форме изложены основы особой научной дисциплины, связанной к тому же с системным подходом к языку и к той его области, которая лишь сравнительно недавно стала объектом формализованных исследований,— к синтаксису.

Во-вторых, потому, что книга наглядно свидетельствует об отходе от дескриптивизма, во всяком случае внешнем, который наметился в США еще в середине 50-х годов и который так показателен для развития американского структурализма в целом. Если на VIII Международном съезде лингвистов дескриптивная лингвистика была объектом критики по преимуществу со стороны неамериканских лингвистов, то уже в период между VIII и IX съездами и в самой Америке стали все громче раздаваться голоса лингвистов, указывающих на известную ограниченность дескриптивной теории и уязвимость центральных ее положений [1]. Пропаганда новых идей ТМ в США сопровождалась поэтому, особенно на первых порах, резкими нападками на доктрины дескриптивистов и на выдвинутую здесь методику лингвистического анализа [2]. Не случайно, разумеется, и то, что развитие ТМ означало нередко выдвижение новых принципов исследования, в каком-то отношении прямо противоположных тем, которыми руководствовались дескриптивисты. Достаточно сравнить в этой связи роль фактора значения или понятия процесса в лингвистических исследованиях дескриптивистов, с одной стороны, и приверженцев ТМ, с другой. Ср. также отношение к синтаксическим и семантическим исследованиям и к объяснительной стороне лингвистической теории.

Бурное распространение идей ТА (и не только в рамках одной Америки) было, следовательно, своеобразной реакцией на неудачи дескриптивизма; оно явилось результатом осознания конкретных пробелов в дескриптивной теории и ее неспособности решить целый ряд актуальных проблем современного языкознания.

И хотя, несомненно, существовали и другие объективные причины появления ТМ и перехода многих лингвистов в ряды его сторонников,— среди этих причин в первую очередь можно назвать, например, созвучность многих идей ТА идеям современной логики и математики, популярность положения о формализованном и объективном описании языка, популярность идей моделирования систем и системных связей и т. п.,— успех ТМ коренится не столько в нем самом, сколько в его программе, в его замыслах. Уж слишком заманчивой и многообещающей казалась сама мысль о возможности связать воедино формальный, синтетический и в то же время динамический подход к языку в рамках одной теории, одного метода. Объяснять поэтому интенсивную разработку всевозможных общих и частных проблем с позиций ТМ одними лишь реальными достоинствами этого метода и объективной его ценностью было бы преждевременным и потому неправильным. Следует разграничивать, что обещает этот метод и что он фактически принес, чем он кажется и чем он является на деле. Здесь не приходится забывать, что ТМ как раз казался весьма близким традиционному анализу синонимических конструкций в синтаксисе и напоминал обычный и даже просто тривиальный метод выведения одних конструкций из других (наподобие известного нам еще из школьной грамматики способа превращения активных оборотов в пассивные или повествовательных в вопросительные). Близким, а потому доступным и простым.

В одной из своих книг А. Мартине, пытаясь объяснить, почему мысли П. Пасси о развитии языка не получили должного признания, замечал, что они были чересчур ясными и что по той же причине многие считали поверхностными идеи А. Мейе [3]. С оценкой ТМ

[1] См., например: R. Wells, Some neglected opportunities in descriptive linguistics, «Anthropological linguistics». V, 1, 1963; C. F. and F. M. Voegelin, On the history of structuralizing in 20-th century America, там же; K. V. Teeter, Descriptive linguistics in America: triviality vs. irrelevance, «Word», XX, 2, 1964, стр. 197 и сл.

[2] См. подробнее в работе: Н. Д. Арутюнова, Г. А. Климов и Е. С. Кубрякова, Американский структурализм, в кн. «Основные направления структурализма», М., 1964, стр. 289 и сл.

[3] См.: А. Мартине, Принцип экономии в фонетических изменениях, М., 1960, стр. 66.

случилось обратное — одни из исходных положений этой теории показались настолько ясными, что были восприняты как откровение, приняты на веру без должной проверки, а вместе с тем и без надлежащего обоснования тех других принципов ТА, которые были уже далеко не такими ясными и безусловными. Но ведь всякому непредубежденному лингвисту понятно, что при отсутствии подлинной теории нового метода, без точного определения исходных предпосылок, границы его оказываются настолько неопределенными и расплывчатыми, что позволяют любое самое широкое истолкование. Но в таком случае метод нередко неоперационален или малоэффективен [4].

Появление книги Э. Баха симптоматично, в-третьих, и потому, что она отвечает настоятельным нуждам современного языкознания, и поскольку автор пытается свести здесь воедино все основные сведения о ТМ применительно к одному, по-видимому, главному аспекту его использования — области трансформационной грамматики. Бах полностью отдает себе отчет в том, что «простое и последовательное изложение понятий, приемов и проблем этой теории», несмотря на, казалось бы, значительную литературу по вопросу, отсутствует. «Введение в трансформационную грамматику» и должно, по его мнению, восполнить этот пробел. Краткое изложение содержания книги Баха представляется в этой связи весьма целесообразным.

Разумеется, поскольку теория трансформации еще не является чем-то окончательным, автор не ограничивается одним изложением того, что представляется ему решенным, но выносит на обсуждение и некоторые спорные положения ТА. В первую очередь его, однако, интересуют не столько теоретические аспекты ТМ, сколько его практические возможности и пригодность метода для описания различных языковых структур. Это отражается как в том, что в книге находит подробное описание весь вспомогательный аппарат ТА с его условными обозначениями, так и в том, что в конце каждой главы, посвященной тем или иным вопросам ТА, приводятся «проблемы к главе...». Последние представляют род задачника, построенного так, что ответить на предложенные здесь вопросы читатель может только после основательного изучения текста главы. Наличие такого вопросника или списка упражнений приближает данную работу к практическому руководству по ТМ и во всяком случае позволяет ее использование в виде учебного пособия. И все же, несмотря на ярко выраженную методическую направленность книги, за которой совершенно явно стоит курс лекций, содержание ее не ограничивается сведениями практического характера.

В первой, вводной главе автор, например, останавливается на определении задач лингвистики как науки, занимающейся изучением языка в теоретическом отношении. Лингвистическая теория рассматривается здесь как набор высказываний о языке, соответственно чему целью книги ставится конструирование особого языка о языке (стр. 2); освоение же теории понимается поэтому Бахом, как нечто аналогичное освоению нового (иностранного) языка. Лингвист всегда имеет дело не с языком, а с тем или иным отображением речи, ее записью. Эта запись может больше или меньше приближаться к оригиналу, но она не может явиться тождественным воспроизведением акта речи, который неповторим. И все же, поскольку язык — явление социальное, материалом, подлежащим изучению, служат не только физические события (речь, говорение, запись речи), но и их восприятие и оценка говорящим. И хотя никакие два высказывания не могут быть абсолютно тождественными, часть высказываний воспринимается как «те же», т. е. одинаково. Любой говорящий судит о высказываниях и в том смысле, что одни из них он признает «правильными», другие же рассматривает как неправильные или даже невозможные. Лингвистическая теория должна учесть и эти суждения. Минимальное требование, предъявляемое к данной теории, касается вследствие этого определения всех предложений языка и только предложений, т. е. допустимых последовательностей языка. Роль трансформации в лингвистической теории заключается в том, что именно с ее помощью удается создать грамматику, позволяющую установить указанные предложения и дать их структурное описание (стр. 8).

Во второй главе, посвященной основным понятиям трансформационной грамматики, подчеркивается, что в данной работе термин «грамматика» означает серию утверждений или формул относительно структуры языка, короче, т е о р и ю о языке (стр. 9). Грамматика в таком ее специфическом толковании проявляет несомненную зависимость от современной логики и особенно математики с идущей отсюда трактовкой систем как определенных исчислений [5]: пытаются

[4] См. также: В. Н. Т о п о р о в, О трансформационном методе, в кн. «Трансформационные методы в структурной лингвистике», М., 1964, стр. 77.

[5] Идеи подобного рода разделяются и рядом советских лингвистов, ср., например: «...мы можем построить грамматику конкретного языка как конкретное исчисление, т. е. как математический объект определенного типа» (С. Я. Ф и т и а л о в, Трансформации в аксиома-

сформулировать те принципы, по которым в языке создаются предложения, совершенно аналогично тому, как математическая теория строит свои теоремы.

В идеале грамматика, или теория о языке, должна быть ф о р м а л ь н о й, т. е. опирающейся не на значение, а на реально существующие знаки (буквы, фонемы, слова)[6], и э к с п л и ц и т н о й, т. е. констатирующей все связи между отдельными формами в таком виде, что сами эти формы могут быть впоследствии получены посредством применения к ним автоматических процедур, установленных данной теорией. К тому же всякое утверждение в теории должно быть доказуемо, т. е. оно должно подтверждаться при привлечении нового материала.

Теория должна отвечать также требованиям простоты и полноты. Из двух теорий, опирающихся на одни и те же факты, считаться более простой будет та, которая описывает эти факты в более сжатой и экономной форме — через меньшее количество исходных понятий и через меньшее количество правил. Простота теории определяется по отношению ко всему описанию в целом: если, например, описание какой-либо части материала может быть упрощено лишь за счет возрастания сложности при описании других разделов, целесообразность такого упрощения следует аргументировать дополнительно. Вопрос о простоте теории не может решаться также вне связи с объяснительной силой данной теории, что накладывает на построение теории свои ограничения (ср. также стр. 178 и сл.).

Не трудно заметить, что Э. Бах опирается здесь в основном на мысли Н. Хомского [7]. Хочется, однако, обратить внимание не столько на повторение некоторых аргументов Н. Хомского, в частности его доводов в пользу выбора грамматик определенного типа (трансформационных, например), сколько на самый факт чрезвычайного сужения объекта лингвистической теории до объекта грамматики. В ведении первой в отличие от второй остается только область определения исходных понятий (см. также ниже) и проблемы оценки разных моделей описания. К тому же этот важный, но отнюдь не первостепенный вопрос рассматривается вне проблемы общей целенаправленности лингвистического исследования, т. е. решается безотносительно к конкретным задачам описания и не ставится в прямую зависимость от определения того круга проблем, который должен найти свое отражение в лингвистической теории. Существуют какие-то общие правила построения исследования[8], но смешение лингвистической теории с теорией лингвистического описания недопустимо. Интересно, что как раз в этом отношении можно отметить известную зависимость теории трансформации от дескриптивизма, суть расхождений между которыми здесь заключается лишь в том, что дескриптивное направление сделало единственной целью лингвистики само описание, приверженцы же нового направления переформулировали это положение в положение о принципах описания, причем принципах не столько лингвистических, сколько чисто логических.

Подобное одностороннее толкование находит в книге не только определение задач теории о языке, но и определение языка. Языком в книге называется (стр. 11—12) набор или класс объектов, состоящий из ряда элементов, связанных между собой явлением конкатенации (т. е. сцепления). Эти объекты (включая и одноэлементные) называют цепочками (strings). Поскольку ни один из известных языков не использует всех из возможных цепочек, языком является, собственно, лишь определенный подкласс всего класса цепочек. Такова же и природа естественных языков, реализующих часть возможных последовательностей фонем, морфем и т. д. Грамматика поэтому не может ограничиться одним перечислением элементов, но должна каким-либо способом объяснить, как из подобных элементов складываются разрешаемые структурой языка цепочки, или предложения.

Повторяя известные аргументы сторонников теории трансформации о бесконечном количестве реальных предложений в языке и конечном числе правил, которыми должна быть представлена грамматика языка, а также об отсутствии ограничений на реальную длину предложения, Э. Бах приходит к выводу, что снять указанные противоречия может только формальный и абстрактный подход к изучению языка. Принципы такого подхода заложены, по его мнению, в генеративной (порождающей) грамматике, поскольку именно она направлена на эксплицитное изложение формальных

тических грамматиках, в кн. «Трансформационные методы...»,— стр. 5).

[6] Как будто бы значение не составляет объективного свойства знака.

[7] См.: Н. Х о м с к и й. Синтаксические структуры, в кн. «Новое в лингвистике», 2, М., 1963. Ср. также доклад Хомского на IX Международном съезде лингвистов о логических основах лингвистической теории.

[8] Конечно, и они могут являться предметом обсуждения, как об этом свидетельствует прекрасная работа И. А. Мельчука, в которой, однако, никакой подмены вопроса о теории вопросами описания не происходит (см. его статью «О стандартной форме и количественных характеристиках некоторых лингвистических описаний», ВЯ, 1963, 1).

правил о том, какие из цепочек и из каких элементов и почему допустимы в конкретном языке. В свою очередь эти качества генеративной грамматики автор связывает с выработкой принципов стандартного грамматического описания.

Грамматика, утверждает Бах, это набор символов, отношения между которыми представлены в виде операционных правил. Каждое правило существует в форме $X \rightarrow Y$, т. е. раскрывается как инструкция «перепиши» X в Y. Возникновение законченной или конечной цепочки из начальной описывается как процесс д е р и в а ц и и, причем каждый акт деривации констатируется в виде одного правила. Выделяются три типа правил: о фразовых структурах, трансформационные и фонологические. Каждая группа из этих правил детально рассматривается по отдельности (см. главы 3, 4 и 6), но способы их записи униформны. Так, если к одной и той же начальной цепочке применимы несколько правил сразу, т. е. $A \rightarrow B$ и $A \rightarrow B + C$, это можно записать в виде $A \rightarrow B(C)$; а если $A \rightarrow B$ и $A \rightarrow C$, это фиксируется либо как $A \rightarrow \{B, C\}$, либо как $A \rightarrow \{B/C\}$ и т. д. Предложенные методы, по мысли Баха, позволяют компактное и единообразное описание многих связей, в частности, и тех, которые уже были выявлены в традиционной грамматике. Вместо того, например, чтобы использовать формулировку «предложение состоит из субъекта и предиката», можно записать «предложение → субъект + предикат»; вместо того, чтобы сказать «морфема множественного числа в английском языке z_1 представлена алломорфой s после /p, t, k/» и т. д., записывают

$$\begin{bmatrix} p \\ t \\ k \end{bmatrix} Z_1 \rightarrow \begin{bmatrix} p \\ t \\ k \end{bmatrix} s.$$

Таким образом, названия элементов, используемые в обычной грамматике, здесь заменяются самими элементами, вступающими во взаимодействие. Этим и обеспечивается объективность записи, отражающей формирование последовательности из определенных элементов (перечислены они сами, а не их названия) в виде процесса.

Для доказательства преимущества подобных записей Бах приводит несколько примеров, на одном из которых небезынтересно остановиться более подробно.

Речь идет о том, что морфология английского существительного может быть сведена к двенадцати правилам, если начать с такой исходной единицы, как существительное. Фактический разбор примера убеждает нас в том, что это далеко не так. Обратимся, например, к первому правилу, гласящему:

$$\text{существительное} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{существительные } m \text{ (обозначающие вещества)} \\ \text{существительные } p \text{ (не образующие формы мн. ч.)} \\ \text{существительные } (Z_1). \end{array} \right\} Z_2$$

Знаком Z_1 здесь обозначается морфема мн. числа, знаком Z_2 — морфема посессивного падежа. Правила раскрывают сущность разбиения существительных на три типа (обозначающие вещества — mass nouns, Pluralia tantum и исчисляемые существительные) и формы манифестации Z_1 и Z_2. Не говоря о том, что из приведенных правил не ясно, в каком случае происходит образование посессивных форм (правило констатирует это так, как будто она возможна от л ю б о г о имени), не вполне ясна и цель подобной записи.

Так, остается непонятным, является ли серия правил такого типа способом узнавания нового или способом констатации старого известного. Поскольку в данном случае несомненно второе, не ясно, почему не указано, на результаты какого именно анализа — семантического, дистрибутивного, функционального и т. п., — эта запись опирается. А пока этого нет, мы не можем определить реальную меру зависимости подобной записи от степени изученности материала на той ступени анализа, которая предшествует оформлению правил. Мы, следовательно, не в состоянии ответить на вполне закономерный вопрос: можем ли мы представить в виде аналогичной серии правил то, чего мы раньше не знали из предыдущего опыта (или знали, например, чисто интуитивно)?

С другой стороны, если записи приводятся только для того, чтобы зафиксировать механизм порождения указанных форм и являются лишь переформулировкой известного, логично поставить вопрос о том, правильно ли отражен здесь морфологический процесс и какой именно необходимостью вызвано его представление в таком, а не ином виде.

Вопреки тому, что говорится о компактности и простоте правил и вопреки реальному функционированию форм, кажется, что правила излишне усложнены. Так, подлинный смысл первого правила становится понятным только после подстановки на место Z_1 и Z_2 их реальных форм, а это в свою очередь возможно только после прочтения всех остальных правил. А для того чтобы узнать, как образуется форма такого стандартного типа как *boy — boys*, мы должны, изрядно поломав себе голову в процессе расшифровки одиннадцати правил и отвергнув каждое из них как неподходящее, подойти, наконец, к двенадцатому правилу, весьма лаконичному и констатирующему, что $Z \rightarrow z$. Эффективность такой процедуры весьма сомнительна. Предположим, что для машины такая запись является наилучшей. Следует ли из этого, что и язык теоре-

тической лингвистики, т. е. метаязык, должен слепо копировать язык ввода в машину? Достаточно ли этого, чтобы обычное примитивное правило о том, что большинство английских имен образует форму мн. числа присоединением (*S*) или (*Z*), было выражено на метаязыке в таком виде, что для его декодирования требуется расшифровка одиннадцати головоломок?

Разумеется, предложенная запись отнюдь не бессмысленна: она, например, может быть прочитана человеком, совсем не владеющим английским языком, т. е. она доступна любому лингвисту так же, как доступна математику математическая символика, а химику — химическая. Введение спецзнаков в этих науках вызывается, однако, чисто практической нецелесообразностью оперирования описательными оборотами (громоздкость изложения и т. д.) или даже невозможностью применения таких оборотов при описании абстрактных понятий в математике. Есть ли достаточные основания вводить в систему такие записи в лингвистике, в частности, на уровне фонологии или морфологии, где число предельных элементов конечно и где не все сводимо непосредственно к формуле (это, кстати, следует и из того, что в правилах Баха часть форм вводится списком)?

Сам Э. Бах замечает по этому поводу, что грамматическая теория — в отличие от учебного пособия — проверяется не той относительной легкостью, с какой зрелый человек, овладев теорией, выучит язык (стр. 28). Справедливость этого положения, однако, относительна [9]. Построение грамматики в виде операционной системы порождения текстов (цепочек) не должно происходить в ущерб описанию фактического функционирования языка, для понимания которого важно различение типичного и нетипичного, продуктивного и непродуктивного, регулярного и нерегулярного и т. п. Позволяют ли правила генеративной грамматики установить или хотя бы отразить эти различия? По-видимому, нет, ибо скорее всего эти правила не вводят критерии качественной оценки происходящего процесса.

В правилах, касающихся фразовых структур (phrase-structure rules), отражаются способы грамматического моделирования, устанавливаемые с помощью разложения грамматических структур на непосредственно составляющие. По своей форме эти правила представляют собой инструкции по замене одного символа другим путем разворачивания левого символа. Когда та или иная цепочка членится на ее грамматические компоненты (а это происходит на уровне НС), итоги членения записываются как фразовые показатели (phrase markers). Последние, таким образом, есть представители структуры предложения. Компонентный анализ предложения может проводиться различным путем; Бах предпочитает в этой связи метод представления деривационных цепочек (точнее, ее членов) в виде синтаксического дерева. Когда такое дерево сконструировано, все дальнейшие операции производятся над его ветвями. Операции эти записываются уже в виде трансформационных правил. В отличие от правил фразовых структур, где линейная последовательность фразовых показателей выступает как строго закрепленная, трансформационные правила предусматривают возможность производить с начальной цепочкой всевозможные преобразования (трансформации). Начальной цепочкой служит здесь последовательность фразовых маркеров. Правила записываются в виде двучастной формулы: первую часть составляет структурное описание цепочки, вторую — запись происходящего структурного изменения. Трансформации, таким образом, являются способом отразить структурные отношения между двумя и более конструкциями. В результате уяснения этих отношений становится возможным отграничить ядерные предложения от не-ядерных и описать любые изменения в исходных конструкциях через свертывание или развертывание ее конститутивных элементов, исключение одного из них, добавление новых, через перестановку элементов и т. д. При таком широком понимании трансформаций остается неясным, чем определяются реальные границы допустимых трансформаций (почему, например, возможно преобразование фразы *Синяя тетрадь лежит на том столе* в конструкцию *тетрадь лежит на столе* или просто *тетрадь лежит*, но не *тетрадь*).

В пятой главе рассматриваются некоторые обычные проблемы лингвистического анализа, к решению которых можно подойти с помощью ТМ. Здесь автор высказывает ряд интересных мыслей об упрощении синтаксического построения путем предварительного разбиения материала на различные формальные классы (стр. 94) или посредством исключения из исходных структур факультативных элементов (стр. 95—96). Тут же обсуждается вопрос о том, как в генеративной грамматике должны описываться различные формы ограничений, накладываемые на некоторые структуры в виде исключения определенного порядка следования элементов или их сочетаемости.

[9] Непонятно, например, почему требование простоты описания не распространяется также на выбор разумного порядка изложения материала. Разве оно не связано также с первоочередным описанием наиболее типичных и распространенных явлений?

В шестой главе объясняется сущность фонологического компонента или раздела генеративной грамматики и содержание фонологических правил. Последние определяются как правила переписи морфологических отрезков в последовательность из фонем. Поскольку было бы желательным установить фонологический облик каждого из морфологических отрезков, что связано с выяснением ряда запретов на возникновение некоторых цепочек, целесообразно поставить вопрос о выделении специального класса правил относительно структуры морфем (morpheme structure rules), но, как отмечает Бах, место этих правил в теории о языке (грамматике) не может быть пока установлено окончательно.

В последних двух главах Э. Бах снова возвращается к рассмотрению наиболее общих вопросов, в частности, им высказывается ряд соображений по поводу соотношения исследований и методов анализа в математике и в лингвистике. Развивая мысль о плодотворности перенесения математических методов в область теории о языке, Бах приводит некоторые аналогии между рекурсивной теорией функций и теорией трансформаций. Он приходит к необходимости выделения грамматик разного типа в зависимости от особенностей аксиоматического метода, лежащего в их основе. Внося некоторые поправки и уточнения в работу Н. Хомского «О некоторых формальных свойствах грамматики», он также описывает конкретные различия грамматик аксиоматического типа — грамматики конечных состояний, грамматики фразовых структур, трансформационной грамматики. Обсуждение этих проблем носит сугубо специальный характер.

В заключительной главе Бах касается определения проблем современной лингвистики и перспектив ее дальнейшего развития. Ему представляется, что в современном (синхронном) языкознании выделяются исследования в области: 1) формальной теории грамматик, 2) общей теории языка, 3) применения и проверки общей теории языка при создании теории конкретных языков, 4) изучения использования языка и 5) изучения связей лингвистики с другими науками. Никаких особенных конструктивных предложений эта часть книги не содержит, ибо здесь Бах ограничивается в основном разъяснением отличий формальной теории грамматики как теории предсказуемости от общей теории языка, которая, по его мнению, должна предусмотреть лишь определение таких исходных понятий, как «правило», «деривация», «трансформация» и т. п., а также набор терминов для описания отношений между единицами языка. В конечном счете такая общая теория языка опишет и набор универсальных категорий, необходимый для построения языковой типологии.

Правильно указывая на то, что в ходе развития лингвистической мысли в Америке потерпели крушение все надежды на возможность создания корректного лингвистического описания посредством одного лишь применения серии механических, автоматических процедур (стр. 180—181), Бах делает из этого неправомерный, на наш взгляд, вывод о том, что от лингвистической теории можно ждать только одного — чтобы она позволила выбирать из имеющихся грамматик наилучшую. Этот вывод, полностью повторяющий мысли Н. Хомского (см. выше), означает фактически, что вместо того чтобы, обратясь к новому материалу, или вырабатывая новые методы подхода к нему, лингвисты сосредоточили свое внимание на выдвижении новых моделей, они должны заняться поисками критериев сравнения и оценки уже имеющихся моделей. Предвидя возражения в этом плане, Бах пишет о столкновении в США двух направлений — индуктивного, акцентирующего внимание лингвистов на собирании материала, его классификации и т. д., и дедуктивного, ставящего во главу угла создание аксиоматических теорий; поскольку нельзя отказать в правоте ни тем, ни другим, Бах считает, что необходимо развивать оба эти направления. Интересно отметить, что и при такой формулировке речь идет, собственно, лишь о создании новых аксиоматических теорий (что согласуется и со сказанным выше о необходимости расширения исследований, вводящих в лингвистику математические методы). Развитие лингвистики на каких-то иных путях Бах даже не предусматривает. «Только время покажет,— пишет он,— были ли предложения по построению общей теории лингвистических структур, выдвинутые в теории трансформации, достаточно компетентными» (стр. 185—186). С этим положением Баха нельзя не согласиться.

По ходу изложения книги мы уже высказали некоторые критические соображения, которые, впрочем, были сделаны не столько в адрес самого Баха, сколько по поводу той теории, которую он защищает и аргументирует. Несколько замечаний следует, однако, сделать и непосредственно в отношении книги. Рецензируемая книга полна интересного материала, оригинальных рассуждений и вполне разумных предложений по проведению ТА и т. п. И в то же время она страдает серьезными недостатками — известной предвзятостью, односторонностью, наличием ряда пробелов. Досадное чувство вызывает, например, отсутствие в ней специального раздела о соотношении грамматик аксиоматического типа с традиционными грамматиками, в частности о соотношении генеративной грамматики с «классической» дескриптивной грамматикой. Кажется, что именно в таком

разделе следовало бы сказать о том, что процедуры трансформационного анализа возникли не на пустом месте, а были подготовлены ходом предыдущего развития методов лингвистического анализа, в первую очередь — дескриптивных. Ведь собственно ТА начинается там, где кончается анализ по НС. ТА полностью опирается на результаты последнего и немыслим вне компонентного анализа в том или ином его виде. Составление трансформационных правил предполагает нередко опору не только на фактический материал, данный в корпусе языка, но и на те сведения, которыми мы о нем располагаем. Было бы только справедливым указать в книге на значительную преемственность методов ТА и методики дескриптивного анализа и остановиться — эксплицитно — на определении меры зависимости ТА от анализа на различных уровнях языка.

Еще в начале книги автор предупредил читателей, что он не намерен специально аргументировать преимущества трансформационной теории перед другими теориями о языке. Остается пожалеть, что автор слишком буквально осуществил свое намерение: не всегда ясно, в чем именно применение ТМ привело к открыванию нового, а в чем — лишь способствовало упрощению описания (разумеется, в том понимании простоты, которого придерживается автор книги). Более глубокого освещения требовал в книге и вопрос о критериях пределов допустимых трансформаций (ср. проблему эквивалентности двух оборотов, которая не получает в книге детального исследования). Не совсем ясно отношение автора к проблемам семантического уровня и способности ТМ пролить свет в этом отношении.

Не вступая в полемику с Э. Бахом и по ряду частных проблем, мы бы хотели в конце рецензии обратить внимание читателя еще на одно обстоятельство. С сожалением приходится отметить, что на протяжении всей книги Бах не упоминает ни разу о той огромной работе, которая ведется в области ТМ и ТГ в Советском Союзе. Бах не ссылается ни на одну советскую работу. В то же время, по-видимому, русский материал не совсем неизвестен Баху (см. стр. 122). Дело не только в том, что ни один из советских лингвистов не счел бы себя вправе при написании аналогичной работы обойти своих американских коллег. Мы имеем в виду не только моральную или этическую сторону дела, что тоже предполагает хотя бы минимальное знакомство с литературой по рассматриваемому вопросу. Дело в том, что в результате такого подхода книга серьезно проигрывает от значительных пробелов, возникающих вследствие неосведомленности автора и его незнания советских исследований, открывающих совершенно новые аспекты ТМ. Мы имеем в виду последние работы С. К. Шаумяна, С. Я. Фитиалова, Л. Н. Засориной, П. А. Соболевой и многих других наших лингвистов, внесших свой значительный вклад в развитие теории трансформации и способствовавших ее «устрожению» и уточнению.

Несколько слов и о заглавии книги. Всюду в предыдущем изложении мы говорили, что книга называется «Введение в трансформационную грамматику». Это не совсем точно, так как сам автор говорит о трансформационных грамматиках во множественном числе. Однако, поскольку автором фактически описываются не трансформационные грамматики, а разновидности правил, используемых в генеративной грамматике, и поскольку для Баха термины «грамматика» и «теория языка» являются синонимами, можно было бы, исходя из реального содержания книги, передавать ее заглавие как «Введение в теорию трансформаций»

Е. С Кубрякова

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1965

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

В г. Орджоникидзе с 17 по 22 мая 1964 г. проходила VII научно-методическая конференция Северокавказского объединения кафедр русского языка. На конференции выступили с докладами научные работники из Москвы, Орджоникидзе, Ростова-на-Дону, Таганрога, Пятигорска, Махачкалы, Краснодара, Армавира, Грозного, Карачаевска, Рязани, Вологды и других городов. Всего было прослушано и обсуждено 25 докладов.

На пленарном заседании были заслушаны и обсуждены доклады: Г. В. Валимовой (Ростов-на-Дону) — о задачах Северокавказского зонального объединения кафедр русского языка педвузов; А. И. Ефимова (Москва) — о проекте усовершенствования русской орфографии и пунктуации; Д. Н. Шмелева (Москва) — о проблемах изменений слов в русском литературном языке советской эпохи; М. И. Исаева (Москва) — о координации научно-исследовательской работы в вузах.

В дальнейшем работа конференции сосредоточилась в пяти секциях. На секции общего языкознания было прослушано 4 доклада. П. В. Чесноков (Таганрог) в докладе «К вопросу о соотношении языковых уровней и лингвистических единиц» различает шесть субстанциональных уровней: фонетический, субстанционально-морфемный, лексический, уровень словосочетаний, уровень предложений, уровень сложных синтаксических целых; им соответствуют шесть формальных уровней: фонологический, формально-морфемный, формально-словесный (морфологический), уровень формы словосочетания, уровень формы предложения, уровень формы сложного синтаксического целого. Этим языковым уровням соответствуют лингвистические дисциплины.

В. Л. Архангельский (Ростов-на-Дону) в докладе «Вопрос о русской фразеологической системе и ее свойствах, связанных с отношениями детерминации» полагает, что фразеологический состав представляет собой самостоятельную детерминативную систему. Системность фразеологии проявляется в совокупности свойств фразеологических единиц, в закономерностях их образования, в свойствах фразеологических серий, во внутрисистемных и интерсистемных свойствах и отношениях, присущих фразеологическим единицам.

В докладе Г. В. Валимовой (Ростов-на-Дону) «Предложение как единица языка и речи» выдвигается положение о двустороннем подходе к предложению: поскольку в каждом предложении есть категориальная сторона, выступающая в виде закрепленной и постоянно воспроизводимой модели, предложение относится к языку, а его существование в виде реальной единицы с определенной лексической наполненностью позволяет относить предложение к речи. Для моделей сложноподчиненных предложений характерны следующие постоянные признаки: число компонентов более двух, наличие главной и придаточной частей, подчинительные отношения между главной и каждой придаточной частью и сочинительные отношения между придаточными частями. Переменные признаки — признаки речи — в предложениях: лексический состав, употребление словоформ, количество придаточных, их расположение, союзные средства, типы придаточных и др.

А. Н. Савченко (Ростов-на-Дону) сделал доклад «О предикативных сочетаниях слов», в котором различается предикативность логическая и грамматическая. Логическая предикативность выражает отношение высказывания к действительности. Грамматическая же предикативность заключается в категориях времени, лица и модальности. Поскольку эти категории свойственны глаголу, то грамматическая предикативность выражает связь сказуемого с подлежащим.

По докладам развернулись оживленные прения, подчеркнувшие важность обсуждаемых проблем.

На секции синтаксиса русского языка было сделано 7 докладов. В. М. Никитин (Рязань) в докладе «О некоторых приемах определения словесных единиц как члена предложения в спорных и сомнительных случаях», считая недостаточными традиционные приемы распознавания функций словоформ в предложении, рекомендует определять их по совокупности признаков

с учетом разнородных взаимодействующих факторов.

В докладе Л. Д. Чесноковой (Таганрог) «Модели и варианты структурных типов предложений с однородными компонентами» устанавливаются три основных типа однородности: 1) однородные компоненты подчиняют один общий компонент, 2) однородные компоненты зависят от общего компонента, 3) несколько однородных компонентов зависят от нескольких общих для них компонентов. Кроме того, могут быть комбинированные и осложненные виды *однородности*.

В. А. Шитовым (Вологда) был сделан доклад «Структура и принципы классификации сложных предложений с однородным соподчинением нескольких придаточных».

В. А. Корнилов (Ростов-на-Дону) в докладе «Постпозитивный причастный оборот как компонент атрибутивно-предикативного сочетания слов» выделяет четыре типа взаимоотношений постпозитивного причастного оборота с другими определениями к тому же существительному.

В сообщении Б. А. Беловой (Ростов-на-Дону) «О лексико-семантических соответствиях в структуре сложносочиненного предложения со сложноподчиненным компонентом» устанавливаются разного вида лексико-семантические соответствия между элементами сочиненных частей: повторение одного и того же слова, употребление во второй части местоимений-заместителей, наличие слов-синонимов и др.

В докладе В. В. Казмина (Краснодар) «Указательные слова в усложненном предложении» разграничиваются указательные слова, которые по смыслу и грамматически подчиняют себе придаточные части, и указательные слова, являющиеся лишь факультативным промежуточным звеном в подчинении придаточной части главной. Различие между ними настолько существенно, что дает основание сохранить термин «соотносительные слова» только за указательными словами второй группы.

Н. П. Бадаева (Таганрог) в докладе «Синтаксическая структура рассказа И. С. Тургенева „Лес и степь"» говорит о ритмичности произведения, его кольцевом построении, о преобладании в нем простых и несложных по структуре бессоюзных предложений, состоящих из 2—3 частей. Простая синтаксическая структура рассказа воспроизводит непринужденную манеру рассказчика.

На секции методики русского языка было сделано 7 докладов [1].

В секции лексики и фразеологии было сделано 6 докладов: «Проект инструкции по составлению „Словаря произведений М. А. Шолохова"» И. А. Федосова (Ростов-на-Дону), В. Л. Архангельского (Ростов-на-Дону), И. Е. Гальченко (Орджоникидзе), Л. С. Измайловой (Махачкала); «К вопросу о классификации омонимов в системе имен» Л. А. Введенской (Ростов-на-Дону); «Сложные слова в произведениях М. Ю. Лермонтова» К. Л. Рященцева (Орджоникидзе); «Вопрос о лексико-семантических группах в говорах Вологодской области» Ю. И. Чайкиной (Таганрог); «Парадигматические особенности глагольных и субстантивных фразем (На материале публицистики М. Горького)» А. И. Олейниковой (Орджоникидзе); «К вопросу о сочетаемости как свойстве фразеологических единиц (На материале романа Алексея Толстого „Петр I")» Л. Ф. Ершовой-Белицкой (Краснодар).

Оживленные прения вызвал проект словаря произведений М. А. Шолохова. Секция вынесла решение: 1) создать «Словарь произведений М. А. Шолохова»; 2) воспользоваться советом акад. В. В. Виноградова и начать работу над лексико-фразеологическим словарем с «Тихого Дона»; 3) выделять в отдельные статьи в словаре не только лексемы, но и фразеологические единицы; 4) издать брошюру «О проекте лексико-фразеологического словаря „Тихого Дона"» в качестве теоретической основы проектируемого словаря; 5) установить тесный контакт с кафедрами, которые проводят аналогичную работу (например, в Самарканде уже ведется работа над составлением словаря «Поднятой целины»).

В секции истории русского языка и диалектологии были сделаны доклады: А. К. Ващенко (Армавир) «Употребление ять в орловских рукописных памятниках»; В. И. Дегтярева (Ростов-на-Дону) «Лексико-грамматические особенности имен собирательных в древнерусском языке старшего периода»; Б. М. Гаспарова (г. Бельцы) «Некоторые семантические особенности предлогов древнерусского языка»; А. А. Шевцовой (Бердянск) «Исторические изменения в оформлении дополнения со значением субъекта в составе инфинитивных предложений»; Г. В. Шекуровой (Грозный) «О построении курса „Истории русского языка"» для студентов-заочников национального отделения педагогического ин-та».

Конференция приняла развернутую резолюцию, определяющую пути дальнейшей работы Северокавказского зонального объединения кафедр русского языка [2].

В. Л. Архангельский, И. А. Федосов
(Ростов-на-Дону)

[1] См.: О. Прик, В. Малащенко, С конференции кафедр русского языка педагогических институтов северо-кавказской зоны, «Р. яз. в нац. шк.», 1964, 5.

[2] Доклады VII конференции работников кафедр русского языка Северокавказского зонального объединения опубликованы в сб. «Вопросы изучения русского языка», Ростов-на-Дону, 1964.

16—22 сентября 1964 г. в Белграде состоялся Международный симпозиум, посвященный 100-летию со дня смерти выдающегося деятеля сербского Возрождения, основоположника современного сербохорватского литературного языка, замечательного фольклориста Вука Стефановича Караджича. Симпозиум был организован филологическим факультетом Белградского университета. В работе симпозиума принимало участие около 200 иностранных и югославских славистов. На симпозиуме было прочитано свыше 30 докладов иностранных и около 50 докладов югославских славистов. Симпозиум работал в трех секциях: лингвистической, литературоведческой и в секции по международным связям Вука Караджича.

В лингвистической секции прочитаны 24 доклада, касающиеся разных аспектов лингвистической проблематики великого дела Вука Караджича, за исключением весьма содержательного доклада акад. В. В. Виноградова (Москва) «Революционная роль Вука Караджича в формировании сербского национального литературного языка», прочитанного на пленарном заседании. В. В. Виноградов рассмотрел данную проблему в плане общих закономерностей, а также своеобразия социально-политических и культурно-исторических условий развития славянских народов, с одной стороны, и общих историко-лингвистических закономерностей формирования литературных языков, с другой. В. В. Виноградовым особенно подчеркнута эволюция Вука Караджича во взглядах на функционирование сербского литературного языка.

О Вуке Караджиче как основоположнике нормы нового сербского литературного языка говорил акад. Б. Гавранек (Прага) в докладе «Караджичевская норма сербского литературного языка и ее развитие в направлении общенародной нормы». Интересно замечание автора, что Вук учил от народа, а Досифей Обрадович, другой крупный общественный деятель и писатель конца XVIII и начала XIX вв., учил народ.

В докладе акад. М. Стевановича (Белград) «Характеристика диалектизмов в языке Вука Караджича» дается обзор диалектизмов, входивших в то время в грамматическую систему Вукова языка и переставших потом являться элементами литературного языка. В докладе вскрываются причины этого процесса.

Проф. Р. Оти (Лондон) в докладе «Языковая реформа Вука Караджича в свете языкового возрождения славян в австрийской монархии» отметил, что реформаторская активность Вука Караджича проходила параллельно с деятельностью иллирийского движения у хорватов, с сложным процессом возобновления словенского литературного языка, с возрождением чешского литературного языка, благодаря в частности Добровскому и Юнгману, и с созданием нового словацкого литературного языка, за который боролся Л. Штур.

В докладе Н. И. Толстого (Москва) «Архаизм и новаторство в языковой реформе Вука Караджича» затронут очень важный и актуальный вопрос о том, как в настоящее время понимать и на лингвистической практике проводить в жизнь идеи Вука Караджича, во имя которых необходимо отказаться от некоторых норм Вука, теперь явно устаревших. Надо творчески применять принципы Вука, а не придерживаться превзойденных грамматико-лексических категорий. Автор на примере реформы Вука Караджича показал, что в процессе формирования литературного языка полный отказ от традиции неосуществим и не нужен, и что возникновение литературного языка на базе одного только диалекта невозможно.

В докладах проф. М. Ивич (Нови Сад) «Роль Вука Караджича в нормировании экавского варианта литературного языка» и проф. Д. Брозовича (Задар) «Сербохорватский стандартный язык и Вук Караджич» рассматривается вопрос о том, должен ли язык деревни или язык города быть образцом литературного языка. Авторы считают, что на современном уровне развития социально-экономических и культурных факторов язык города становится и у сербов и хорватов образцовым литературным языком. Сам Вук под конец своей деятельности пришел к такому же выводу, выбирая, между прочим, в качестве нормы городской тип экавского произношения.

Тенденции, доминирующие в окончательной фазе языковой реформы Вука Караджича и фонологический аспект реформы правописания, произведенной Вуком — были темой доклада проф. П. Ивича (Нови Сад) «Два аспекта деятельности Вука Караджича».

Проф. Д. Живкович (Нови Сад) в докладе «Борьба Вука Караджича и сербский поэтический язык» отметил, что Вук Караджич в вопросах о значении народного языка и народной поэзии был сторонником Гердера и тем самым противником «ученой» поэзии и ее языка, за что боролись его противники, ссылаясь на ими грубо искаженную теорию поэзии Шиллера. Народная поэзия и ее язык стали, по мнению Д. Живковича, основой, на которой создавалась сербская национальная художественная литература.

Некоторые вопросы фонетики были затронуты в докладах проф. Д. Барьяктаревича (Приштина) «Рефлексы ятя (ѣ) у Вука» и доц. А. Пецо (Белград)

«Фонетика языка Вука Караджича в сопоставлении с фонетикой екавской Герцеговины».

Вопросам реформы сербского и хорватского правописания в связи с деятельностью Вука Караджича были посвящены доклады: акад. М. Храсте (Загреб) «Хорватскосербский язык и орфография в эпоху народного возрождения в Далмации и Вук Караджич», проф. Т. Экмана (Амстердам) «Вук как реформатор кирилловской орфографии и Юрий Крижанич», проф. Л. Хадровича (Будапешт) «Попытка реформы латинской орфографии в 1785 году», доц. А. Младеновича (Нови Сад) «О происхождении буквы џ (*дж*)», доц. К. Давидсон (Упсала) «Буквы в Мирославовом евангелии и их значение».

Характеристика стиля Вука Караджича и его взгляды на вопросы стиля были темой доклада проф. М. Павловича (Нови Сад) «Эволюция и дифференцированность стиля Вука Караджича».

Проблемы текстологии рассматривались в докладе проф. К. Горалека (Прага) «К текстологии сборников народно-поэтического творчества, изданных Вуком Караджичем».

Анализу и значению «Прибавления к Санктпетербургским сравнительным словарям всех языков и наречий» (Вена, 1822) Вука Караджича были посвящены доклады проф. И. Лекова (София) «В. С. Караджич как языковед-болгарист» и проф. Ф. Славского (Краков) «„Прибавление к Санктпетербургским сравнительным словарям...“ Вука Караджича и его значение для славистики». Авторы считают, что «Прибавление...» является одним из первых образцов синхронного и сравнительно-исторического изучения славянских языков, а также балканологических исследований.

Проф. Я. Юранчич (Любляна) в в докладе «Вук и словенцы» отметил, между прочим, что Е. Копитар был в сущности только информатором В. Караджича о лингвистических достижениях того времени в Европе и что Вуку самому пришлось проводить в жизнь свои взгляды на язык, борясь с многими трудностями и препятствиями.

Некоторые взгляды Вука на язык древней сербской литературы были темой доклада Д. Трифуновича (Белград) «Вук Караджич и славянские литературные древности».

Анализу некоторых внутренних форм сербохорватского языка на материале языка Вука Караджича был посвящен доклад Б. Дреноваца (Белград) «Иррациональное в языке Вука Караджича».

Вопросы славянской топонимики рассматривались в докладе акад. Э. Петровича (Клуж) «Западноюжнославянские названия мест в Малой Валахии».

Кроме перечисленных докладов, прочитанных в лингвистической секции, разных вопросов лингвистического порядка касались, в большей или меньшей степени, также некоторые доклады, прочитанные в двух других секциях, что является вполне естественным, если имеется в виду, что разные виды деятельности Вука Караджича тесно соприкасались и переплетались.

Таков доклад акад. АН УССР И. К. Белодеда (Киев) «Вук Караджич в истории украинско-сербских связей», в котором автор отметил, что Вук был знаком с грамматическими работами деятелей Киево-Могилянской академии и что идеи Вука о реформе литературного языка и орфографии, его деятельность в области лексикографии и фольклора, были известны на Украине.

Таких же и подобных вопросов касались некоторые другие доклады, прочитанные в секции по международным связям Вука Караджича. Это доклады: проф. Р. Лалича (Белград) (председателя организационного комитета по подготовке симпозиума) «Вук Караджич и русские», доц. В. Вулетича (Нови Сад) «Измаил Срезневский и Вук Караджич», д-ра Г. Добрашиновича (Белград) «Вук и П. И. Кеппен», проф. Ю. Доланского (Прага) «Вук Караджич в чешской литературе», П. Новотного (Будишин) «Вук Караджич и лужицкие сербы», И. Конева (София) «Вук и болгары», проф. Х. Поленаковича (Скопле) «Вук и македонцы», проф. Р. Флора (Белград) «Вук и румыны».

В литературоведческой секции тоже прослушано несколько докладов, затрагивающих вопросы языка. Часть доклада проф. А. Шмауса (Мюнхен) «Понимание народа и национальной культуры у Вука» была посвящена вопросу о соотношении синхронии и диахронии во взглядах Вука на проблемы развития сербского литературного языка. «Грамматики» В. Караджича касались доклады проф. Г. Пойкерта (Йена) «О предисловии Якова Гримма к Грамматике Вука Караджича» и проф. М. Мояшевича (Белград) «Грамматика Вука Караджича — перевод и экземпляр Я. Гримма». Лексикографическая работа Вука была затронута в докладах проф. В. Латковича (Белград) «Примеры из народной эпики во втором издании Сербского словаря Вука Караджича», д-ра Ж. Младеновича (Белград) «Рукописные источники отрывков народных песен в Сербском словаре Вука Караджича», доц. Ц. Органджиевой (Скопле) «О переводах сербских эпических песен в русской литературе при жизни Вука», доц. М. Живановича (Нови Сад) «Братья Мажураничи, народная песня и Вук».

Все доклады, прочитанные на симпозиуме, будут напечатаны в специальном сборнике филологического факультета Белградского университета.

20 сентября 1964 г. участники симпозиума посетили Тршич, родную деревню Вука Караджича, и монастырь Троношу, в котором Вук учился, а 21 и 22 сентября осматривали знаменитые сербские монастыри Жичу, Раваницу, Манасию и древнюю церковь Лазарицу в г. Крушевац.

Б. Терзич (Белград)

*

28—30 сентября 1964 г. в Москве проходила межвузовская научная конференция по фразеологии, организованная кафедрой русского языка МОПИ им. Н. К. Крупской. В работе конференции участвовало 90 человек из 30 городов. С докладами и сообщениями выступило свыше 40 научных работников из 16 городов, в том числе 7 членов кафедры русского языка МОПИ.

Доклады и сообщения были посвящены актуальнейшим вопросам русской фразеологии. Проблеме сущности фразеологической единицы и отграничения ее от других лингвистических категорий были посвящены доклады: Н. Н. Прокоповича (Москва) «Фразеологизмы и вопросы управления в современном русском языке», В. П. Сухотина (Москва) «Словосочетание в его отношении к слову, фразеологизму и предложению», Е. А. Василевской (Москва) «К вопросу о взаимоотношениях словосочетаний, фразеологических оборотов и сложных слов».

Большой интерес представляет проблема фразеологических отношений. В. Л. Архангельский (Ростов-на-Дону) изложил в докладе систему отношений между компонентами фразеологизмов и классификацию фразеологических единиц русского языка, основанную на изучении фразеологических отношений. А. Н. Кожин (Москва) посвятил свой доклад устойчивым словосочетаниям терминологического характера. На материале военных терминов он показал специфику отношений в терминированных устойчивых выражениях и выразил мнение, что данный тип устойчивых словосочетаний не принадлежит фразеологии. С. Г. Гаврин (Пермь), рассматривая фразеологию в широком объеме, пришел к выводу, что основным свойством фразеологизмов является воспроизводимость; он предложил классификацию устойчивых словосочетаний русского языка в функциональном аспекте, основанную на факторах, обусловливающих воспроизводимость. И. С. Торопцев (Орел) изложил свои наблюдения над возникновением фразеологизмов на основе свободных сочетаний слов в процессе повседневного речевого общения.

Проблеме взаимоотношения фразеологизмов с морфологическими классами слов были посвящены доклад А. И. Германовича (Симферополь) «Интеръективация фразеологизмов» и сообщение М. Ф. Тузовой (Москва) «Образование слов на базе устойчивых словосочетаний».

Вопросы лексического состава фразеологизмов, их семантики, отношения фразеологизма к слову, синонимических и омонимических отношений в системе фразеологии нашли свое отражение в сообщениях А. Ц. Акопян (Ереван) «Применение методов исследования слова в изучении фразеологических оборотов», А. Ф. Дружининой (Москва) «О синонимии глагола и глагольных фразеологических сочетаний», Т. И. Коваленко (Пермь) «К вопросу о фразеологических вариантах и синонимах», М. И. Сидоренко (Череповец) «Лексическое и синтаксическое во фразеологизме».

Одной из важнейших проблем фразеологии является функционирование фразеологических единиц, их связь со словами в составе синтаксических конструкций, внутренние изменения фразеологизмов в процессе употребления их в речи. В. П. Жуков (Новгород) сообщил об исследовании «фразеологического окружения», т. е. слов, сопутствующих фразеологизму в речи. О. В. Шавкунова (Ульяновск) рассмотрела связи фразеологических единиц с контекстом и внутренние фразеологические связи, изменения в системе этих связей, обусловленные семантикой фразеологизмов. Р. Н. Попов (Череповец) рассказал об употреблении в современной русской речи устойчивых словосочетаний с архаическими глагольными компонентами. П. А. Лекант (Москва) остановился на явлении эллипсиса (сокращения) фразеологических и синтаксических единиц и показал связь этого явления с процессом фразеологизации конструкций.

Большое внимание было уделено на конференции языковым явлениям, смежным с фразеологией или находящимся на грани между фразеологией и синтаксисом. О них говорилось в сообщениях А. В. Пашковой (Ростов-на-Дону), А. М. Слепцовой (Воронеж), А. В. Дудникова (Москва), М. И. Черемисиной (Тула).

Сравнительно-историческое изучение русской фразеологии еще не развернулось в полной мере. Поэтому вполне естественно обращение участников конференции и к этой проблеме. О задачах срав-

нительного изучения фразеологии славянских языков говорил Н. А. Кондрашов (Москва). К вопросам фразеологии церковнославянского и древнерусского языка обратились в своих сообщениях М. М. Копыленко (Алма-Ата), В. И. Слышева (Елец), Л. М. Сахаров (Москва).

Диалектная фразеология рассматривалась в сообщениях Е. Н. Шестаковой (Воронеж) и А. Ф. Ивановой (Москва).

Изучению фразеологии языка художественной литературы и публицистики были посвящены сообщения А. В. Касьянова (Армавир) В. А. Ливщиц (Горловка), А. С. Сычева (Пенза).

О постановке вопросов фразеологии в школьном курсе русского языка говорил Ю. А. Гвоздарев (Ростов-на-Дону).

Конференция показала, что изучением проблем русской фразеологии занимаются у нас многие. Обмен научной информацией был очень своевременным и плодотворным. Участники конференции единодушно отметили ее бесспорный успех и важность, а также приветствовали инициативу кафедры русского языка МОПИ в созыве конференции.

Материалы конференции решено опубликовать в виде специального сборника.

В. Л. Архангельский (Ростов-на-Дону), *П. А. Лекант* (Москва)

*

С 26 по 28 ноября 1964 г. в Вильнюсе проходила I научная конференция по вопросам истории балтийских языков. Инициатором ее созыва была кафедра литовского языка Вильнюсского гос. ун-та им. В. Капсукаса. В работе приняли участие около 100 языковедов из вузов и АН ЛитССР, а также гости из Москвы, Киева и Риги. Конференцию открыл зав. кафедрой литовского языка Вильнюсского ун-та доц. Ю. Пикчилингис. На конференции было прочитано и обсуждено 12 докладов из разнообразных областей балтийского языкознания (балто-славянские и внутрибалтийские языковые связи, история и диалектология балтийских языков, топономастика и ареальная типология).

В докладе Вяч. В. Иванова (Москва) «О происхождении литовских приставочных глагольных форм» литовские формы типа *nu-si-davė* «случилось» рассматривались как окаменевшие индоевропейские синтаксические конструкции типа «наречие (или союз) + местоименная энклитика + глагол» (в неэмфатической конструкции). Докладчик эти конструкции сопоставил со сходными хеттскими и кельтскими конструкциями и высказал предположение, что в старолитовских текстах такие конструкции еще сохраняют функции начального комплекса в предложении в отличие от позднейших текстов, где они обычно вводятся союзами.

А. П. Непокупный (Киев) в докладе «Значение ареальной типологии для истории литовского языка» обратил внимание на несколько типологически эквивалентных семантических явлений в балтийских, славянских, германских и финно-угорских языках. Между прочим, он указал, что литовский суффикс *-ininkas*, в отличие от славянского *-ник* участвующий в образовании названий жителей от названий населенных пунктов, типологически и генетически тождественный с латышским *-(i)nieks*, обнаруживаемый в топонимах западной части Литвы (resp. Латвии), имеет параллель в германском суффиксе *-ing*, встречаемом в топонимике восточных районов Скандинавии.

В докладах латышских балтистов обсуждались преимущественно вопросы латышско-литовских языковых связей. В. Дамбе (Рига) прочла доклад «О некоторых различиях латышского и литовского языков», в котором выдвинула гипотезу, что в основе причин древних языковых различий лежит, главным образом, различное место жительства протолатышей и протолитовцев. По ее мнению, некоторые из протолатышей (например, курши), в отличие от протолитовцев, в начале нашей эры жили между Эльбой и Одером, поэтому некоторые языковые различия могли выработаться при общении с западными славянами. Д. Земзаре (Рига) в докладе «О названии серебра в литовском и латышском языках», опираясь на обширный материал, сделала обзор разных форм названия серебра, засвидетельствованных в письменных памятниках, народной речи и топонимах данных языков. Доклад М. Рудзите (Рига) был посвящен обозрению нового материала, собранного диалектологическими экспедициями в районах, где ранее имел распространение ливский язык.

Четыре доклада вильнюсских балтистов были посвящены вопросам исторической фонетики и морфологии балтийских и славянских языков. В докладе И. Казлаускаса «О диахроническом изучении ударения литовского языка», в котором широко использовались методы синхронической и диахронической фонологии, был дан ряд новых заключений о развитии просодической системы литовского языка. Особое внимание уделялось причинам ретракции ударения в северо-

восточных говорах. Докладчик предположил, что при удлинении кратких ударных гласных и сокращении долгих гласных в формах типа *gīvà* «живая» носителем фонологического ударения стал первый слог, а формы типа *šakà* «сук» стали в фонологическом отношении безударными. В докладе С. Каралюнаса «К вопросу об и.-е.*s в балтийских языках» было выдвинуто предположение, что процесс изменения и.-е.*s в балтийских, славянских и индоиранских языках происходил самостоятельно и что в диалектах, продолжением которых является литовский язык, и.-е.*s раньше превратился в š после k, r и позднее после i, u. В докладе К. Кузавиниса «Некоторые вопросы истории местоимений в литовском языке» большое внимание уделялось процессу возникновения новых форм местоимений путем контаминации и аналогии и было высказано несколько интересных догадок о происхождении местоимения *kitas* «другой» и эмфатической частицы *-(n)ai*, встречаемой в формах типа восточнолитовского *ãšenai* «я». В. Мажюлис в докладе «К развитию балто-славянских сонантов во флексии» на основании новой и глубоко продуманной интерпретации широко известных фактов предложил следующее объяснение развития флексий род. падежа мн. числа типа ст.-слав. *vlъk-ъ*, литов. *vilk-ų̃* и им. падеж ед. числа типа ст.-слав. *kam-y*, литов. *akm-uõ*. По его мнению, обе формы восходят к балто-слав.*-ǭn, так как конечные сонанты в различных морфемах имели различное развитие, причем исчезновение «нефлексионных» сонантов является сравнительно поздним явлением (позднее балто-славянской эпохи).

В двух докладах разбирались вопросы классификации и периодизации языковых явлений. В совместном докладе А. Гирдяниса и З. Зинкявичюса «К вопросу о классификации литовских говоров» подвергалась критике традиционная классификация говоров как не соответствующая современному состоянию науки, и была предложена новая схема классификации. По предложенной схеме снимается среднеаукштайтское наречие традиционной классификации, а дзукание и отвердение *l* считаются несущественными изофонами. В докладе «К вопросу о периодизации истории литературного языка» И. Палёнис выделил два периода развития литературного языка — донациональный и национальный, причем внутри периода национального развития докладчик счел целесообразным выделить четыре более мелких периода, в том числе таких, как период развития литературного языка во время господства буржуазии (1918—1940) и в советскую эпоху (с 1940 г.).

Доклад Б. Савукинаса «К проблеме западнобалтийского субстрата в юго-западной Литве» был посвящен проверке тех лингвистических интерпретаций топонимов, на основе которых возникла ятвяжская проблема. Б. Савукинас подверг критике существующие этимологии таких слов, как *Aĩnas*, *Bìlsas* (по мнению докладчика — *Bĩlsaš*), *Dùlgas*, *Lẽipalingis*, *Sasnà*, и попытался доказать их принадлежность к общебалтийской топонимике, а названия с суффиксом — *ingis* (*Apsingė*, *Nedingis*) и некоторые другие (*Saltonkà*, *Zāpsė*, *Zebrỹs*) предложил включить в ятвяжский топонимастический инвентарь.

Во многих выступлениях отмечался тот положительный факт, что советские балтисты, в том числе и балтисты Литвы, в своих исследованиях все чаще и чаще прибегают к структурным методам, дающим возможность не только выявить и описать многие языковые процессы, но и объяснить их причины.

По докладам было высказано много ценных замечаний. В частности, были высказаны сомнения по поводу гипотезы В. Дамбе. Многие не согласились с некоторыми положениями К. Кузавиниса и Б. Савукинаса. Между прочим, было отмечено, что некоторые этимологии Б. Савукинаса являются менее надежными, чем этимологии К. Буги. Особенно оживленной была дискуссия по поводу классификации говоров, в ходе которой были уточнены границы отдельных говоров и отмечены некоторые непоследовательности, но возражений принципиального характера не было высказано. В прениях участвовали: Э. Гринавецкене, А. Ионайтите, Э. Микалаускайте, М. Рудзите, А. Ванагас, А. Гирдянис, В. Гринавецкис, З. Зинкявичюс, Вяч. В. Иванов, И. Казлаускас, С. Каралюнас, К. Кузавинис, И. Круопас, К. Моркунас, Ю. Сабаляускас и Б. Савукинас.

Все участники конференции единодушно высказались о необходимости периодически организовывать конференции по балтийскому языкознанию.

А. Гирдянис, В. Жулис (Вильнюс)

С 7 по 10 декабря 1964 г. в Ленинграде проходила конференция по проблеме эргативной конструкции предложения[3], организованная Научным советом по теории советского языкознания при Отделении литературы и языка АН СССР совместно с Институтом языкознания АН СССР. В работе конференции приняли участие языковеды Института языкознания АН СССР, Института народов Азии АН СССР, Института этнографии АН СССР,

[3] См.: «Эргативная конструкция предложения в языках различных типов». Тезисы докладов, Л., 1964.

Института языкознания АН Груз.ССР, Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР, Института школ Дагестанской ССР, Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена, Ленинградского, Ростовского и Новосибирского университетов и некоторых других научных учреждений и вузов. Было заслушано и обсуждено около 30 докладов. Работа конференции проходила на пленарных заседаниях и в секциях. Вопросы эргативной конструкции были рассмотрены на материале индо-иранских, иберийско-кавказских, палеоазиатских языков, языков Древнего Востока, ново-индийских и некот. др.

Открывая конференцию, член-корр. АН СССР В. М. Жирмунский (Ленинград) отметил, что после известной лингвистической дискуссии 1950 г. многие проблемы, в том числе и проблема эргативной конструкции, были сняты с повестки дня советского языкознания на долгое время. Между тем, вопрос об эргативной конструкции как об особом типе структуры предложения в отличие от типа номинативного, представляет существенный интерес в плане типологического изучения синтаксиса предложения в его основных субъектно-объектных отношениях и требует поэтому всестороннего научно-объективного пересмотра на уровне современной теории советского языкознания.

В докладе «Основные грамматические формы эргативного предложения» И. И. Мещанинов (Ленинград) отметил, что эргативная конструкция противопоставляется номинативной всей выработанной в ней синтаксической системой. Различное значение передается и той позицией, в которой оказывается член предложения, поставленный в абсолютном падеже, отнюдь не тождественном с им. падежом номинативной конструкции [4].

А. С. Чикобава (Тбилиси) в докладе «Проблема эргативной конструкции (основные вопросы ее истории и описательного анализа)», подчеркнул, что проблема эргативной конструкции представляет интерес с точки зрения как общелингвистической и философской, так и в плане истории развития грамматической структуры соответствующих конкретных языков. В плане описательного анализа эргативная конструкция выявляет своеобразный характер синтаксической связи слов, образуя «трехчленную синтагму», строится на основе координации глагольного и именного компонентов, причем глагол выступает в роли основной координаты. Анализ условий, при которых эргативная конструкция могла возникнуть в любом языке, подтверждает необоснованность выведения эргативной конструкции из особенностей миропонимания древнего человека.

С. Д. Кацнельсон (Ленинград) в докладе «О происхождении эргативной конструкции» охарактеризовал общие особенности строя эргативной конструкции и отметил древность этого синтаксического явления. Некоторые реликты древнего синтаксического строя прослеживаются в индоевропейских языках. Следы такой архаической организации предложения хорошо сохранились, по мнению докладчика, в австралийских языках, например в языке аранта.

О. П. Суник (Ленинград) в докладе «К вопросу о неноминативной конструкции предложения» высказал ряд критических замечаний относительно общепринятой теории эргативной конструкции, построенной, по его мнению, не только на одностороннем отборе некоторых синтаксических явлений, но и на смешении лингвистических понятий с понятиями нелингвистическими. Докладчик анализировал в тунгусо-маньчжурских языках грамматическую природу и первоначальное синтаксическое значение некоторых конструкций, ставших впоследствии неноминативными. На основании анализа притяжательных конструкций предложения он утверждал, что предложение, в котором наличны подлежащее и сказуемое,— всегда является предложением так называемого номинативного строя на той или иной ступени его развития.

Считая проблему эргативной конструкции одной из частных проблем исторического и описательного синтаксиса, докладчик полагает, что нет оснований говорить ни об особом эргативном строе предложения, ни об особой эргативной стадии языка и мышления.

В докладе М. М. Гухман (Москва) «Конструкции с дательным-винительным лица и проблема эргативного прошлого индоевропейских языков» были рассмотрены варианты с дат.-вин. лица на материале древних германских, славянских, итало-кельтских языков, обнаружившие при отсутствии материального генетического тождества несомненную типологическую близость. Докладчик обратил внимание на неравномерное распределение в разных языковых группах индоевропейской семьи этих конструкций, могущих служить доказательством существования эргативного предложения в истории индоевропейских языков.

С докладом «Основные черты эргативной конструкции в языках древнего Востока», построенным на материале четырех древневосточных языков: шумерского, эламского, хурритского и урартского, выступил И. М. Дьяконов (Ленинград). С точки зрения докладчика

[4] Подробнее см.: И. И. Мещанинов, Основные грамматические формы эргативного строя предложения, ВЯ, 1964, № 5.

отсутствие категории прямого объекта и, соответственно, противопоставления им. и вин. падежей (там, где имеется падежная система) является важнейшим и наиболее общим признаком эргативной конструкции. И. М. Дьяконов рассмотрел также вопрос о связи эргативной структуры предложения с историей мышления. Докладчик подчеркнул, что эргативная конструкция безусловно может служить критерием для типологической классификации языков (описательной — во всяком случае, исторической — с учетом других факторов истории развития языка).

А. Н. Савченко (Ростов-на-Дону) в докладе «Эргативная конструкция предложения в праиндоевропейском языке», исследовав основные черты грамматической структуры имени и глагола на древнейшей ступени развития праиндоевропейского языка, сделал вывод, что в праиндоевропейском языке на ранней стадии развития его грамматического строя конструкция предложения была эргативной. Отсюда, по мнению докладчика, вытекает, что возникновение эргативной конструкции связано с некоторыми особенностями мышления и что она является стадией, но не обязательной для всех языков.

В докладе Т. А. Бертагаева (Москва) «Следы эргативности в монгольских языках и к вопросу об эргативной конструкции» был охарактеризован ряд трехкомпонентных синтаксических конструкций монгольских языков, имеющих структурное сходство с эргативной конструкцией и указывающих на ее реликтовый характер. Докладчик возражал против той точки зрения, согласно которой существо, характер и происхождение эргатива нельзя объяснить исходя из особенностей мышления.

Т. Я. Елизаренкова (Москва) выступила с докладом «Эргативная конструкция в новоиндийских языках». Ею были рассмотрены условия, совокупность которых необходима для выявления и операционного определения эргативной конструкции в новоиндийских языках. Исходя из анализа соответствующего материала, было предложено ввести для описания фактов новоиндийских языков понятие «эргативообразной» конструкции. Возникновение эргативной и разных типов эргативообразной конструкции в значительной части новоиндийских языков относится целиком к новоиндийскому периоду, хотя предпосылки этого развития заложены еще в древнеиндийском языке. Начало этого процесса, по-видимому, следует искать в санскрите (особенно в позднем) с его ярко выраженной тенденцией к именному строю.

Ю. Х. Сирк (Москва) в докладе «О выражении субъектно-объектных отношений в индонезийских языках (в связи с проблемой эргативной конструкции)», противопоставляя эргативную «номинативной конструкции», рассматривает ее как одну из целого ряда конструкций «трехчленного» предложения (в котором отмечаются субъект действия, действие и объект действия). Определение и разграничение этих конструкций составляет задачу типологического синтаксиса; при этом необходимо рассмотрение по возможности большего числа разных конструкций, представляющих в той или иной мере интерес с точки зрения эргативности.

В. И. Цинциус (Ленинград) в докладе «Неноминативное падежное оформление субъекта действия в пассивных и безличных конструкциях тунгусо-маньчжурских языков» отметила широкую общелингвистическую значимость проблемы эргативной конструкции предложения и проанализировала особенности пассивных и безличных конструкций в некоторых тунгусо-маньчжурских языках.

В докладе Н. М. Терещенко (Ленинград) «Выражение субъектно-объектных отношений в структуре предложения (на материале самодийских языков)» рассматривались возможности передачи субъектно-объектных отношений в этих языках с так называемым номинативным типом предложения средствами не только морфологии, но и синтаксиса. В докладе подчеркивалось, что для языков разных структур характерны различные приемы выражения связи между ведущими членами предложения, но эти различные приемы не связаны со стадией развития мышления и не представляют собою смены одних конструкций предложения другими.

Неноминативным конструкциям предложения в связи с проблемой эргативной конструкции был посвящен и доклад Е. И. Ромбандеевой (Ленинград) «Пассивные конструкции предложения в мансийском языке».

На секции иранских языков было прочитано несколько докладов. В докладе Л. А. Пирейко (Москва) «К вопросу об эргативной конструкции в иранских языках» были охарактеризованы типы эргативной конструкции, представленные в северозападных диалектах иранских языков, а также рассмотрен ряд вопросов, касающихся генезиса эргативной конструкции в иранских языках.

И. И. Цукерман (Ленинград) в докладе «К уточнению понятия субъектно-объектного спряжения в северном наречии курдского языка (курманджи)», построенном на сравнительном материале курдских говоров, сделал вывод относительно противоречивости и неустойчивости пассивно-объектного строя предложения, обусловливающих его склонность к распаду.

И. А. Смирнова (Ленинград) в докладе «Выражение субъектных, объектных и атрибутивных отношений в гла-

гольных формах южного диалекта курдского языка (сорани)» отметила, что наряду с номинативным строем предложения в южных диалектах курдского языка существует иной строй предложения, который связывается со сферой спряжения переходных глаголов во временах, образованных от основы прошедшего времени.

На секции иберийско-кавказских языков в докладе Г. А. Климова (Москва) «К эргативной конструкции в мегрельском» рассматривалась специфика проявления эргативной конструкции в одном из диалектов картвельских языков — в мегрельском, где наиболее четко представлен далеко зашедший процесс перестройки эргативности.

М. А. Кумахов (Москва) в докладе «О комбинаторных вариантах эргатива в адыгейском, кабардинском и убыхском языках» подчеркнул, что исследование комбинаторных вариантов эргатива в этих языках обычно отодвигается на задний план, тогда как оно дает важный материал для истории становления эргатива и его отношения к номинативу (абсолютиву).

А. К. Шагиров (Москва) в докладе «Об эргативной конструкции предложения в адыгских языках» отметил, что если говорить об активности в эргативной конструкции, то вопреки обыкновению речь должна идти о реальном объекте, косвенном дополнении, выступающем, в отличие от прямого дополнения в номинативной конструкции, как один из ведущих, главных членов предложения, стоящий в центре эргативной конструкции.

Доклад З. Ю. Кумаховой (Москва) «Эргативная конструкция в убыхском» был посвящен вопросу о взаимоотношениях убыхского и других абхазско-адыгских языков с точки зрения выражения эргативной конструкции.

С. М. Хайдаков (Москва) в докладе «Об эргативном падеже в местоимениях дагестанских языков» охарактеризовал сложный характер построения эргативной конструкции в дагестанских языках.

Детальному анализу были подвергнуты особенности передачи эргативной конструкции в дагестанских языках в докладе З Г. Абдуллаева (Махачкала) «Эргативная конструкция предложения в горских письменных языках Дагестана». Основываясь на сравнительном материале, докладчик сделал выводы, что эргативная конструкция предложения в дагестанских языках — явление позднего времени.

В докладе Г. В. Топурия (Тбилиси) «О взаимоотношении эргативного и местного IV падежей в лезгинском языке» были подробно охарактеризованы местные падежи лезгинского языка, которые непосредственно основываются на форме эргатива.

А. И. Курбанов (Москва) выступил с докладом «Эргативный падеж в цахурском языке и его функции», в котором подробно рассмотрел грамматические признаки, характерные для эргативного падежа цахурского языка.

На секции палеоазиатских языков было прочитано также несколько докладов.

П. Я. Скорик (Ленинград) в докладе «Эргативная конструкция в чукотско-камчатских языках», возражая против попытки рассматривать эту конструкцию как отражение в языке особого (пассивного) типа мышления, определил проблему эргативной конструкции как проблему специфики этой структуры. Характеризуя эргативную конструкцию как один из способов выражения субъектно-объектных отношений (наряду с другими конструкциями переходно-глагольного предложения), П. Я. Скорик считает неосновательными попытки свести эргативную конструкцию к активной или пассивной конструкции предложения индоевропейских языков.

А. Н. Жукова (Ленинград), отметив в своем докладе «Выражение подлежащего в эргативном предложении чукотско-камчатских языков» наличие самостоятельного эргативного падежа в чукотско-камчатских языках, предложила свою гипотезу формирования этого падежа в связи с проблемой формирования эргативной конструкции предложения.

В докладе А. П. Володина (Ленинград) «Эргативная конструкция в ительменском языке» были рассмотрены варианты трехчленной конструкции предложения и дана характеристика эргативной конструкции в ительменском языке. Докладчик коснулся также вопроса о соотношении эргатива и пассива.

«О соотношении творительного и местного падежей в чукотско-камчатских языках» сделал доклад П. И. Инэнликэй (Ленинград). В докладе сопоставлялись двухчленные и многочленные предложения чукотского языка и проводилось разграничение функций местн. и твор. падежей.

Б. А. Успенский (Москва) в докладе «К проблеме эргативной конструкции в кетском языке» подчеркнул особую ценность кетского языка для типологии эргативной конструкции и обратил внимание на черты, общие для кетского и абхазского языков.

На пленарных и секционных заседаниях развернулись оживленные прения. Вопросам теории эргативной конструкции были посвящены выступления А. В. Десницкой, В. М. Жирмунского, А. С. Чикобава, И. М. Дьяконова, Д. А. Ольдерогге. Различное толкование эргативной конструкции в связи с

другими конструкциями предложения на материале конкретных языков содержалось в выступлениях О. П. Суника, В. С. Расторгуевой, К. К. Курдоева, П. Я. Скорика, В. С. Соколовой, Б. Е. Гигинейшвили, Е. А. Бокарева, С. М. Хайдакова, М. А. Кумахова, И. М. Тронского, М. М. Гухман, Н. В. Гурьева, З. Г. Абдуллаева, Ю. Х. Сирка, А. Н. Савченко, Т. Я. Елизаренковой, М. Хазнадара, Ш. Гасаняна и других участников конференции.

Закрывая конференцию, В. М. Жирмунский отметил, что острая дискуссия по ряду нерешенных еще вопросов показала актуальность обсуждаемой проблематики, ее связь с центральными вопросами современного теоретического языкознания.

Принято решение об издании материалов конференции в форме коллективной монографии.

И. О. Гецадзе, А. Н. Жукова (Ленинград)

*

25 декабря 1964 г. в Москве в Институте языкознания АН СССР состоялось совместное заседание Ученого совета Института языкознания АН СССР и Ученого совета Института национальных школ АПН РСФСР, посвященное памяти выдающегося советского тюрколога — члена-корреспондента АН СССР и действительного члена АПН РСФСР, доктора филологических наук профессора Николая Константиновича Дмитриева (1898—1954).

Почтить память ученого собрались многочисленные коллеги, ученики и друзья Николая Константиновича, представители тюркологической науки Москвы, Казани, Уфы, Новосибирска, Нукуса, Кишинева, Баку, Ашхабада, Тбилиси и других городов страны.

Вступительное слово о Н. К. Дмитриеве как об ученом разностороннего дарования, внесшем значительный вклад в развитие советской тюркологии, а также славистики, произнес директор Ин-та языкознания АН СССР член-корр. АН СССР Ф. П. Филин.

С обстоятельным докладом о лингвистическом наследии Н. К. Дмитриева и современной советской тюркологии выступил д-р филол. наук Э. В. Севортян. Докладчик показал, как формировались лингвистические взгляды Н. К. Дмитриева, пришедшего в тюркологию из славистики, какое место занял он в создании советской тюркологической науки, какими идеями и концепциями он ее обогатил.

О многогранной работе Н. К. Дмитриева в Азербайджане и его вкладе в изучение азербайджанского языка и диалектов рассказал в докладе «Н. К. Дмитриев и азербайджанское языкознание» акад. АН АзербССР М. Ш. Ширалиев (Баку).

Занятиям Н. К. Дмитриева вопросами туркменской филологии посвятила свой доклад член-корр. АН ТуркмССР З. Б. Мухаммедова (Ашхабад).

С интересным докладом на тему «Н. К. Дмитриев и вопросы русско-башкирского языкового взаимодействия», построенном на обширном фактическом материале, выступил канд. филол. наук Т. М. Гарипов (Уфа).

Докладчики отмечали большие заслуги Н. К. Дмитриева в деле подготовки многочисленных научных и педагогических кадров тюркологов. Этому же вопросу, а также работам Н. К. Дмитриева в области методики преподавания русского и родного языков в национальных школах тюркоязычных республик и областей Советского Союза посвятил свое выступление д-р пед. наук Ф. Ф. Советкин.

На вопросе о том, что такое долганский — диалект якутского языка или самостоятельный язык, интересовавшем в свое время Н. К. Дмитриева, остановилась д-р филол. наук Е. И. Убрятова (Новосибирск), отметившая, что долганский настолько отошел от современного якутского, что его можно уже считать самостоятельным языком.

Н. К. Дмитриеву как гагаузоведу посвятил свое сообщение научный сотрудник ИЯЛ АН МолдССР Б. П. Туркан (Кишинев), канд. филол. наук Ц. А. Абуладзе (Тбилиси) рассказала о состоянии изучения транскрибированных тюркских текстов в Грузии. С воспоминаниями о Н. К. Дмитриеве выступили д-р филол. наук В. Д. Аракин и канд. филол. наук Э. Р. Тенишев.

Г. И. Донидзе (Москва)

CONTENTS

Articles: S. Rospond (Wroclaw). Structure and classification of old East European anthroponymes; **Discussions**: V. I. Abayev (Moscow). Linguistic modernism as dehumanisation of linguistic science; I. I. Revzin (Moscow). Structural linguistics and the unity of language-study; Y. V. Rožděstvenskij (Moscow). On the modern structure of linguistics; **Materials and notes**: A. N. Kolmogorov (Moscow). Remarks on the analysis of rhythm in Majakovskij's «Verses about the Soviet passport»; M. L. Gasparov (Moscow). Free trochee and free iambus in Majakovskij's works; T. P. Lomtev (Moscow). On one possibility of interpreting phonological development; E. A. Zemskaja (Moscow). Remarks on modern Russian word-formation; V. A. Red'kin (Moscow). The relation of nominal and verbal accent-structure in modern literary Russian; E. A. Kreinovič (Leningrad). On interrupted verbal stems in the Ket language; K. I. Bachman (Tartu). The interrelation of spontaneous and arbitrary processes in the development of language; **Applied and mathematical linguistics**: B. N. Golovin (Gorkij). An experiment of stochastic-statistical analysis of some phenomena in the history of Russian literary language in the XIX—XX centuries; **Critics and bibliography**; **Scientific life**.

SOMMAIRE

Articles: S. Rospond (Wroclaw). Structure et classification de vieux anthroponymes européens d'est; **Discussions**: V. I. Abayev (Moscou). Modernisme linguistique et dehumanisation de la science linguistique; I. I. Revzin (Moscou). Linguistique structurelle et l'unité de la linguistique; Y. V. Rožděstvenskij (Moscou). Structure moderne de la linguistique; **Matériaux et notices**: A. N. Kolmogorov (Moscou). Remarques sur l'analyse de rythme dans les «Vers du passeport soviétique» de Majakovskij; M. L. Gasparov (Moscou). Trochée libre et iambe libre dans l'oeuvre de Majakovskij; T. P. Lomtev (Moscou). Sur une possibilité d'interpréter l'évolution phonologique; E. A. Zemskaja (Moscou). Remarques sur la formation de mots en russe moderne; V. A. Red'kin (Moscou). Relation entre la structure d'accentuation du nom et du verbe en russe moderne littéraire; E. A. Kreinovič (Léningrad). Les racines verbales interrompues dans la langue ket; K. I. Bachman (Tartu). L'interrelation des procès spontanés et arbitraires dans le developpement de la langue; **Linguistique appliquée et mathématique**: B. N. Golovin (Gorkij). Essai d'analyse stochastico-statistique de quelques phenomènes dans l'histoire de la langue russe de XIX—XX siècles; **Critique et bibliographie**; **Vie scientifique**.

Subscription for this journal is accepted by firms doing business with v/o «Mezhdunarodnaya Kniga».

ИСПРАВЛЕНИЕ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»
(№ 2, 1965 г.)

Стр. 131 (правая колонка, строки 26—29) следует читать: «По мнению А. И. Зайцева, во французском литературном языке инфинитивный оборот поддерживался не без влияния латинской письменности».

Технический редактор *Г. П. Фролова*

Т.—06835 Подписано к печати 6/V—1965 г. Тираж 5775 экз. Зак. 2154
Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Печ. л. 16,1 Бум. л. 5³/₄ Уч.-изд. листов 19,4

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, в совершенно готовом для печати виде, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала.

После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 25 стр., объем рецензии — 15 стр. машинописи. Редакция заинтересована в получении кратких сообщений и заметок по конкретной тематике объемом до 15 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах).

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значение их — в кавычках.

6. Непринятые рукописи, как правило, авторам не возвращаются.

7. Статьи, опубликованные или направленные в редакцию других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Не забудьте возобновить подписку на журнал „Вопросы языкознания“ на второе полугодие 1965 года.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

О. С. Ахманова, В. В. Виноградов (главный редактор), *В. М. Жирмунский* (зам. главного редактора), *П. С. Кузнецов, Э. А. Макаев, М. В. Панов, В. З. Панфилов, И. И. Ревзин, Ю. В. Рождественский, Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой* (отв. секретарь редакции), *О. Н. Трубачев*

Адрес редакции: Москва, К-31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55